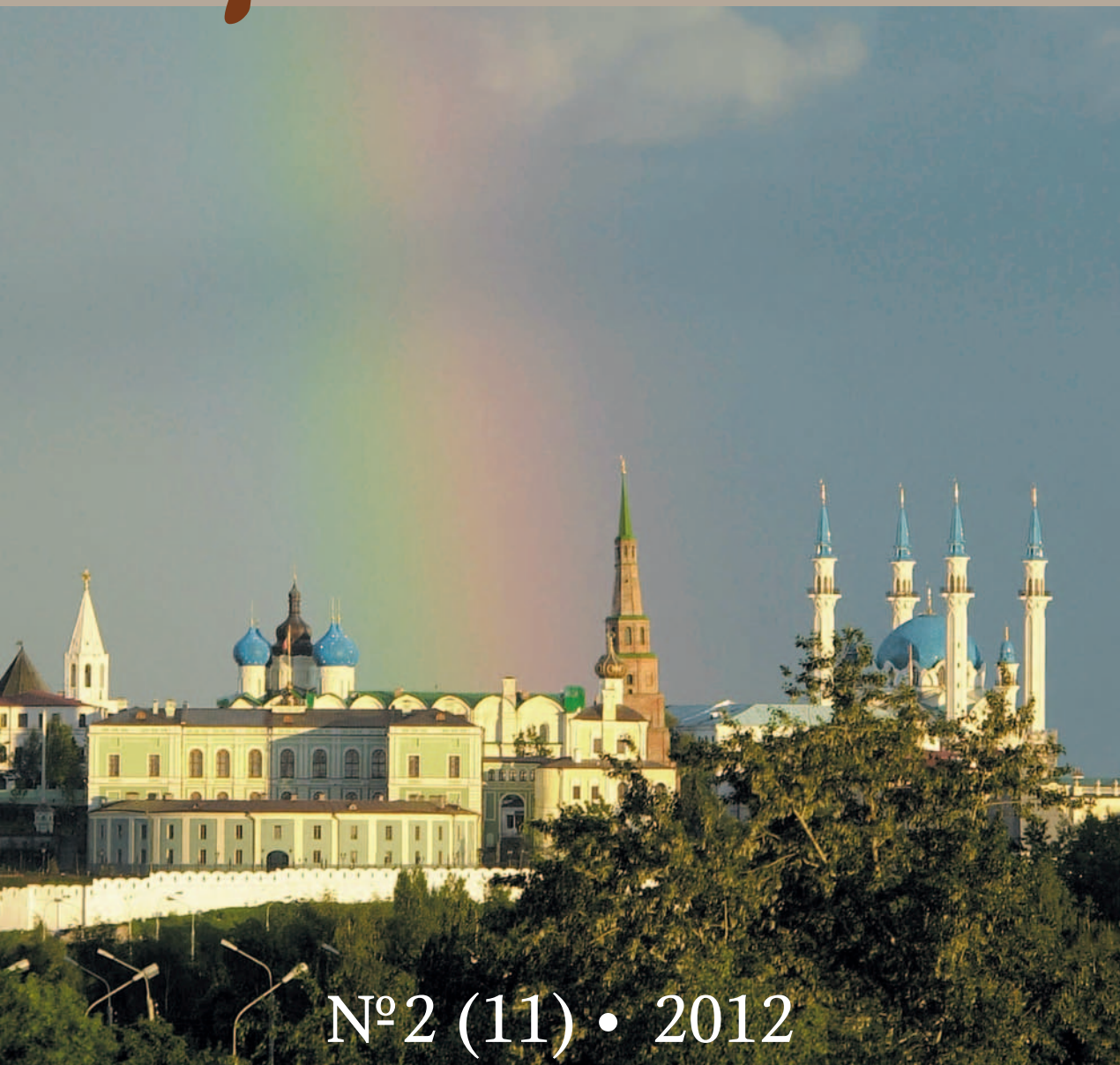


ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Арҗамак

ТАТАРСТАН



№2 (11) • 2012





Ю. Г. Свинин. Воспоминания о Юрьевском соборе. 2012 г. Х.м. 80х60

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Арҗамак

ТАТАРСТАН

№ 2(11) • 2012

*Я не желаю для моего Отечества никакой другой истории,
кроме той, какой нам Бог её дал.*

А. С. Пушкин

*Национальную идею искать не надо, она лежит на виду.
Это правительство наших, а не чужих национальных интересов,
восстановление и защита традиционных ценностей,
изгнание в шею всех, кто развращает и дурачит народ,
опора на русское имя, которое таит в себе огромную,
сейчас отвергаемую, силу, одинаковое государственное тягло
для всех субъектов Российской Федерации.*

В. Г. Распутин, журнал писателей России
«Наш современник», № 3, 2012



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

литературного альманаха «АРГАМАК. ТАТАРСТАН»

Василенко Светлана Владимировна — *первый секретарь
правления Союза российских писателей;*

Ибрагимов Ильфак Мирзаевич — *председатель правления
Союза писателей Республики Татарстан;*

Ларионова Татьяна Петровна — *исполнительный директор
республиканского фонда «Возрождение» (Татарстан);*

Муратов Марат Яшарович — *руководитель республиканского агентства
по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;*

Переверзин Иван Иванович — *председатель правления
Международного сообщества писательских союзов.*

РЕДКОЛЛЕГИЯ

литературного альманаха «АРГАМАК. ТАТАРСТАН»

Николай Алешков (*Набережные Челны*)

Николай Беляев (*Владимирская область*)

Наталья Вердеревская (*Елабуга*)

Лилия Газизова (*Казань*)

Владимир Гофман (*Нижний Новгород*)

Владимир Ермаков (*Орёл*)

Диана Кан (*Новокуйбышевск*)

Сергей Кузнецихин (*Красноярск*)

Сергей Михеенков (*Таруса*)

Николай Рачков (*Санкт-Петербург*)

Рамиль Сарчин (*Казань*)

Виктор Суворов (*Набережные Челны*)

Михаил Чванов (*Уфа*)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 16-00151 от 17 апреля 2009 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в соответствии
с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»

<i>Главный редактор</i>	Николай Алешков
<i>Заместители главного редактора</i>	Александр Воронин, Вера Хамидуллина
<i>Редактор-корректор</i>	Алла Орехова
<i>Дизайнер-верстальщик</i>	Виталий Павлов
<i>Офис-менеджер</i>	Оксана Кравченко
<i>Художник</i>	Ольга Белова-Недовизий
<i>Фото на обложке</i>	Михаил Медведев

НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН

ЧЕЛИБЕЙ И ПЕРЕСВЕТ

Стеною стояла орда Мамая,
стеною стояла Димитрия рать,
часа урочного ожидая —
идти наступать, убивать, умирать...
И вынеслись двое — сшибиться в ударе,
рожон — на рожон и глаза — в глаза:
монах Пересвет, из Брянска боярин,
и Челибей, Темир-Мурза.
Вынеслись двое — в ударе сшибиться,
не ведали оба, чем кончится бой.
Они были витязи, не провидцы,
судьбой не владея, владели собой.
И сшиблись!
И врезались, ярко и крепко,
в память — в легенды, романы, холсты,—
символом рыцарства наших предков,
их честной силы и простоты.
Лики их тают в тумане и дыме,
стихает в столетиях стук подков...
Но тонким лучом пробивается имя
сквозь малопрозрачные плиты веков.
И слышишь, над книгою смежив веки,
над Русью далёких веков перезвон...
И веришь, что встретятся в нашем веке
живые носители этих имён!
И это случилось — Девятого мая,
в Москве, на одной из больших площадей,
из тех, что всегда в этот день собирают
сотни седых молчаливых людей.
Здесь двое, столкнувшись, друг друга узнали,
вестей не имея с военных лет,—
бывший разведчик Темир-Мурзаев
и бывший наводчик Пересвет!
И в крепких объятиях плечи трещали,
и хриплые речи были не в лад,
и тихо звенели металлом медали
до юбилея доживших солдат.
И седина казалась повязкой,
и общей была на скулах слеза,
и — до рассвета — над трапезой братской
стакан — о стакан
и глаза — в глаза!



6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

АЛЕКСАНДР ПУШКИН



КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозюю
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте; за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык!
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов.





БОРИС ТАРАСОВ

МУДРОСТЬ ПУШКИНА

1

В знаменитой пушкинской речи Достоевский говорил об особой тайне поэта, которую тот унёс с собой. В число главных слагаемых этой тайны входит то, что обычно называют мудростью Пушкина, — его необыкновенную широту духа, способность ясно и трезво видеть, а затем с гениальной естественностью и простотой выражать глубинные противоречия бытия, ближние и дальние следствия тайных страстей и пропагандируемых идей, величие и нищету человеческого существования. Простота и естественность пушкинского стиля становятся порою камнем преткновения для понимания сгустившейся и сокрытой в нём глубины и значительности мысли, которой и отдавал дань почтения Достоевский, сам, в свою очередь, являвшийся учителем крупнейших русских философов. В восприятии С. Н. Булгакова, например, «по размеру таланта Соловьёв уступает солнцу нашей поэзии Пушкину», которому достаточно нескольких строк, сжимающих в себе огромную духовную работу и всю промежуточную аргументацию целых философских трактатов и исторических трудов: «христианство — величайший переворот нашей планеты»; «греческое вероисповедание даёт нам особенный национальный характер»; «история России требует другой мысли, другой формулы», нежели мысли и формулы, выведенные из истории христианского Запада; «Провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик» — и т. п.

Всеохватности пушкинского художественного зрения и умению раскрывать сложные сочетания признаков величия и нищеты человеческого существования изумлялись многие. «На всё, что ни есть во внутреннем человеке, — подчёркивал Гоголь, — начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликался так же, как откликнулся на всё, что ни есть в природе видимой и внешней». Способность поэта «угадывать всё» отмечали и другие его соотечественники. Так, Добролюбов говорил о том, что «Пушкин откликнулся на всё, в чем проявилась русская жизнь... он обозрел все её стороны, проследил её во всех степенях». Белинский же выделял его умение «свободно переноситься во все сферы жизни, во все века и страны».

Эта, говоря словами Достоевского, «всемирная отзывчивость» Пушкина постепенно формировалась в процессе его духовного развития и основывалась на широком и прочном фундаменте самых разнообразных знаний. Историки, философы, политики, экономисты, археологи, фольклористы отдавали дань уважения осведомлённости поэта в соответствующих областях науки, которая вместе с тем не фетишизировалась

им и внутренние противоречия которой он всё глубже и глубже осознавал. Становясь своеобразной эоловой арфой целостного бытия и микрокосмом русской жизни, поэт в своём творческом пути постоянно освобождался от всякого «греха односторонности» — от мировоззренческой предвзятости и идеологического сектантства, политических пристрастий и юношеского фрондёрства, атеистической воинственности и ложного мистицизма. При этом пробуждение религиозности и нарастание духовной умудрённости сопровождалось у него искренним раскаянием и беспощадным самобичеванием. Очищая и углубляя своё духовное зрение, Пушкин начинал видеть предметы и явления в «невидимой» полноте и сложности, в их подспудной причинно-следственной связи и конкретном целостном содержании, а соответственно — в реальном, а не утопическом горизонте развития и грядущей судьбы.

Высоко оценивая ум поэта, К. А. Полевой ставил его гораздо выше «профессорских речей» известных в то время во Франции историков и публицистов. Сходное противопоставление при характеристике ума Пушкина заключено и в высказывании П. А. Плетнева в послании к поэту: «...»Разговор с книгопродавцем» верх ума, вкуса и вдохновения. Я уж не говорю о стихах: меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем какая свобода в ходе! Увидим, раскусят ли это наши классики?».

Противопоставление «профессорских речей» и «пудовых диссертаций» свободно-му размышлению, особой логике и богатству освещаемых бытийных связей не случайно и в неразвернутом виде заключает в себе оценку Пушкина как своеобразного мыслителя со своим собственным методом художественного познания, охватывающим конкретную полноту «живой жизни», а не сокращающим её в отвлечённых категориях и схемах. Белинский, имея в виду статьи и заметки поэта, отмечал: «Виден не критик, опирающийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция открывает истины везде, на что он ни взглянет». Противоречие между «известными началами», предопределявшими ограниченность выводов о том или ином явлении соответствующими теоретическими и эмпирическими аспектами, и «богатой субстанцией», как бы произвольно откликающейся на это явление в его непосредственном течении и значении, в многомерных отношениях и влияниях, не было стихийным и бессознательным и входило в сферу напряжённого творческого осмысления поэта. Пушкин постоянно и целенаправленно отделял всякого рода догматические, односторонние, отвлечённые подходы к реальным событиям и процессам в жизни, философии, искусстве, литературе, что «от противного» характеризует своеобразие его собственной художественной позиции. В этом своеобразии и заключалось «уважение к действительности» «поэта действительности», стремившегося смотреть на её движение с разных точек зрения — с возможно максимальным охватом многих её неоднозначно взаимодействующих сторон. Именно такого уважения он не находил у философов эпохи Просвещения, чьи рационалистические ценности вызывали к жизни снижающие силы и невольно порождали нигилистические тенденции: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием её была ирония холодная и осторожная, и насмешка бешеная и площадная (...) Истощённая поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или галереей соблазнительных картин».

«Сектантскую» односторонность Пушкин обнаруживает и в немецкой философии. Признавая благотворность влияния всеобъемлющей метафизики, спасшей «нашу мо-

лодёжь от холодного скептицизма французской философии», он, вместе с тем, как упоминает М. П. Погодин, выступал с декламациями против неё среди «архивных юношей», составлявших до декабристского восстания кружок Любомудров и привлёкших возвратившего из ссылки поэта к сотрудничеству в журнале «Московский вестник». Кабинетные размышления поклонников Шеллинга не увлекали автора «Бориса Годунова», и в марте 1827 г. он писал А. А. Дельвигу: «Ты пеняешь мне за «Московский вестник» — за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю её; да что делать? собрались ребята тёплые, упрямые; поп своё, а чёрт своё. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — всё это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными знаниями, но мы...».

Столь ироничное высказывание свидетельствует, конечно, не об отсутствии у Пушкина серьёзного внимания к многообразным достижениям философской мысли, а, напротив, говорит о глубоком понимании закономерных границ и внутренних возможностей той или иной системы. Позднее он с одобрением отзывался о намерении С. П. Шевырёва следовать при разборе связанных с поэзией вопросов историческому способу изложения, а не эмпирическому методу французской критики или отвлечённой системе немецкой философии. Пушкин находил в сколь угодно глобальных и оригинальных систематизирующих построениях известную ограниченность, поскольку их авторы, отправляясь от одних начал, «забывают» другие и захватывают непротиворечивой рационалистической логикой только часть жизни, а при абсолютизации своих принципов сводят к этой части всё разнообразие многоликой и многозначимой реальности. Подобные следствия вызывали у него вполне определённое раздражение, отмеченное П. А. Вяземским: «Он был чужд всех систематических, искусственно составленных руководств; не только был он им чужд, он был им враждебен. Он не писал бы картин по мерке и объёму рам, заранее изготовленных (...) Он не задал бы себе уроком и обязанностью во что бы то ни стало либеральничать в истории и философничать умозрительными анахронизмами».

В понимании поэта меняются принципы, «рамы» и «руководства», меняются и выводы, картины, но неизменными остаются забывчивость и «частичность» в теоретическом подходе к действительности, что и обуславливает появление новых начал и соответствующих систем и бесконечную «игру» их всевозможных вариантов. «Другие мысли, столь же детские, — пишет он о сменивших французскую рационалистическую философию утопических проектах, сходных, несмотря на разницу, с системной метафизикой в «укороченном» отражении истории и человеческой природы, — другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими».

Свои проявления укороченности и односторонности Пушкин прояснял и в сфере литературы, разгадывающей уже художественными средствами «вечную загадку» человеческого существования. По его мнению, «однообразность в писателе доказывает односторонность ума, хоть, может быть, и глубокомысленного», а «односторонность есть пагуба мысли». Переоценивая прежние ценности и переосмысляя ранние авторитеты, он открывал в особенностях французской словесности двух предшествующих столетий «холод предначертания», то есть влияние моды, идеологических и политических пристрастий, социальных кланов и т. п.

По мере духовного развития Пушкин обнаруживал снижающие и ограничительные силы и у двух самых главных авторитетов его молодости — у Вольтера и Байрона. «Вольтерьянская» муза становилась все более неприемлемой для него, ибо её скептическая ирония (а скептицизм есть «только первый шаг умствования») осве-

щала в бытии преувеличенно ярким светом смехотворно-абсурдные явления, оставляя в забвении многие другие. Отсюда крайнее упрощение разных проблем, сужение Целого, снижение высокого, уход от сложности реальных жизненных противоречий, стоявших, как известно, в центре внимания Паскаля.

Изменяясь, Пушкин находил изъяны и в романтическом самоуглублении, монодраматизме столь почитаемого им ранее Байрона. Для обозначения этих изъянов он использовал глагол *байроничать*, то есть описывать самого себя. «Байроническая» и «вольтерьянская» позиции как бы сужали и «заменяли» собою богатое многообразие бытия, разрушали объективное соподчинение реальностей и целостную иерархию в нём. Эти позиции, говорящие скорее о пристрастии их авторов, нежели о сложностях самого мира, входили в противоречие с тем стремлением к объективной и полной правде, которое владело зрелым поэтом, как и Паскалем.

И различные философские системы, и «вольтерьянская», и «байроническая» позиции, и всякого рода «предначертания», «предрассуждения», «применения», о специфической односторонности которых Пушкин размышлял на протяжении всего творческого пути, преодолевая их, вырабатывая и постоянно углубляя своё собственное мировидение, как бы в разной степени пренебрегали уважением к действительности, а порою говорили скорее о тенденциях их авторов, нежели о существенных онтологических проблемах жизни. Тогда в действительности выделялись, заострялись и укрупнялись, хотя и истинные, но опять-таки видимые лишь с определённой или неподвижной точки зрения человеческие свойства, факты и события, что отвлекало внимание от «боковых» и «оборотных» сторон выделяемых явлений, их объёмного контекста и исторической генеалогии, их противоречивых духовных корней и неоднозначной пластики. Более того, при абсолютизации определённой точки зрения происходило как бы подавление и усечение действительности и истории, проекция на их отличительные особенности своеобразия довлеющих современных представлений, что частично отразилось и в творчестве молодого Пушкина, где преобладали стихотворения, эпиграммы и романтические поэмы, «подчиняющие» многоуровневую и разнообразную реальность либеральной программе, язвительной иронии, субъективному видению лирического героя. Короткое время своей юности сохранял он иллюзии и просветительской идеологии, основывавшейся на априорной вере в «разум» и «просвещение» как движущие силы социального прогресса.

2

«Обряды и формы должны ли суеверно поработать литературную совесть?» — спрашивал поэт в 1828 г. издателя «Московского вестника» и признавался ему, что все секты в литературе для него равны, ибо каждая из них представляет свою выгодную и невыгодную стороны. Освобождая собственную литературную совесть от всякого рода ограничительных сил и постоянно размышляя о них, Пушкин стремился, если воспользоваться здесь словами Достоевского, постичь «тайну человека» и творимой им истории, а также вырабатывал и совершенствовал способы беспристрастного, многостороннего и живого выражения глубинных жизненных противоречий. Совет, даваемый Пименом Григорию, автор «Бориса Годунова» относил, безусловно, и к самому себе.

*Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,*

*Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны...*

Не мудрствуя лукаво — значит, не перекрывая авторским голосом особенные голоса участников драмы жизни и не давая спасительных рецептов для её благополучного завершения, не угождая властям предрержащим и не потворствуя новым идеям, умея разглядеть в них онтологию сущностных страстей и неизбывных парадоксов человеческой свободы.

С середины 20-х годов происходит постепенная христианизация сознания Пушкина, о которой свидетельствуют его поэзия и проза, автобиографические заметки и критические статьи, высказывания друзей и знакомых. Художественные произведения и философские размышления писателя включают теперь в себя в той или иной степени библейские и церковные понятия, отзвуки богослужений и молитв, мотивы духовного аскетизма и преображения, проблемы христианской нравственности и т. п. Близкие ему люди вспоминали, что он никогда не пропускал заутрени на Светлое Воскресение и звал их «услышать голос русского народа» (так он называл пасхальные возгласы «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»). По словам П. А. Вяземского, в последние годы жизни поэт имел сильное религиозное чувство, читал и любил Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто повторял.

Сам Пушкин в беседах с А. О. Смирновой-Россет признавался, что нет «ничего лучше Писания», что в Евангелии его поражает печать «величавой искренности» и «великой правдивости». Да, писавшие не скрывают слабостей и сомнений апостолов, что придаёт рассказу «громадное нравственное значение». «Есть книга, — писал он об Евангелии как об источнике истинной жизни и подлинной культуры, — коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть (...) если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в силах противиться её сладостному увлечению и погружаемся духом в её божественное красноречие».

В сочинениях Пушкина открываются многочисленные следы и отзвуки самого тесного знакомства с книгами Ветхого и Нового Заветов, с Деяниями и Посланиями апостолов, Откровением св. Иоанна Богослова, Литургией Иоанна Златоуста и Василия Великого. А. Мицкевич вспоминал, что после создания «Бориса Годунова» в разговорах поэта всё чаще звучали рассуждения о высоких религиозных и общественных вопросах. Примечательно и мнение В. А. Жуковского, выраженное в «Записках» А. О. Смирновой-Россет: «Как Пушкин созрел и как развилось его религиозное чувство; он несравненно более верующий, чем я». Мы протестовали: «Да, да, я прав, говорил Жуковский, это результат всех его размышлений, это не дело одного чувства, его сердце и его разум вместе уверовали, впрочем, он уже в самой первой молодости написал «Пророка».

Углубление духовной умудрённости приводило Пушкина к пониманию совести как божественного голоса в человеке, святости как высшего состояния души, а поэзии как пророческого служения. Обретение православной почвы (образы Пимена, Патриарха и Юродивого в «Борисе Годунове»), проникновение в тончайшие нюансы тёмных и светлых мыслей и чувств, в законы воздаяния и возмездия, в могущественную силу «алчного греха», побеждаемого лишь светом «Сионских высот», — эти и другие следствия христианского мирозерцания, отчасти безотчётные, а отчасти выстраданные всем жизненным опытом поэта, и служили основой его мудрости, чуткости нрав-

ственного слуха и безошибочного различения высшего и низшего. На безупречность иерархического сознания автора «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», «Медного всадника» и «Капитанской дочки» выразительно указывал Л. Н. Толстой: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Именно «паскалевское» взыскание полноты Истины, стремление к синергичному пониманию творчества, способного соединить свободную волю человека с божественной благодатью («веленью Божию, о муза, будь послушна») помогали Пушкину гармонически правильно распределять предметы и определять их истинное место в «невидимой» мировой борьбе добра и зла.

Сам поэт определял своё творческое самосознание в стихотворении «Пророк». У пушкинского «пророка», томимого духовной жадой и взыскующего истины, «отверзлись вещие зеницы», а его слух наполнил «шум» и «звон» бытия:

*И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...*

Открытое в результате нового знания «шума» и «звона» бытия включало в себя как раз то, что вытеснялось «философией», «системой», «логикой», разнородными пристрастиями и «предрассуждениями». Творческое внимание Пушкина, как и Паскаля, теперь было обращено на выявление часто не видимых на поверхности жизни, но активно действующих в её глубине сил. У него стало вырабатываться, говоря словами Гоголя, нечто подобное «многостороннему взгляду старца», способному охватывать неоднозначное сцепление этих сил, видеть разные стороны во «внутреннем человеке» и в «природе видимой и внешней». «Взором ясным» поэт открыл, говоря его собственными словами, «силу вещей» и «вечные противоречия сущности», тайную власть беса «гордости ужасной» и «волшебного демона» сладострастия, невидимо, но мощно присутствующих в человеческой жизни и бросающих на неё искажающую и повреждающую тень, в последних глубинах человеческой души поэт прозревал незримую борьбу «гад» и «ангелов», «натуры» и «идеала», которая подспудно питает и окрашивает противоречивый ход истории, вносит непредсказуемые повороты в поведение людей и составляет не охватываемую разумом таинственную непредсказуемость бытия. Именно в изгибах сердечно-волевых движений, заключающих неуловимую для строгого рассудка душевно-духовную пластику страстей и желаний, сгущаются бытийные силы, двигающие «живую жизнь» и накладывающие своеобразный отпечаток на всё в ней творимое (социальные институты, философские системы, науку, цивилизацию). В сложные разветвления этих корневых начал, где завязываются первые акты «маленьких трагедий» человеческого существования и где становятся реально значимыми не поддающиеся рационалистической логике понятия первенства, славы, власти, гордости, тщеславия, зависти, счастья, свободы, наслаждения, мужества, страха, скуки, тоски и было направлено внимание зрелого писателя.

Пушкина как художественного мыслителя интересовало не только специфическое содержание различных культурно-исторических эпох и форм человеческой жизнедеятельности, но прежде всего коренные мотивы, порождающие то или иное конкретное содержание, его противоречия и его очередную смену, которая в своих внешних результатах создаёт иллюзию прогрессивного движения в накоплении зна-

ний и совершенствовании общества. Например, в набравшем достаточно большой авторитет в это время типе учёного внимание Пушкина привлекает существенное духовно-психологическое свойство скуки, онтологически предопределяющее «знаний ложный свет». По-своему осмысляя в «Сцене из Фауста» мировой образ, он показывает, к какому концу ведут растущие из такого корня побеги. «Всё утопить» – вот последнее желание героя «Сцены...».

Но это – пределы. В реальном же развитии наук поэт наблюдал весьма своеобразные процессы: «Наши так называемые *учёные* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноровлением модных понятий к старым, давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые, в некотором смысле, можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых и печалат людей истинно учёных и здравомыслящих». Пушкина интересовали в первую очередь особенности подспудного и неоднозначного воздействия подобных «обманывающих» сил-чувств на противоречивое и непрямойнойное развитие человека и общества. Характерен в этом отношении замысел повести «Папесса Иоанна», сопровождаемый таким комментарием: «Страсть к знанию. Учёный (*демон знания*). Честолюбие». Такие силы-чувства, незримо присутствующие в самом процессе и результатах научной работы, порождают в ней непредвиденные поначалу конфликты.

Поэт не стремился (даже в «Моцарте и Сальери», где речь идёт об искусстве) изображать «специалистов», поскольку его занимали более глубинные побуждения того или иного рода деятельности, «растворяющиеся» в её особенностях. Ему была важна неизменная «канва» жизни, по которой ткуются разнообразные узоры истории, что вполне соответствовало своеобразию его мировидения и писательского призвания. «Если век может идти себе вперёд, – замечал он, – науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, – то поэзия остаётся на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель её одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны».

В этом неоднозначном высказывании, перекликающемся с уже приводившимися мыслями Пушкина о границах в различных видах умозрения, необходимо подчеркнуть оценку искусства как средства преодоления односторонности «системы», «философии», «науки», «идеологии», вообще «частичного» охвата действительности и как средства исследования ускользающих от подобной односторонности реальностей. Художественное проникновение в вечное общечеловеческое содержание жизни раскрывало ему, как неизнаваемо преобразуется человечество в своих внешних достижениях и как стоит на месте сам человек в неизменяемости своих душевных свойств, хотя и облачающихся в разные «одежды»: изменчивость антуража и относительная устойчивость внутреннего бытия как бы не соприкасаются. Но в самой «неподвижности» писатель обнаруживал огромную силу «кипенья в действии пустом», которая чревата «последними катаклизмами» и нигилистические устремления которой встречают сопротивление светлых сторон человеческой души.

Пушкин отчётливо видел, что накопление культурных ценностей не освободило людей от «сомнительных и лживых идеалов власти и наслаждения, так прочно укоренённых в глубине повреждённой первородным грехом человеческой природы и постоянно препятствующих гармонизации отношений между людьми. Напротив,

в «шуме» бытия он различал нарастающее усиление и повсеместное распространение «звуков», разрушительность которых исследуется в «Маленьких трагедиях». (В этих «опытах драматического изучения» перед читателем проходят разные страны и эпохи, возникают порождённые западной цивилизацией человеческие типы, за внешним блеском которых скрываются цинично-эгоистические мотивы поведения и уязвимое нравственное содержание.)

Обозревая смену общественных ценностей, поэт находил и в ней несовершенные или даже порочные духовно-психологические основания, предопределяющие несовершенство и противоречия новой исторической фазы. Примечательны в этом отношении «Сцены из рыцарских времён», где происходит столкновение разоряющихся феодалов, богатеющих буржуа и восстающих вассалов, что отражает ход исторического процесса с его объективными законами. Но вместе с тем Пушкин исследовал и внутренние стимулы и побуждения, среди которых доминируют чувства унижения, зависти, мести и которые способны окрасить собой любую «святую» идею.

*При звучных именах Равенства и Свободы,
Как будто опьянев, беснуются народы.*

Рассказывая о событиях Великой французской революции, поэт писал:

*Всё изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон,
И мрачным ужасом сменённые забавы...*

Соединение чувства социальной справедливости и низких страстей, «забав» и «мрачного ужаса» в «союзе ума и фурий» препятствует качественному, духовно-нравственному преображению людей и множит очередные противоречия и проблемы:

*(...) Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, бывшее истребля.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом светить приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах...*

В истреблении бывшего и кипении нового Пушкин одним из первых подмечает оборотную сторону буржуазного «прогресса», сужающего и заключающего сознание человека в границы сиюминутных эгоистических интересов. «Наш век торгаш», с сожалением констатировал он, одновременно раскрывая и подспудное содержание в привлекательных лозунгах свободы, равенства и братства. Так, устами одного из своих персонажей писатель задаётся вопросом: «... Разве народ английский участвует в законодательстве? разве власть не в руках малого числа? разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?». И далее речь заходит об «оттенках подлости», отличающих один класс от другого, о раболопном поведении «Нижней камеры перед Верхней; джентльменства перед аристократией; купечества перед джентльменством; бедности перед богатством; повиновения перед властью...». И демократия в США, подчёркивал Пушкин, предстала «в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию

к довольству (comfort) ...». По его мнению, республиканские права, законы и другие достижения цивилизации на современном Западе лишь маскируют изначальное неравенство и тем усугубляют его, создают условия для скрытого развития не лучших сторон человеческой натуры и незаметного превращения свободы в своеобразную тиранию.

Одно из проявлений демократической тирании заключалось в развитии «укороченного» просвещения, пренебрегающего уроками истории и своеобразием человеческой природы, замыкающего сознание на современных утилитарных проблемах.

Такой подход Пушкин называл «слабоумным изумлением перед своим веком», «слепым пристрастием к новизне», «полупросвещением». Он считал явным признаком ограниченности людей их преклонение перед своим временем и воображение, будто ими сказано последнее слово по всем вопросам. Поэт, исключавший себя из «подобострастных поклонников нашего века», искал и более суровые слова:

«Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим».

Белинский удивлялся тому, что «великий поэт видит зло в успехах просвещения» и что «нам не впрок пошли науки». В недоумении критика проявилась суженность его духовного кругозора, отмеченная Пушкиным: «Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учёности, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нём критика весьма замечательного».

Духовная зрелость и осмотрительность поэта, его «уважение к преданию», неразрывно связанное с «уважением к действительности», позволяли ему рассматривать современную образованность с разных сторон и точек зрения. И он, конечно же, видел зло не в успехах подлинного просвещения, которое всесторонне и беспристрастно просветляет душу человека, делает его более мудрым и глубоким, а в торжестве надвигающегося «полупросвещения» или «прямого просвещения», опирающегося в соответствии с «духом века» на узкие рационально-эмпирические основы и находящегося в плену «обманывающих сил». Такое «полупросвещение» Достоевский назовёт позднее «полунаукой», которая становится деспотом со своими жрецами и рабами и «самым страшным бичом человечества».

О необычном и неосознаваемом соседстве деспотизма и «полупросвещения» напоминает Пушкин в строках стихотворения «К морю»:

*Где капля блага, там на страже
Иль просвещенье, иль тиран.*

Своеобразная тирания «полупросвещения» заключается в том, что оно своим назойливым и агрессивным господством способствует вытеснению из души любви к «родному пепелищу» и «отеческим гробам», забвению «заветных преданий», отмиранию нравственно возвышающих традиций и идеалов. По мнению поэта, многие люди не заботятся ни о бедствиях, ни о славе Отечества и знают его историю только со времени собственного рождения. «Неуважение к именам, освящённым славою (первый признак невежества и слабоумия), к несчастью, почитается у нас не только дозволенным, но ещё и похвальным уделством».

В религии, истории и судьбе своего народа Пушкин находил целостное единство, включающее личность в непрерывную цепь времён, корректирующее сиюминутные претензии и восполняющее бессознательность и бессмысленную односторонность индивидуалистического развития. Он считал, что без глубокой исторической памяти, неразрывно связанной с духовными и нравственными ценностями христианства, нет

ни подлинной культуры, ни плодотворного настоящего, ни перспективного будущего и в личной, и в общественной жизни.

По убеждению поэта, с другой стороны, именно проникновенное освоение уроков отечественной и мировой истории, совокупность многосторонних «невидимых» значений которой он последовательно выявлял и в которой воспроизводятся, повторяясь, основные свойства человеческой природы, помогает снять прелесть новизны со всяких утопических увлечений и модных идей. «Таинственная игра» исторического движения, в которой «мечутся смущённые народы» и «высятся и падают цари», а кровь людей багрит алтари «то гордости, то славы, то свободы», показывала ему, что всё труднее и насущнее, несмотря на свою кажущуюся непритязательность, оказывается задача «терпеть противуречие», достойно «нести бремя жизни», иго нашей человечности.





ВЕРА КНЯЗЕВА, 14 лет

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

Есть писатели и поэты очень талантливые, есть любимые, есть знаменитые. И есть — Пушкин! С Пушкина мы начинаем сознательную жизнь, слушая вечерами от мам, бабушек и дедушек его сказки. С Пушкиным — мы жизнь завершаем, читая те же сказки, но уже своим внукам. А в промежутке — его проза, его драматургия, его высочайшая поэзия.

Я — как и все. Слушала сказки, «проходила» Пушкина в школе. Повторяла слова «великий», «русский». Но слова эти произносились как-то обыденно. Обидно очень, что гениальность, величие Пушкина, его значение для русского народа, для народов всего мира начинаешь понимать уже в зрелом возрасте. Да и то не каждый это понимает.

Так было бы и у меня, если бы не один случай...

Зима в том году выдалась суровая. На Рождество морозы больше двадцати. А крещенские — так и совсем под тридцать. Голубое небо потемнело, стало синим, дышало холодом. Нахохлившиеся галчата, приютившиеся на огромном тополе, росшем под нашим окном, с тоской заглядывали к нам в окно. Им хотелось в сытое тепло. А мы с дедушкой с такой же тоской смотрели туда, где в промежутках между домами, за парком, виднелась Кама, укрытая льдом и снегом. Мне-то проще, у меня школа, уроки, тренировки. Скучать некогда. А вот дедушка сильно маялся. Здоровье уже не позволяло ему в такой мороз удрать на рыбалку. Вот он и томился. Перебирал по несколько раз свои удочки, перечитывал рыболовные газеты и журналы в ожидании хорошей погоды. Однажды, долго провозившись в чулане, вытащил старый-престарый кожаный чемодан. Чего в нём только не было! Я с интересом разглядывала старые катушки, удочки, какие-то капканы на щук...

— Вот это богатство! — восхитилась я.

— Да из богатства здесь — только вот это, — дедушка извлёк из глубины чудо-чемодана коробочку, завернутую в красную бархатную тряпочку.

В руках у меня оказалась обыкновенная спиннинговая катушка, с клеймом (Z — F).

— Что в ней особенного, дедушка? У тебя вон сколько дорогих, фирменных катушек.

— Для меня дороже этой нет. Отец её с войны привёз. Ордена, медали, нашивки за ранения да эту катушку. Хотя ещё одну вещь привёз. Та уж совсем бесценна! Смотри!

Дедушка бережно достал из кармашка чемодана тоненькую, порьжевшую от времени книжечку. А. С. Пушкин. Сказки. Издательство «Вестник Знания» (В. Битнера). 1907 год.

— Ничего себе! Так ей больше ста лет, — восхитилась я.

Поинтересовалась, почему эту книгу дедушка в чемодане прячет. Оказывается, от нас, внуков, чтобы мы её не «зачитали». И начал рассказывать:

— Было это осенью 1942 года в Сталинграде. Немцы почти к Волге прорвались. Каждый дом, как крепость, иногда по несколько раз из рук в руки переходил. Много товарищей верных потерял мой отец в битве за город. Но и фашистов положили...

Вот однажды отбили дом. Среди убитых фашистов — офицерик, сумка его рядом. Открыли сумку — вдруг документы какие важные в ней. А там — катушка, лесы два мотка да книжонка эта. Опешили наши солдаты, а потом такая злость взяла! Это же он, гад, в нашей Волге-матушке рыбу ловить собирался. А Пушкина нашего тоже как трофеем хотел в Германию увезти?!

Взял отец катушку, книгу и поклялся, что если жив будет, то читать будет Пушкина на развалинах Рейхстага, да и рыбу половит в Шпрее, под самым Берлином.

— Ну и что же, дедушка, что дальше было? — сторала я от нетерпения.

— Тысячи километров прошагал твой прадедушка с этой катушкой и книгой. Сотни раз просили друзья его, солдатики почитать сказки Пушкина. Казалось бы, взрослые люди... А какое удовольствие ещё раз послушать, словно самому в сказке побывать, побывать в доме родном. Особенно часто просили, когда уже по Европе шагали. Так хотелось услышать: «Там русский дух. Там Русью пахнет». Это от книжицы, от пушкинских строк пахнет родной сторонкой, родным домом.

Но выполнить свою клятву отец не смог. И не его вина в том. Чуть-чуть до Берлина не дошли, да их часть под Прагу бросили. Там и войну закончил.

Домой вернулся. Мы родились. Нас учил любить настоящую литературу. Много сам читал. Сталевар простой, а как читал стихи. Очень любил Тараса Григорьевича Шевченко, преклонялся перед его талантом, перед мужеством его. Но Пушкин для отца — это бог. Быстрота, лёгкость, с которой Пушкин творил свои произведения — поражают. У него мгновенная реакция. Вот хоть случай из лицейской жизни... Задание им дали: написать стихи о солнце. Его друг Огарёв вымучил первую строку:

Вот с запада бредёт могучий царь природы!

И заклинило у него. Просит у Александра: помоги, мол, брат Пушкин...

Пушкин тут же помог, дописав:

А удивлённые народы

Не знают уж, с чего начать:

Ложиться спать или вставать?

Читаешь его в тысячный раз и всё удивляешься. Как же так можно, взять простые, обыкновенные русские слова, вставить их в строчку... И свершается чудо! Полилась, зазвенела песня-сказка. Невольно вспоминаешь высказывание Микеланджело. Когда его спросили, как ему удаётся создавать свои гениальные скульптуры, он скромно ответил: «Я беру кусок мрамора и отсекаю всё лишнее...»

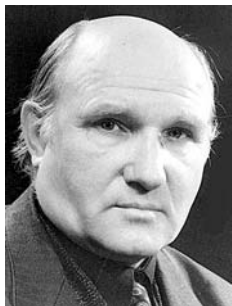
Так и у Пушкина. Ни одного слова невозможно переставить. Всё к месту. Гениальность — это здорово. Но без труда... В любом произведении Пушкина ощущается огромное знание истории своего народа, знание истории народов мира, мифологии, мировой литературы. Вот почему чем больше читаешь его произведения, тем больше открываешь нового для себя в, казалось бы, знакомых тебе строках. А мне дедушка посоветовал взять и прочесть то, что мы уже в школе «проходили», — «Дубровского» или «Капитанскую дочку». Только читать не спеша и думать, думать...

И случилось чудо! Действительно, те же строки, которые я перечитывала уже несколько раз, зазвучали по-новому, заставили задуматься о многом... Да, сколько предстоит мне ещё понять, а до многого я ещё просто не доросла! Но у меня ещё вся жизнь впереди. Жизнь... и Пушкин!



ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА

НИКОЛАЙ РАЧКОВ



ОН ЕСМЬ ГЛАГОЛ

* * *

Порой важней,
Нужнее хлеба
Его Свободный, дивный глас.
Он есмь глагол, сошедший с неба,
Входящий в каждого из нас.

Он неизбывно гениален
В гармонии строки любой.
Настолько он национален,
Что в каждой нации он — свой.

Тот любит в нём задор пирушки,
Тот — грусть осеннюю, тот — смех.
У каждого из нас свой Пушкин.
Какое благо, что — у всех.

* * *

Усадьба.
Дом с осанкой барской,
Простые комнаты, подвал.
Его возвёл наперсник царский
Абрам Петрович Ганнибал.

В столовой печка, сковородки
И стол,
Где выпивал до дна
За разговором рюмку водки
Сам Пушкин в оны времена.

Хозяин был крутого нрава,
Был и поэт не херувим.
Минувших лет былая слава
Здесь воскресала перед ним.

Он, тост произнося заздравно,
Витал в преданиях,
Дивясь,
Как глубока и своенравна
Родства магическая связь...

* * *

Народ безмолвствует.

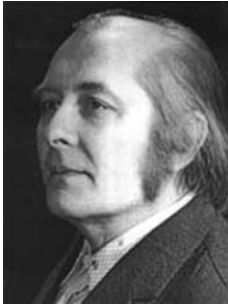
А. Пушкин

Его чеканная строка,
В которой бьёт живая кровь,
Сердца пронзает и века,
Ошеломляя вновь и вновь.

За честь — на дыбу! на дыбы!
Но, поднимая пистолет,
Он понимал, что от судьбы
Спасенья не было и нет.

Глаголу что столетний дым? —
Не задушить, не раздробить.
«Мой друг, Отчизне посвятим...»
Не позабыть бы...
Не забыть.

Ах, Пушкин... Кто такие мы?
Какое время у ворот?
И снова пир во дни чумы,
И вновь безмолвствует народ.



СУДЬБА РУССКОГО ПОЭТА

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире...

...чувства добрые я лирой пробуждал...

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

А. С. Пушкин

* * *

* * *

Где вы,
мои безмятежные годы...
Читаю стихи
Дельвига,
чистые,
как поцелуй ребёнка.

Та далёкая
берёзовая роща
всю зиму
спасала меня
своим светом,
а ныне
увидеться с ней
не удалось.
Гербовые заботы,
как писал Пушкин
в Дерпт Языкову.

* * *

* * *

А говорят –
золотой век...
Тютчев спасся
только потому,
что прикинулся
не поэтом.

* * *

* * *

Мой дом
высоко в воздухе
на шестом этаже

Я и сам не знаю,
как меня,
парня из эстонской глуши,
настигла судьба
русского поэта.

где греют
твои карие глаза

где статные сыновья
уже переросли нас

...Со всеми
вытекающими последствиями.

и где горбатая злоба
всё копошится
в конце коридора

* * *

Лилипуты
так опутали Гулливера,
что при малейшей попытке
освободиться
верёвки ещё туже
врезались в тело.

... Это я думал,
читая письма
Пушкина.

* * *

Собирая цветы,
на миг
обретаешь волю.

ПАМЯТНИК

Уютная,
какая-то домашняя
зелень
бронзы Пушкина
давно уже
весело слилась
с лепетом листы
бульваров
и рош.

* * *

Мечта —
чтобы Пушкин
читал твои стихи.
Чтобы возле
какой-нибудь строчки
остался летучий след
его острого ногтя.

* * *

Отчаянный трепет
листьев осины —
олова арфа
наших лесов.
А люди
не слышат её.

* * *

Ты ведь мечтал
стать пророком.
Забыл,
что их побивают
каменьями.

* * *

Утром после заморозков
на цветке шиповника
заблестела слеза.

* * *

Перебираю своё богатство —
капельки росы,
играющие всеми красками радуги.

* * *

Так же легко бы
рвать паутину, опутавшую нас,
как ту, на лесной тропинке...

ВРЕМЯ

Воздух
всё густеет
и превращается в свинец.

* * *

Как погасить
хотя бы один
крутой вал
зла?

Хрупкое сердце —
волнолом.

* * *

Налетел вихрь
и осыпал нас
золотой метелью листопада.

* * *

Берёзовый лист
оторвался от дерева
и медленно плывёт в вечность.

* * *

Облетевшая берёза,
как статуя.
В сумерках
смутно белеет
на опушке леса.

* * *

Какие крупные здесь звёзды...
И какие они живые...
Таинственный неба чертёж
начинает с тобой говорить.
Но язык его, увы,
племя человеческое забыло.

* * *

Воздух наполнен
золотым отсветом
осенней листвы.

Кажется даже —
где-то невдалеке
купола храма.

* * *

Золотые купола
и кресты
зажглись
на утреннем солнце,
ослепляя сиянием.

Это всего лишь
далёкий отблеск
божественного сияния
на высокой горе,

что открылось
избранникам
Царства Небесного.
*«Просияло лице Его
как солнце,
одежды же Его
сделались белыми
как свет».*

* * *

Пречистая
Божья Матерь,
излей Твой
небесный елей
на гнойные раны
России.

* * *

Пушкин —
это когда
после долгих странствий
возвратился домой.

Пушкин —
это когда
дышится легко.

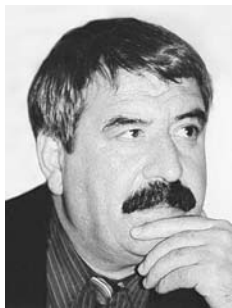
* * *

В осенних лесах
душа
так тиха.

И слышит
свой голос,
заглушённый веком.

*Подборка составлена в 1998 году
вдовой поэта Натальей Метс.
Публикуется впервые.*





МАГОМЕД АХМЕДОВ

БОЛДИНСКИЕ СОНЕТЫ

1.

В душе сияет Пушкинская осень.
О, тайна золотеющего дола,
Небес над ним божественная просинь...
Гори в моих стихах, огонь глагола!

Коснулось чудо пушкинского слова
Природы скромной болдинского крова.
Она и жаром осени согрета
Хранит в себе любовь весны и лета.

Дуб нависает бронзовой стеной.
Хранит усадьбу он, как витязь чести.
Прильну к нему, и кажется, что вместе
Со мною замирает шар земной.

Творил здесь Пушкин, глядя в эти дали.
Для Болдина стихи молитвой стали.

2.

Хоть обнимай берёзок-златовласок!
Волшебный парк цветёт, как на картинке.
Смешенье чувств, смешенье дивных красок,—
Сошлись здесь осень с летом в поединке.

Весь пруд объят поющей тишиною.
Горбатый мостик зыбок подо мною,
Я прикоснусь рукой к его перилам,
Повеет чем-то и родным, и милым.

Брожу ли я по пушкинскому саду,
Иль там, где на лугу стога и кони,
Стою ль в старинном доме на балконе,—
Я чувствую невольную отраду.

Взойдёт печаль во мне, как в поле озимь.
Объемлет душу болдинская осень.

3.

Когда в заветном Болдине бываю,
Хочу к бессмертной тайне приобщиться.
Всю суету сей жизни забываю.
О, Болдино, ты — вечности столица!

Сменяются года в потоке света,
Но неизменен звучный глас Поэта.
Его костёр стихов неповторимый
Мир согревает, грозный и любимый.

Я, горец, тоже духом непокорный,
По Пушкину я творчество сверяю.
На языке аварском повторяю:
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Где б ни был я потом, но и среди ночи
Мне светит осень болдинская в очи.

4.

Средь дагестанских гор стоит одна,
Причудливо в пути людскому взору
Являет профиль Пушкина она.
Я в Болдине припомнил эту гору.

Да, Пушкин, и гора у нас, и море,
И поле хлебное в простом уборе.
Ах, осень... Урожай убрали в сроки.
Но светят в поле пушкинские строки.

Поэты! Хоть до третьих петухов
Творите и надейтесь на удачу
И всё же к бедности своей в придачу
Его возьмите золото стихов.

Как нелегко пробиться сквозь туман.
Ты, Болдино,— поэтов талисман.

5.

На пушкинское я взойду крыльцо
И говорить всем людям горько буду,
Как подлецы в ауле не в лицо —
Стреляли в спину славному Махмуду.

Наш век — он продолженье Чёрной речки.
Везде, везде стреляют без осечки.
Осенний день — дымящаяся рана —
Окрашен кровью детскою Беслана.

Поэт мечтал, чтоб все соединялись
Народы наши в дружную семью.
Была страна, о ней я слёзы лью.
Ах, Пушкин, это бесы постарались.

Ах, Болдино... Легко в твоём саду...
Не тратьте пулю...
К Пушкину иду!

Перевёл с аварского Николай Рачков





НАИЛЬ ИШМУХАМЕТОВ

ВОТ ОНА, ЖИЗНЬ ...

* * *

загляну в глаза Казани на заре
в них
и Рим
и Тадж Махал
и Назарет
Междуречье
стоязыкий Вавилон
а над ними
Гжели русской небосклон

поутру в глаза Казани загляну
я у этих глаз в пожизненном плену

* * *

пока печаль моя светла
покуда боль переносима
шуми шуми по мне ветла
дрожи дрожи по мне осина

покуда умирать не срок
пока для жизни есть причина
храни храни меня острог
ищи-свищи меня кончина

покуда тонок в сердце лёд
пока в кармане зреет дуля
сласти сласти польный мёд
лети лети шальная пуля

* * *

Между Волгой и Уралом,
 Между дудкой и кураем,
 Меж аулом и селом
 Жизнь, что девушка с веслом,
 Замерла в немой тоске,
 Всё решает, дура, с кем
 Ей идти, верней, грести
 По стремнине горести.
 Русский чёлн, татарский парус –
 Что главнее в этой паре?

Дура дурой – что главней,
 Ни за что не выбрать ей.
 Знай живи себе, не мучась,
 Всё равно настигнет участь
 Буриданова осла –
 Смерть на кончике весла.

* * *

Я люблю возвращаться в Казань на лихом «Метеоре»,
 Возвращенье по Волге приятно и сердцу, и глазу.
 Но мои возвращенья – в теории, только в теории,
 Потому что на трап не ступал я ни разу, ни разу...

Не люблю одиночества необоримую силу,
 Не спасут ни семья, ни карманов тугое беремея.
 Миллионное стадо – жующих общения силос,
 Но на практике – мы одиноки всё время, всё время...

Ни страны, ни Отечества, в метрике – отчества метка,
 Ничего своего, лишь удавка сыновнего долга...
 И плывут на закляние Молоху люди-креветки,
 И несёт корабли суррогатная матушка Волга.

* * *

вот она, жизнь, малышок-голышок, посмотри –
 свет – за спиной
 впереди только память о нём
 в поисках неба ты будешь пластаться внутри
 душных тоннелей, что кончатся вечным огнём

вот она, жизнь – родниковым кристалльным враньём
 полнит хрусталь и пластмассу, и в пригоршни льёт
 пей, по-другому нельзя – заклюёт вороньё
 пей, только в душу не лей золотое гнильё

* * *

Услышав запах свежескошенной травы,
Вбираю полной грудью дури дармовой,
Немею телом, речью, становлюсь травой,
И нет ни рук, ни ног, ни светлой головы,
Я – дух, я – воздуха лазоревый подбой.

Я – шелест крыльев над дорогой в никуда,
Мелькают родинки-аулы подо мной
И папилломы-бородавки-города –
Приметы Родины пирующе-чумной.

Уносит в детство запах скошенной травы,
Но с каждым годом всё длиннее этот путь,
И всё страшней искать друзей: а вдруг – мертвы...
На полпути домой и я... когда-нибудь...

* * *

Ты могла бы родиться колонной и жить припеваючи где-нибудь в ханском дворце,
восхищённые возгласы слушать увидевших твой силуэт на парадном крыльце.

Минаретом родиться могла бы,
несущим прозревших слепцов за границы всевластного страха,
по утрам возносить муэдзинов, напевным азаном ласкающих ухо Аллаха.

Ты могла бы... но ты уродилась рабыней-прислужгой-трудягой – котельной трубой,
замерзающий город всю зиму следил с замиранием – всё ли в порядке с тобой.

Коротка, словно память, июльская ночь –
вот и ты позабыта и каждым кирпичиком чувствуешь – небо коптила зазря,
на притихший проспект из трахеи чахоточной хлынула горлом заря.

ЛЮБОВЬ & ПОМИДОРЫ

Ушла любовь, пустив на кетчуп помидоры.
Под бутафорской кровью гнутся стеллажи...
Ушли, кто дорог был, за теми, кто не дорог,
Забив на что-то, на кого-то положив...

Ушли друзья в обнимку с верными врагами,
Мессия был разок, но больше не пришёл.
Сосед ушёл, гремя ветвистыми рогами,
А я остался, но и мне нехорошо...

Ушли в ошип, отбросив бронзовые тени,
Кумиры, идолы, вожди и прочья херь.
Ушло потерянное время обретений,
Настало время обретения потерь...

* * *

памяти Лины Набат

Тяжко
 Больно
 Больно
 Тяжко
 Жизнь – резиновая стяжка
 С металлическим замком.
 Колокольчик в чистом поле
 Надывается по ком?

Динь-динь-динь-динь
 Дили-дон
 Стой-постой!
 Ни шагу боле
 За невидимый кордон!
 Бом-бом
 Дили-дон
 – Жив покудова, чеши-ка! –
 Под ногой блажит трава...

Что ни сделай, жизнь – ошибка
 Что ни делай – смерть права.

* * *

Когда жена обнажена,
 Как миллионы Вер и Варь,
 Когда любви полна луна,
 Отставь Квятковского словарь,

Отложь усталый карандаш,
 Погладь жену с любой руки,
 Как миллионы Маш и Даш
 Утюжат ихни мужики,

Дождись, тестируя кровать,
 Когда взорвёт мозги звонок...
 И возвращайся воспевать,
 Как ты безмерно одинок.

* * *

когда в тебе сойдёт на нет прогорклый дым войны,
 умрёт воинственная плоть в руинах тишины,
 ты величав и кистекрыл пойдёшь по небесам,
 а по земле пойдут бродить... ты их узнаешь сам...
 хромая жизнь, слепая смерть, любовь – поводырём...
 узнав, махнёшь крылом в сердцах – мы пленных не берём...

* * *

Подполковник Чурбанов преподавал на военной кафедре тактику танкового боя.
Он был дважды контужен в Афгане и частенько разговаривал сам с собою.
Заставлял нас писать «лятучку» на отслуживших своё, простреленных перфокартах,
Наши невольные «смяшочки» пресекал визгливым — Бабуины, не каркать!
Приходил на занятия, предварительно накатив боевые двести.
За единственную ошибку в летучке рисовал в журнале могильный крестик.
На наше возмущение, мол, всего же одна, ну поставьте хоть тройку, в натуре!
Неизменно грустнел и словно бы сам себе говорил — пуля считать не умеет, она, как
известно, дура!
Мы хотели при случае устроить ему тёмную, надавать по контуженному жбану...
... не знаю, жив ли он или...
но хочу поклониться Вам за науку, подполковник Чурбанов...

* * *

весь мир — война
все бабы — пули
но есть одна
у нас в ауле
которая мне бинт и йод
я жив пока люблю её

* * *

выдавив из себя по капле сумрачного раба
неприятно констатируешь
ты пуст дружок
нет снаружи-то всё прекрасно
и ты уже не смердишь аки мартеновская труба
но внутри всё тише и тише играет пастуший рожок

* * *

чем тише в доме, тем тревожней на душе,
надежда — в кому, тело ватное — в туше,
могилки грядок, пугал ветхие кресты,
отцветших радуг чёрно-белые мосты,
и дым из печки вьётся мертвенно-белёс,
над зыбью речки скрип разошедших колёс,
не то, уключиной скрипя, Харон-абы
везёт пахучие сосновые гробы...
на белом свете тишина, читай, беда —
взрослеют дети, улетают, кто куда...

* * *

Морзяночные бланки бересты
Несутся гидропочтою стремнины.
Оставив из одежды лишь кресты,
Вбегут в речушку Веры, Нади, Нины.
Поймают девки божьи письма, —
Наперебой шифровки прочитают —
Возлюбленных простые имена.
Всевышний почтальон, вдохнув, растает
От вида остапливленных наяд,
Целующих берёзовую кожу —
Тире бугристых, оспин-точек ряд...

Прости нас, неразумных, Postman-Боже,
Взыскующих не града, но любви
И рифм ея — от крови до крови...





ОЛЬГА КУЗЬМИЧЁВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ

ОТ ВСТРЕЧ ДО РАЗЛУК

Из московской тетради

ПАСХА В МОСКВЕ

* * *

Взметнулись купола. Христос воскрес!
Звенят колокола.
И сердце полнят радостные песни.
И я не умерла.
И я иду поющим пилигримом.
Апрель меня хранит.
Мелькают окна, город — мимо, мимо.
Под каблуком — звенит.
Из лабиринтов тёмных переходов
зовут ступени вверх.
Пробьётся голос в долгом эхе сводов,—
замаливаю грех...
Раззолоченным светом «аллилуйя»
звенит, течёт с небес.
Пронзают землю благостные струи.
Воистину воскрес!

21 мая 2011 г.

* * *

Весна. Весна. Морозны зори,
а днём — капель, а днём — ручьи,
и воробьи в весёлом хоре
лучам кричат: вы чьи, вы чьи?!
Лучи, натянутые тонко,
им отвечают свысока:
— Мы — струны солнца, песней звонкой
Разбудим всех наверняка.

24 марта 2012 г.

Метки-родинки
клейми,
поцелуями считая.
Что —
разлуки для любви?..
Перелётною
летаю.
Перелётною
целую.
Окольцуй —
клеймо на палец...
Пусто в храме.
Аллилуйя —
не для нас! —
и ты — скиталец.

10 мая 2011 г.

МОСКВА

Девка распутная, рыжая,
с норовом дерзким — права!
Ты сыновьями унижена,
продана бесу, Москва.

Снова в осенней сумятице
на перекрёстке стоишь,
спрятав распяты под платице,
блеском фальшивым горшишь.

Снова раскаркались вороны
над беспокойной судьбой.

Ты ли не знала, что вороги
вскормлены будут тобой?

Огненным ливнем умылась ты
в годы лихие не раз,
но не просила о милости —
и нисходил к тебе Спас...

Время безумное катится.
На перекрестье стоишь
и во всемирной сумятице
златом сусальным горишь...

Ноябрь 2010 г.

* * *

Собака в сугробе лежит.
Собака под вьюгой дрожит.
На морде простуженной — снег,
Но теплится взгляд из-под век...
Вокзал. Поезда. Суета.
Бродяжья душа — сирота,
заложница вольных путей
и дней череды без затей...
В вагоне сажу у окна,
мчит поезд в метель. Я — одна.
Снежинками ветер стучит.
И вечность навстречу летит.

31 января 2011 г.

* * *

Странную песню колёса поют,—
поезд вошёл в поворот...
Странное счастье дороги несут.
Счастье ли? — кто разберёт.

На примиренье похожи пути.
И предначертанный круг,
вновь замыкает горячим «прости»
рельсы от встреч до разлук.

15 апреля 2012 г.

* * *

Попросила:
— Богатства дай, Бог...
Дал мне Бог много трудных дорог.

Я их в косу тугую вплела
и торить своё счастье пошла.
Каждый пройденный путь-волосок
златом падал в большой туюсок,
что судьбою зовётся моей,
он с годами — полней и полней.
И становится злато добром,
осветляя виски серебром.
Только звона не слышно монет,
только не было денег и нет.
Что ж? Махнула рукой —
ну и пусть, —
с ними путами стал бы мой путь,
и мечте не лететь высоко.
Я шагаю по жизни легко!

Знать, такое богатство в душе,
что и денег не надо уже.

Март 2011 г.

АКРОСТИХ

Лбом к холодному стеклу прижалась...
Юркий ветер листья кружит, гонит.
Белая ветла — какая жалость! —
Обмерла, не плачет — стонет, стонет:
Ветви обрубил ей под зиму.
И кому-то больше стало света?
Стынут раны. И обрубки стынут.
Ветер взмыл вопросом без ответа...

Есть надежда. Тонких веток хруст
Тихо намекнул: здесь будет куст.

3 ноября 2011 г.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Чтенье мобильных признаний. Грущу.
В сердце звонки СМС не пущу.
Холодно. Колкие звёзды в ночи.
Света лучи тоже не горячи,
синий мелькает в руке огонёк —
синий капкан...
Безголосый намёк:
«Как бы любовь у нас. Как бы хочю».
Буковки ткнут сообщений парчу.

Может, укутаюсь в сети-слова,
сотовой связи закружит канва,
что и любовной-то не назовёшь...
Цепкими строчками звякает ложь.

.....

СМС:

Мне жаль, мне очень печально –
целую тебя виртуально.

21 июня 2011 г.

ТАНЕЦ

В душном зале
звучала музыка.
За окном пел позёмкой февраль...
Знать не знала,
что злая мука за
нелюбимым заманит вдаль.

И берёзка
стучала ветками,
и звенело стекло: «Берегись!»
И неброско,
скупыми метками
звёзды мутную ткали высь.

Отчего же,
не в такт вальсируя,
не увидела грозный закат...
Отче-боже,
и слог, и лиру я
отдала не за грош... за так.

30 сентября 2011 г.

СТЕЖОК-СТИШОК

Стежок за стежком
Сшивала лоскутки для покрывала,
Стишок за стишком
На лист бумаги душу изливала.
Мне было легко
Играть словами – их перо шептало,
Летать высоко
В мечтах, но вот... бумаги стало мало.

Иголки ушкó
Сломалось вдруг, и ниточка застряла.
И всех лоскутков
Мне хватит ли закончить покрывало?
А было легко
Играть узором – ткань сама играла,
Летать высоко
В мечтах, но вот... мечты мне стало мало.

Коварным снежком
Зима дорожку к дому покрывала,
Разлуку с дружком
Сулила, но секрет она не знала:
Я крепким стежком
Дружку на память метку повязала,
Горячим стишком –
Молитвою его оберегала.

Стежок за стежком,
Стишок за стишком,
Ах, как нам легко
Летать высоко.

2005–2011 гг.

* * *

Клавиши рояля перекрашу
чёрные в зелёно-жёлтый тон,
и на белых – лепестках ромашек –
тихо подберу «Вечерний звон».

Вспомню юность, снова разыграю
два вопроса: любит или нет.
И на клавишах судьбы гадая,
вновь желанный получу ответ.

Пухом тополиным, ароматом,
музыкой наполнится простор,
и по нотам розовым заката
гимн любви подхватит птичий хор.

Июнь 2010 г.

КАРТИНА

Ирине Егоровой

*... растут стихи, не ведая стыда,
как жёлтый одуванчик у забора...*

Анна Ахматова

Сквозь мартовский снег
проступил золотистый песок...
И нежно, штрихами,
пробился на холст
одуванчик.
Художницы кисть
расписала его сарафанчик
и, словно стишок, –
тихой строчкой седой
колосок...
Вот-вот
по наитию ветра
сорвутся слова,
вот-вот
разольётся мелодия
красок чудесных,
и холст оживёт,
заиграет цветения песню,
и солнцами
сорная
вдруг
засияет трава.

14 марта 2012 г.

События минувшей весны

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СВЯЖСК!

Известный джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер посетил Казань, чтобы дать единственный концерт в Большом концертном зале имени С. Сайдашева. Преподаватель Гнесинки, композитор и импровизатор, он выступил вместе с группой Blues Doctors и американской блюзовой гитаристкой Николь Фурнье. По словам организаторов гастролей, ещё до приезда Даниил Борисович заявил, что Пасху хотел бы отметить с музыкантами на острове-граде Свяжск. И в светлый праздник Воскресения Христова эту задумку пианисту удалось осуществить. Возможно, пока ещё это редкий случай, когда заезжие звёзды интересуются Свяжском, тем не менее, о многом говорящий, — до сих пор гости Казани просили свозить их прежде всего в Раифу.

Как видим, остров-град Свяжск становится привлекательным для туристов и паломников. Возрождаемый вместе с древним городом Болгар, он пока заметно уступал последнему по посещаемости. Между тем, Председатель Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поставил задачу — в 2012 году, который в Татарстане объявлен Годом историко-культурного наследия, необходимо привозить на остров всё больше и больше людей. Так, уже с этого года министерствами и ведомствами республики будут проводиться различные мероприятия на территории Болгара и Свяжска для учащихся средних школ и средних специальных училищ. «Даже кратковременное пребывание на этой земле делает человека лучше, — сказал Минтимер Шарипович, для которого идея возрождения двух древних святынь стала делом жизни. — Мы все без исключения в этом нуждаемся, начиная с детей...»



Добавим, в Свяжске есть что сегодня показать гостям. По словам помощника Президента РТ по социальным вопросам, исполнительного директора Республиканского фонда «Возрождение» Татьяны Ларионовой, в Свяжске готовы принять посетителей одиннадцать объектов — среди них комплекс казённых зданий и казарм инженерного корпуса, архимандритский корпус Богородице-Успенского монастыря и Троицкая церковь, здание речного вокзала и Дом Каменева.

И наверняка, одной из изюминок посещения острова-града станет любопытный экспонат в Государственном историко-архитектурном и художественном музее «Остров-град Свяжск» — уникальный макет города Свяжска середины XVI века размером 225x130 см.



Специально для музея этот макет создал казанский архитектор и краевед Сергей Саначин и представил его первым посетителям в марте этого года. Вместе с пятнадцатью специалистами в течение двух месяцев Саначин воссоздавал Свяжск по писцовой книге 1565 года. Вероятно, именно таким увидели Свяжск дьяки Никита Васильевич Борисов и Димитрий Андреевич Кикин, подробно описавшие сам Свяжск и его уезд в «Писцовой

и межевой книге», подлинный экземпляр которой хранится ныне в Российском государственном архиве древних актов в Москве. На основе их описания современные архитекторы провели реконструкцию планировки и застройки города. Основой для планировки послужил самый ранний план Свяжска конца XVIII века, на нём видна сетка улиц дорегулярного плана города. Здания и сооружения воссоздали по образцам деревянного зодчества северных и сибирских городов, сохранившихся с конца XVI — начала XVII веков, а также зарисовкам панорам российских городов, сделанным иностранными путешественниками.

Такая подробная реконструкция городов середины XVI века — событие уникальное. Уменьшенная копия древнего деревянного города, подробная и точная в деталях, представляет огромный интерес не только для профессиональных историков, но и для широкого круга любителей старины. Любопытно, что многие свяжские улицы проходят там же, где и много веков назад! И Троицкая деревянная церковь стоит на том месте, где была поставлена в мае 1551 года.

Кстати, в Свяжск всё больше и больше посетителей прибывают не по воде (на водоизмещающих судах путь из Казанского речного порта до острова занимает больше часа), а посуху, свернув у села Исаково с федеральной трассы М7. В ходе выездного рабочего совещания на острове-граде в апреле Премьер-министр РТ Ильдар Халиков особое внимание обратил на благоустройство дорог и тротуаров. Глава правительства также подчеркнул необходимость подготовки карты с обозначением всех объектов внутри острова, системы указателей, начиная от федеральной трассы до самого Свяжска.

Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев отметил, что самая первая задача этого сезона — благоустройство острова, так как работы с использованием большегрузного транспорта в основном закончены. «За последние два года Фондом «Возрождение» и организациями-благотворителями сделано очень многое для того, чтобы в Свяжске уже сейчас было красиво, — сказал первый Президент РТ. — В таких условиях можно начинать принимать туристов, но нужны хорошие дороги и тротуары».

Сергей ТИМОФЕЕВ

ЯБЛОКИ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ В СВЯЖСКЕ

12 мая в Свяжске, на территории, принадлежащей историко-архитектурному и художественному музею, заложили яблоневый сад. А саженцы плодовых деревьев сотрудники свяжского музея привезли из толстовской усадьбы Ясная Поляна.

По данным историков, история острова-града тесно связана с судьбой прадеда великого писателя Андрея Толстого, бывшего в XVIII веке воеводой Свяжска. Именно поэтому здесь решили посадить молодые яблони любимых сортов Льва Николаевича в музейном саду, возрождённом год назад.

Согласно концепции развития музейного сада, сорок саженцев десяти сортов образуют «толстовский» уголок в музее острова-града Свяжска. Со временем там планируется проводить литературные мероприятия.

СТИХИ В НЕБЕ ВЬЕТНАМА

Как показывает многовековой опыт истории, величие страны определяют не её территориальные размеры, не количество народонаселения и даже не военно-экономическая мощь, а по большей части тот культурный след, который она оставляет за собой в тысячелетиях, диктуя миру критерии красоты и гармонии, и на многие годы вперёд задавая другим странам направление развития художественных традиций. Так, например, имя Италии ассоциируется у многих в первую очередь с «Божественной комедией» Данте, сонетами Петрарки, полотнами Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Вазари и других живописцев, а также с фильмами Антониони, Феллини, Висконти, Пазолини, музыкальным фестивалем в Сан-Ремо, показами моды в Милане и целым рядом аналогичных явлений культуры. Имя Франции связывается с романами Дюма и Мопассана, полотнами импрессионистов, духами «Шанель», образом Эйфелевой башни, песнями Эдит Пиаф и французским кино XX века. То есть — с её неоспоримым авторитетом законодательницы мировой моды и общепризнанного лидера в области культуры и почти всех жанров искусства. При мыслях об Англии всплывают сонеты и трагедии Шекспира, истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, эпопея Толкиена о Братстве кольца, песни «Битлз» и «Роллинг Стоунз», образ Гарри Поттера и имя футбольного клуба «Челси».

Огромный шаг в направлении к именно такому величию совершила на днях и Социалистическая Республика Вьетнам, сумевшая подняться над рутинной владеющих миром проблем экономического характера и вознести на первое место по важности для жизни общества забытую почти всеми поэзию. Здесь состоялся 1-й Международный фестиваль поэзии стран Азии, на который было приглашено более 80 мастеров поэтического слова из 28 государств — Лаоса, Индии, Сингапура, Японии, Кампучии, Израиля, России и других ближних и дальних соседей Вьетнама по азиатскому региону. Торжественная



церемония открытия фестиваля состоялась в городе Халонге, провинции Куангнинь, где прошли первые три дня работы этого грандиозного поэтического форума.

Помимо меня, современную поэзию России на этом мероприятии выпало представлять также московской поэтессе Анне Ретеюм, руководителю Союза писателей Республики Саха (Якутия) поэтессе Наталье Харлампьевой и председателю иностранной комиссии Союза писателей России Олегу Бавыкину, на огромных личных усилиях и энтузиазме которого, в основном, и держатся дружба и сотрудничество между писательскими союзами России и Вьетнама. Только за последние два года Иностранная комиссия в лице О. М. Бавыкина умудрилась пригласить и принять в России пять вьетнамских делегаций, в составе которых были такие известные поэты и писатели, как Хью Тхинь, Нгуен Куанг Тхиеу, Ле Ван Тхао, Хоанг Минь Туонг, И Бан, Дао Тхань, Буй Сим Сим, Тю Тхи Тхом, Тай Ба Тан и другие. Вьетнамские коллеги общались с писателями Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, читателями валдайской районной библиотеки, посетили известные литературные музеи, включая Ясную Поляну. То есть — познакомились не только с официально-туристической Россией, но и с её глубиной и широким кругом людей — собственно, тех, о ком и для кого писатели как раз пишут свои книги.

И потому наше участие в Фестивале поэзии во Вьетнаме можно расценивать ещё и как ответный визит российской делегации, осуществлению которого, кстати, помог Фонд «Русский мир» под руководством В. А. Никонова, выделивший средства на приобретение авиабилетов до Ханоя и обратно.

С вьетнамской стороны в качестве неумоимого «мотора» фестиваля выступал председатель Союза писателей Вьетнама — замечательный поэт Хью Тхинь, переводы стихов которого в течение последнего года неоднократно публиковались в российских СМИ. Большой вклад в реализацию идеи фестиваля внесли также заместитель председателя СП Вьетнама поэт Нгуен Куанг Тхиеу, поэт и переводчик Ти Туан и целый ряд других вьетнамских писателей. В частности, живущая в Москве переводчица Нгуен Ким Хиен обеспечила нас подстрочниками стихов многих вьетнамских поэтов, так что на фестиваль мы приехали не с пустыми руками, а с уже опубликованными в русских изданиях переводами.

Целых три дня в Халонге длилось роскошное поэтическое «пиршество». Участники фестиваля выступали с докладами о своём понимании роли и места поэзии в мировой истории, читали эссе и стихи, общались друг с другом и давали интервью ведущим вьетнамским газетам и телевизионным каналам. А надо заметить, что влиянием прессы это событие обделено не было — мы не видели практически ни одного издания, в котором в эти дни не было бы напечатано беседы с кем-либо из прибывших на фестиваль поэтов или же переводов его стихов. Включая поздно вечером или рано утром в гостиничном номере телевизор, мы обязательно натыкались на каком-нибудь из полутора десятков вьетнамских телеканалов (а то и сразу на нескольких) на трансляцию фрагментов собственных интервью или состоявшихся в течение минувшего дня поэтических выступлений. (Справедливости ради скажу, что в своей родной России я и за всю предыдущую жизнь не появлялся столько раз на экране, сколько за эти семь до предела насыщенных событиями фестивальными днями, удивительно похожих на сказочный сон.)

Февраль в районе Халонга характеризуется густыми частыми туманами, которые занавешивают собой окрестные панорамы, однако для нас природа сделала приятное исключение, и в один из дней участники фестиваля совершили запоминающуюся морскую прогулку по знаменитой бухте Халонг, насчитывающей в себе около трёх тысяч невероятно живописных островов. (Часть из них можно было видеть в нашумевшем не так давно фильме «Аватар», где им с помощью анимации были приданы летательные свойства.)

Запомнился также и ритуал запуска в халонгское небо красных воздушных шаров с привязанными к ним свитками со стихами вьетнамских поэтов-классиков, который мы совершили у подножия горы Поэзии — Байтхо (высота 291 м). На одном из её склонов император Ле Тхань Тон ещё в 1468 году приказал выдолбить текст своего стихотворения, посвящённого красоте здешней природы — с той поры у вьетнамских поэтов и укрепилась традиция приходить к подножию этой горы для пополнения своего вдохновения. А чтобы небо Вьетнама всегда было насыщено гармонией, в него отправляют лучшие поэтические строки лучших вьетнамских поэтов, так что вьетнамские небеса наполнены не просто облаками, а сбившимися в белые стайки стихами...

После трёх дней работы в Халонге фестиваль переместился в столицу Социалистического Вьетнама — город Ханой. Социализм во Вьетнаме сохранился в виде обкомов и райкомов партии, сохраняющих контроль над ходом реформирования экономики страны. Разрешены предпринимательская деятельность, частная собственность на землю и запрещённое ранее приобретение автомобилей в личную собственность. Вьетнамцы открыты, приветливы и даже на вид более счастливы, чем большинство рядовых россиян. И для этого сегодня у них действительно есть основания — Вьетнам как-то быстрее, чем мы, оправился после распада социалистической системы и сумел интегрироваться в мировую экономику, сохранив при этом свои национальные богатства и не дав подменить свою культуру той полупорнушной пошлостью, которая затопила собой российское телевидение, проникла в театр, растлила наше великое некогда кино и «опустила» прославившую нас на весь мир литературу.

Во Вьетнаме писатели ощущают довольно мощную поддержку со стороны государства. Здесь с давних времён сохраняется уважительное отношение к литературе, а поэты воспринимаются как мудрецы и философы. В Ханое есть даже Храм Литературы (Ван Мьеу), основанный ещё в 1070 году императором Ли Тхань Тонгом, где и прошли два очередных дня работы фестиваля после его переезда из Халонга. Два эти дня на двух сценических площадках Храма Литературы звучали поэтические, пе-

сенные и даже музыкальные выступления поэтов. И все эти дни Храм Литературы был постоянно полон благодарных слушателей, тепло реагировавших на читаемые нами в сопровождении переводчиков стихи и исполняемые песни. К примеру, наша якутская поэтесса Наталья Харлампьева, помимо чтения своих стихов, радовала вьетнамских слушателей ещё и великолепной игрой на якутском национальном музыкальном инструменте — хомусе, вызывая этим настоящий восторг аудитории.

Надолго останется в памяти также большой поэтический праздник в буддийском монастыре одного из дальних пригородов Ханоя, на десять тысяч жителей которого приходится сто профессиональных поэтов, а литературную общину возглавляет сам настоятель здешнего монастыря. Огромная красивая пагода со скульптурой лежащего у входа весёлого Будды, где состоялось выступление поэтов, была вся украшена невероятно красивыми живыми цветами, просто настоящими роскошными коврами из цветов. Во Вьетнаме вообще очень много цветов, они сопровождали нас повсюду, причём я ни разу не видел, чтобы здесь использовались искусственные цветы — только живые.

А в один из дней мы были приглашены в президентский дворец на встречу с Президентом Социалистической Республики Вьетнам — Чыонг Тан Шангом, который сумел найти в своём плотном президентском графике два часа времени для общения с поэтами.

И снова сравнение с Россией больно кольнуло меня в сердце, заставив вспомнить почти отверженное положение сегодняшних российских поэтов в своём родном Отечестве. К сожалению, как-то так сложилось, что для нашей власти в последние годы на первом месте оказалась, в основном, не истинная глубокая культура, наиболее полно выражаемая именно в поэзии, а многочисленные бездуховные и откровенно пошлые шоу, создатели и участники которых возведены сегодня в категорию национальной элиты, а те, кого в народе называют «совестью нации», оттеснены и от телевидения, и от издательств, и от государственных программ поддержки культуры, и от широкого российского читателя. Правда, не могу здесь ещё раз не вспомнить помощь, оказанную нашей делегации со стороны Фонда «Русский мир», — хочется верить, она является добрым знаком того, что государство опять поворачивается лицом к своим поэтам и в дальнейшем будет относиться к ним так же, как мы это видели во Вьетнаме, где председатель Союза писателей Вьетнама Хыу Тхинь по четыре раза в день разговаривает с Президентом страны, решая вопросы писательской жизни...

Состоявшийся во Вьетнаме Международный фестиваль поэзии показал, что именно гармоничное сотрудничество власти и культуры (и в особенности — литературы) наполняет жизнь страны тем необходимым позитивом, который способен помочь людям преодолеть трудности переходного периода и быть не в оппозиции к власти, а работать с ней на осуществление общей цели. Этим грандиозным шагом Вьетнам поднял себя на уровень центра мировой культуры, показав и нам, и всему остальному миру, что поэзия — это не довесок к повседневной жизни общества, а, скорее, его нерв и душа. По предварительным договорённостям следующий такой же фестиваль намечено провести в 2013 году в Лаосе. На последующие претендуют Кампучия и другие страны. Очень хочется, чтобы какой-нибудь очередной из таких поэтических форумов был однажды проведён также и на родине Пушкина и Есенина, где сам воздух наполнен поэзией, а небо настолько глубокое и бездонное, что его хватит для стихов всех поэтов мира.

Николай ПЕРЕЯСЛОВ,
поэт, переводчик национальной и зарубежной поэзии,
секретарь Правления СП России.

НА СВЯТОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Нижнем Новгороде прошёл семинар руководителей региональных отделений Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество», в работе которого принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Семинар посвящён 130-летию организации.

В пленарном заседании, прошедшем в здании правительства Нижегородской области, приняли участие представители руководства региона и Нижнего Новгорода, научной общественности, руководители региональных отделений ИППО в российских городах, в том числе делегация из города Набережные Челны.

От лица правительства области участников приветствовал министр внутренней политики Дмитрий Шуров. После этого было оглашено приветственное слово председателя ИППО Сергея Степашина. Митрополит Георгий поздравил присутствующих с праздником Пасхи Христовой и пожелал успешной работы в рамках семинара. Отметим историческую роль ИППО в укреплении традиций паломничества жителей России на Святую землю, правящий архиерей поделился опытом Нижегородской епархии в этом деле. «Паломничество на Святую землю — это одна из форм богопочитания, — сказал архипастырь. — Поэтому на протяжении нескольких лет представители епархии, властных структур города и области при помощи Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского регулярно совершают такие паломничества. Причём в паломническую делегацию на безвозмездной основе включается большое число работников образования и культуры с целью их духовного просвещения». От лица Сергея Степашина и всех присутствующих в адрес митрополита Георгия прозвучало поздравление со вступлением в члены ИППО.

С 18 по 20 апреля 2012 года участников семинара принимало Нижегородское отделение Императорского Православного Палестинского Общества. Помимо информационной части в программе семинара под названием «Ветка Палестины» были запланированы паломнические поездки по монастырям Нижнего Новгорода, Городца и Дивеева. В первый день участники семинара побывали на экскурсии по Нижегородскому Кремлю, осмотрели его храмы и достопримечательности.

Затем участники на автобусе направились к Нижегородскому Вознесенскому Печерскому мужскому монастырю, где наместник о. Тихон (Затекин), член ИППО, провёл гостей по уникальному музею истории ИППО. В нём собраны многие подлинные вещи из истории Общества, например, Палестинский сборник 1884 года (подлинник!).

Второй день семинара «Ветка Палестины» прошёл в Городце-на-Волге. В этом старинном русском городе, ровеснике Москвы (основан в 1152 году) скончался выдающийся военачальник и дипломат, святой благоверный князь Александр Невский. Сюда приехали участники семинара, чтобы продолжить обсуждение актуальных проблем деятельности Императорского Православного Палестинского Общества.

Перед началом заседаний участники возложили цветы к памятнику св. князя Александра Невского. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин (Анисимов) произнёс слово о князе Александре. Владыка сказал, что впервые ИППО проводит семи-



нар на той земле, где князь Александр закончил свой земной путь после того, как выполнил свою дипломатическую миссию в Орде. После обеда участники семинара посетили Городецкий Феодоровский мужской монастырь, где поклонились чудотворному списку Феодоровской иконы Божией Матери, затем мощам (частицы мощей) святых отец и жён Церкви.

Многие поднимались на колокольню монастыря и звонили по традиции Светлой седмицы в колокола. Владыка Августин рассказал о славной древней и новейшей истории монастыря. Для гостей была проведена подробная экскурсия по музею и помещениям образовательного центра монастыря. Епископ Августин долго беседовал с участниками семинара на темы церковной и российской истории и нравственности. Участники семинара также посетили уникальный музейный комплекс «Город мастеров» на берегу Волги, воссозданный в традициях русского деревянного зодчества.

Заключительный день семинара проходил в Дивеево. Члены Императорского Православного Палестинского Общества посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и всея России чудотворца, прошли с молитвой по Канавке Пресвятой Богородицы, поклонились мощам Дивеевских святых.

Следует сказать, что Дивеево непосредственным образом связано с прошлой и настоящей историей ИППО. В 1903 году на прославление преподобного отца Серафима Саровского в Саров и Дивеево приехали многие руководящие члены Общества, прежде всего, председатель ИППО, Великий Князь Сергей Александрович и его благочестивая супруга Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. Нашему Председателю Господь приготовил путь мученической кончины от рук террориста в 1905 году.

После кончины своего супруга Великая Княгиня Елизавета Феодоровна взяла на себя руководство Обществом, но никогда не забывала обращаться с молитвами к преподобному Серафиму и часто приезжала в Дивеево, испрашивая заступничества великого угодника Божьего.

Новейшая история ИППО также тесно связана с Дивеево. В 1991 году здесь состоялось празднование второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. На Дивеевской земле в 1991 году и в последующие годы служил и молился Председатель Комитета почётных членов ИППО Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей Второй. И нынешний Патриарх Кирилл каждый год 1 августа служит в Дивеево.

По завершении рабочего заседания участники семинара посетили святой источник в честь Казанской иконы Божией Матери в Дивеево.

Александр КОРНИЛОВ,
профессор, заместитель председателя Нижегородского отделения ИППО

«ДРУЖБА НАРОДОВ» О ДРУЖБЕ НАРОДОВ

В Казани прошли мероприятия в рамках выездной сессии редакции журнала «Дружба народов» и писателей стран СНГ и Балтии.

Участниками и почётными гостями этого мероприятия стали: Алина Талыбова — поэт, переводчик, член Союза писателей, Международного литературного фонда и Союза журналистов Азербайджана, заведующая отделом поэзии журнала «Литературный Азербайджан»; Георгий Кубатян — армянский и российский поэт и переводчик; Бахтияр Койчубев — зав. кафедрой истории и теории литературы Кыргызско-Российского Славянского Университета, кандидат филологических наук, доцент,



литературный критик, член редколлегии журнала «Литературный Кыргызстан»; Бахытжан Канапьянов — писатель, переводчик, член редколлегии журнала «Нива» (г. Астана), создатель и главный редактор международного альманаха «Литературная Азия», создатель и член редколлегии альманаха «Литературная Алма-Ата», член правления Союза писателей Казахстана; Андрей Хаданович — белорусский поэт и переводчик, член Союза белорусских писателей, председатель Белорусского ПЕН-Центра; Дмитро Чистяк — автор поэтических и прозаических произведений, языковедческих и литературоведческих исследований на украинском, русском и французском языках, член Национального Союза писателей Украины и Ассоциации переводчиков стран СНГ и Балтии; Елена Скульская — литератор, поэт, переводчик, журналист; Герман Садулаев — российский писатель, публицист; Елена Исаева — поэт, драматург, переводчик, председатель жюри конкурса «Молодые русскоязычные поэты Закавказья»; Максим Амелин — поэт, переводчик, литературный деятель; Фарит Нагимов — прозаик, драматург, заместитель главного редактора журнала «Дружба народов»; Леонид Бахнов — заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов»; Лев Аннинский — советский и российский литературный критик, писатель, публицист, литературовед, постоянный член редколлегии журнала «Дружба народов».

Ежемесячный литературно-художественный журнал «Дружба народов», являющийся одновременно и общественно-политическим, был создан по инициативе А. М. Горького в 1939 году. В огромной многонациональной стране он стал своеобразной площадкой для выступления самобытных и талантливых авторов, для ознакомления с достижениями в области литературы всех народов и наций. Без него читателям не открылись бы имена Расула Гамзатова, Сильвы Капутикян, Кайсына Кулиева, Мусы Джалиля. Журнал объединил и стал своеобразной мастерской лучших переводчиков, таких как Пастернак, Липкин, Заболоцкий, Тарковский.

После распада СССР развалилось не только общее пространство, но и народы, некогда гордившиеся дружбой и традициями, оказались втянутыми в распри и войны.

Основным лейтмотивом сессии не случайно звучал вопрос о необходимости возрождения художественного перевода, ибо эта проблема напрямую связана с безопасностью этнических отношений. Как говорил австрийский писатель Карл Краус (1874–1936): «Перевести произведение с одного языка на другой — всё равно что снять с него кожу, перевести через границу и там нарядить в национальный костюм». Для любого образованного человека важно и необходимо знакомиться с сокровищами мировой литературы, и не только классики. Современная литература не менее интересна, ведь как знать, возможно, сегодняшние авторы уже написали произведение, которое в дальнейшем потомки признают жемчужиной поэзии или прозы».

Местом проведения мероприятия столица Татарстана выбрана не случайно. Толерантность и уважение к культуре всех народов, проживающих здесь издревле, сохранение этнических, духовных и литературных традиций — только живя по такому принципу, можно сохранить дружбу народов, а значит и мир.

Мир и дружба невозможны без взаимопонимания. Об этом и о том, как мирно уживаются представители самых разных национальностей и конфессий, какие задачи предстоит решить в ближайшем будущем, отметила в своём выступлении от имени руководства Татарстана заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. В качестве примера она привела активную работу по восстановлению исторических памятников в Болгаре и Свияжске под руководством М. Ш. Шаймиева; открытие Ассамблеи народов Татарстана, возглавляемую Председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным.

Перед гостями выступили представители мусульманского и православного духовенства, члены редколлегии журнала «Дружба народов», гости из ближнего зарубежья, писатели, переводчики. Председатель Союза писателей РТ Илфак Ибрагимов призвал уделять больше внимания вопросам художественного перевода, за это должны взяться профессионалы своего дела.

Затем в Национальной библиотеке РТ прошёл вечер тюркоязычной поэзии, свои стихи читали известные поэты республики Разиль Валеев, Флёра Тарханова и многие другие. Перед театральной молодёжью выступили признанные сценаристы Елена Исаева и Фарид Нагим (Москва). В Доме-музее В. Аксёнова выступила яркая, самобытная Елена Скульская (Эстония) — поэт, литератор, журналист, переводчик, организатор фестиваля «Дни Довлатова в Таллинне». В музее Горького перед казанскими слушателями выступил Максим Амелин. Возможность высказаться была у каждого, в том числе и у наших, татарстанских, переводчиков. Лилия Газизова, Наиль Ишмухаметов, Алёна Каримова говорили, что переводчик — это межкультурный посредник, способствующий обогащению и подъёму национальной культуры на новый уровень. На круглых столах в Национальной библиотеке и в Доме Дружбы народов обсуждались перспективы укрепления дружбы народов и развития гуманитарных отношений средствами литературы, проблемы перевода национальных литератур. За три дня насыщенной и плодотворной работы сессии прозвучало немало интересных выступлений, суть которых выстраивается в определённые тезисы:

- С развалом Союза разрушены не только связи между странами, но и истреблена переводческая школа.
- Труд талантливых переводчиков-энтузиастов не востребован на уровне государств.
- Только литература может объединить народы.
- Основная единица межнационального общения — русский язык.
- Журнал «Дружба народов» был и остаётся тем мостом, который связывает автора — переводчика — читателя.

Подводя итог, можно с удовлетворением отметить, что прошедшая сессия подняла острый вопрос значения переводческого аспекта в современном развитии диалога культур. Хочется надеяться, что голоса профессионалов в области литературы наконец-то будут услышаны. Это должно послужить основой целевой государственной программы подготовки и бережного отношения к переводческим кадрам.

Вера ХАМИДУЛЛИНА

«АРГАМАК» — ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИЗИТКА ТАТАРСТАНА

В знаменитом Доме Ушковой, легендарной «Ленинке», напротив главного здания Казанского университета, ныне Национальной библиотеке Республики Татарстан 10 апреля прошёл творческий вечер, посвящённый выходу десятого, юбилейного номера литературного альманаха «Аргамак. Татарстан».

В презентации приняли участие народный поэт РТ, председатель комитета по культуре Госсовета РТ Разиль Валеев, председатель ЦИК РТ Анатолий Фомин, первый заместитель руководителя Республиканского агентства по массовым коммуникациям Фарит Шагиахметов, генеральный директор ОАО «Татмедиа» Айдар Салимгараев, председатель Союза писателей РТ Илфак Ибрагимов, генеральный директор Национальной библиотеки РТ Наиль Камбеев. Вёл вечер председатель Казанской городской организации Союза российских писателей, член правления Союза театральных деятелей РТ, драматург Александр Воронин.

И хотя формально речь шла о десятом, юбилейном номере издания, но фактически это была первая презентация в Казани литературного альманаха «Аргамак. Татарстан», редакция которого расположена в Набережных Челнах. Поэтому из Автограда в столицу республики приехал солидный челнинский десант — главный редактор альманаха, председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей, лауреат Державинской премии и Всероссийской литературной премии «Ладога» имени А. Прокофьева Николай Алешков, поэтессы и сотрудницы редакции Вера Хамидуллина и Алла Орехова, Почётный гражданин города Набережные Челны, член Союза российских писателей, председатель городского Попечительского Совета Русской Православной Церкви Александр Бабаев, народный художник РТ Владимир Акимов и художник-график Ольга Белова-Недовизий, автор и исполнитель Александр Тарасов и другие.

Открыл презентацию неаполитанской песней «Страсть» заслуженный артист РФ, народный артист РТ Мнир Соколов. Кстати, литературный альманах «Аргамак. Татарстан» этого известного певца открыл в качестве журналиста, опубликовав в десятом номере его интервью со звездой татарской оперной сцены Зилей Сунгатуллиной.

Премьерой на презентации прозвучала песня Александра Тарасова на стихи народного поэта РТ Разиля Валеева «Портрет работы неизвестного художника», которые певец, кстати, впервые прочитал в «Аргамаке». Челнинский автор-исполнитель подарил поэту диск со своими песнями.

Первый заместитель руководителя Республиканского



агентства по массовым коммуникациям Фарит Шагиахметов в своём приветственном слове назвал литературный альманах «Аргатак. Татарстан» визитной карточкой республики на карте современной литературной России и предложил организовать презентацию издания в Москве. За три неполных года альманах заявил о себе, стал весомым республиканским брендом. Коллективом сотрудников и главным редактором верно избрано его предназначение в литературном процессе — это не местечковое, а общероссийское издание, что, несомненно, способствует повышению культурного имиджа нашей республики. А половина тиража альманаха (1 000 экземпляров) по решению учредителей (агентство «Татмедиа») и коллектива редакции безвозмездно пополняют фонды всех библиотек Татарстана. Ведь не только спортивными успехами славен Татарстан! А Казань могла бы с полным правом назвать себя третьей столицей России также и в культурном контексте.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Анатолий Фомин признался, что впервые об «Аргатаке» ему рассказал бывший председатель Верховного суда РТ Геннадий Баранов. И теперь Анатолий Алексеевич является постоянным читателем альманаха, а вообще глава ЦИК всегда любил хорошую литературу и русскую поэзию. Откровением для собравшихся стало, когда глава ЦИК РТ наизусть прочёл стихотворение Николая Алешкова «Дважды два», которое посвящено проблеме человеческой свободы и несвободы.

Специально на презентацию приехал из Алексеевского района член Союза российских писателей и автор пяти книг стихотворений, учитель истории в Гурьевской сельской школе Александр Бочкарёв. Свои стихи читали и казанские поэты, которые являются постоянными авторами «Аргатака», — это Рамиль Сарчин и Елена Бурундуковская, Наиль Ишмухаметов и Валентина Зикеева.

В завершение вечера главный редактор альманаха Николай Алешков передал в дар Национальной библиотеке РТ свой новый сборник стихов «От сердца к сердцу», изданный, как и поэтическая книга недавно ушедшего из жизни челнинского поэта Петра Прихожана «Дума о граде Китеже», в новой серии «Библиотека литературного альманаха «Аргатак. Татарстан».

Через две недели после юбилейной презентации в том же историческом зале Национальной библиотеки Татарстана главному редактору альманаха был вручён Диплом в связи с тем, что «Аргатак. Татарстан» занял третье место в республиканском конкурсе «Книга года–2010».

Сергей ТИМОФЕЕВ

ДИСПУТ С СОВРЕМЕННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ

В Доме учёных Федерального Ядерного центра в городе Сарове состоялся творческий вечер известного публициста, литературного и театрального критика, члена Союза писателей РФ Вячеслава Лютого (Воронеж). Лютый не принадлежит к «медийным» лицам. На экранах ТВ, радио, в глянцевах журналах современным литераторам сегодня, к сожалению, не место. Конечно, есть детективщики, беллетристы, гламурщики, но, честное слово, к настоящей русской литературе они имеют самое далёкое отношение.

Путь Вячеслава Дмитриевича в литературу был, как у многих его коллег по перу, сложным. Работал и звукооператором в театре драмы, и электриком, и сторожем, и заведующим литературной частью в известном московском экспериментальном театре Вячеслава Спесивцева. Но в конечном итоге обосновался в воронежском журнале «Подъём». Только не спрашивайте, где можно журнал купить. Серьёзных литературных изданий сегодня днём с огнём не сыщешь в тех же киосках «Роспечати»! Но зато с журналом «Подъём» можно познакомиться в интернете.

Тему встречи Вячеслав Дмитриевич обозначил как «Литература и современный читатель». Вот его размышления.

Корпорация читателей

— Я считаю себя, в первую очередь, членом корпорации читателей. Конечно, читателем более «продвинутым», нежели другие (статус литературного критика объявляет). Но при этом я не чувствую себя членом корпорации литераторов. Почему? Потому что современный читатель ждёт от современной литературы ответы на определённые вопросы. Ищет их — и не находит.

Мы видим, как от неудачи к неудаче кочует российское кино. Особенно грустно от современных фильмов о войне. Здесь наиболее зримо проявляется отсутствие внятной дистанции авторов фильмов от зрителей: сколько должно быть пафоса и сколько должно быть натурализма? В итоге история Великой Отечественной войны устами режиссёров и сценаристов перевирается, искажаются и сами факты, и эмоциональный фон.

В литературе, особенно в исторической, — то же самое. Как показать героя? Если он сложный, значит, его сложность распространяется на всё его бытие. Если мы начнём грузить читателя излишними сложностями, а читатель этого не хочет... Значит, мы упростим. Упростили — герой исчез, нивелировался, перестал быть живым. Литературные герои перестали быть пытливыми, искать ответы на вопросы. Они больше действуют, причём весьма прямолинейно. Поверьте, я, как и вы, устал от голых королей...

Но есть литература другая, не на слуху. А потому её вроде как и нет. Есть. Только её надо искать, и искать кропотливо.

Не ищи рецепт

— В Литературный институт им. А. М. Горького я поступил с пятой попытки. Поступал лет девять. Такая затянувшаяся история. Моя супруга тоже поступала в Литинститут. Но поступила раньше, чем я. Помню, один из преподавателей пошутил: «Двое Лютых для нас — перебор...»

В процессе учёбы вдруг понял, что мне из всех возможных жанров, интересно именно литературоведение, поскольку любое произведение обязательно таит в себе загадку. И эта загадка точит тебя изнутри, ты желаешь понять, в чём же там дело, подобрать свой ключ. Это как тяга ребёнка к игрушкам: разгадать, что внутри. Важно только, чтобы потом машинка ездилась...

И литературовед, и критик должны понять одну простую вещь: они — вторичны по отношению к автору. Существует работа одного известного литературоведа о «Шинели» Гоголя. Другой, не менее известный, литературовед откликнулся на это исследование так: «Он рассказал нам суть «Шинели», но не рассказал, как заново создать её». Понимаете, о чём я? О том, что как бы глубоко мы ни проникли в загадку автора, мы не сможем найти универсальный рецепт, как создать великое произведение. Этой загадке не суждено быть раскрытой.

Тихо звучащие имена

— Это один из самых распространённых сейчас вопросов: кого из авторов вы рекомендуете почитать? Это даже не столько обращение к авторитету собеседника, сколько дефицит информации.

Я с удовольствием перечислю несколько имён. Ну, конечно же, стихи Дианы Кан, которая, как я знаю, приезжала в Саров, Светланы Сырневой, Марины Струковой (автора внутренне очень противоречивого, но со своей невероятной энергетикой).

Советую поискать произведения Василия Киякова, Евгения Чеканова, Ирины Гречаник, Татьяны Соколовой из Сибири, Веры Галактионовой, Ивана Зорина. Да и за примерами в самом Сарове далеко ходить не надо: ваш поэт Геннадий Ёмкин, ваш прозаик Любовь Петровна Ковшова.

Каждый читатель непременно отыщет своего автора, который его зацепит, заставит о чём-то задуматься, заинтересует своей загадкой.

Я в меньшей мере советовал бы ориентироваться на некие литературные премии или, допустим, популярную критику. Потому что у произведения с читателем складываются свои отношения. И если завтра критик вам разжует, как здорово и нестандартно автор решил тот или иной литературный вопрос, разложит произведение на составляющие, согласитесь, это вряд ли повлияет на ваше личное отношение. Музыка всё равно будет продолжать звучать.

«Рынок рецензий»

— Умерла ли литературная критика? Я не стал бы выносить однозначного суждения. Хотя, безусловно, её место демонстративно заняли рекламные рецензии, представляющие читателю вновь испечённые книги. Причём ракурс, в котором рассматривается то или иное произведение, как правило, избирается в соответствии с интересами книгоиздателя. Появился и термин, вполне цинично характеризующий такое положение вещей: «рынок рецензий». Я впервые услышал эту жуткую лингвистическую конструкцию из уст одной теледамы в какой-то из телепрограмм. Услышал и содрогнулся. Об этом прежде нельзя было и подумать: всё-таки искусство и интеллект, несмотря на идеологические скрепы советских лет, внутренне тяготели к чистоте и старались избегать ангажированности.

Появилась плеяда критиков, которые стараются за счёт авторов повысить свой авторитет. Мол, разберу ту или иную «звезду» от литературы и вроде как сам стану причастным к этим именам. Считаю такое положение вещей недопустимым. Ну не может критик конкурировать с поэтом или прозаиком!

Мне особенно неприятно сталкиваться с таким мнением литературных критиков: для меня этот автор не существует, потому что он мне не интересен, я его не читал и читать не буду. На вопрос «почему» можно услышать «потому что я король ситуации!» Это ни в какие рамки не лезет.

В советские времена критик разбирал то или иное произведение, повинувшись внутреннему своему убеждению, выбору, желанию. Писал потому, что не мог не писать. А сегодня: надо столько-то строк рецензии в журнал Иванову-Петрову-Сидорову, стиль такой-то, это стоит столько-то. Вот вам и «рынок рецензий».

Премия премии рознь

— Литературные премии тоже в той или иной степени являются эдакими «междусобойчиками», где того или иного автора нужно «продавливать».

Хочу привести такой пример. Марина Струкова, о которой я уже упоминал. Девушка энергичная, с идеологией, одно время она симпатизировала националистам. И под этим влиянием написала книгу «Мир за рекой», которую везде позиционировала не как «прозу поэта», а как «прозу прозаика». Её книга вошла в шорт-лист одной из литературных премий. И в этом листе значились следующие произведения: роман «Сперматоиды», роман «Анна Корякина, самка...» Сухой остаток: Марина этой премии не выиграла. Кто выиграл — страшно представить. Уж лучше бы Марина... Хотя я остался не самого высокого мнения об этом произведении. Такая в нём безнадёга, что жить не хочется.

И это встречается у многих. Честно признаюсь: в 2010–2011 годах я вёл рубрику «Литература в ящике» в одной из крупных газет. Писал то, что считал нужным. И наелся этой самой «современной литературы» по самые брови. Не выдержал. Написал последнюю статью, которая называется «Соевая литература», и ушёл. Можете прочитать её в интернете, и поймёте, почему.

Нежность к жизни

— Вы обратили внимание, как мало стало произведений о первой любви? Ну хотя бы на экране кино и телевидения. О той, самой чистой, целомудренной, которая случается в жизни практически каждого человека. Современные редакторы или продюсеры почему-то убеждены, что о первой любви надо говорить натуралистично, жёстко. И я то и дело вступаю с такими «специалистами» в спор. Потому что первая любовь — как восход солнца. Сколько людей — столько историй. И как не надоедает каждое утро любоваться восходом солнца, так и чистые нравственные истории не могут надоесть. И кто-то должен рассказывать нашим детям, что есть не только механика действия и прагматика, но и романтика, и нежность к жизни, и радость от каждого восхода. Чем больше будет такой литературы, тем лучше будет наша жизнь.

Елена КАШЕВА, г. Саров Нижегородской области

ОТ РЕДАКЦИИ. К нашей радости, Вячеслав Люты́й является постоянным автором альманаха «Аргамак. Татарстан». В частности, упоминаемая в интервью статья «Соевая литература» опубликована нами в № 3 (8) за 2011 год.

«Я — ТРЕТЬЯ ПОЭТЕССА С ФАМИЛИЕЙ ТАТАРСКОЙ...»

В марте в Москве в редакции журнала «Юность» прошла церемония награждения авторов по итогам 2011 года. Награды вручались в четырёх номинациях: «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Критика, литературоведение». Каждая премия носит имя выдающегося литератора, внёсшего значительный вклад в данный жанр литературы: Анны Ахматовой (поэзия), Валентина Катаева (проза), Бориса Полевого (публицистика), Владимира Лакшина (критика, литературоведение).

Вёл церемонию поэт, главный редактор журнала Валерий Дударев. В своём выступлении он говорил о том, как важно писателю быть услышанным и востребованным в обществе. Учреждённые премии журнала призваны, с одной стороны, поощрить талантливых авторов, с другой, — поддержать интерес к литературе и к лауреатам. Вместе с дипломами лауреата награждённым авторам были вручены памятные серебряные ложечки с выгравированной на них эмблемой журнала «Юность» — рисунком С. Красаускаса. Премиями были отмечены известные литераторы Нина Краснова, Ильдар Абузяров, Елизавета Турисевич, Игорь Попов и др.

Среди награждённых была и казанская поэтесса Лилия Газизова, которая стала лауреатом премии имени Анны Ахматовой, учреждённой журналом «Юность» с 2007 года. Редакция журнала считает Анну Андреевну единственным подлинным классиком, опубликовавшимся в «Юности» при жизни. Лауреатами премии становились известные поэты Дмитрий Бобышев, Татьяна Кузовлева, Галина Нерпина, Андрей Шацков, Елена Исаева, Елена Иванова-Верховская...

В ответном слове Лилия Газизова сказала о радости и неловкости, которые испытала, узнав о присуждении ей этой награды, поскольку «имя великой Ахматовой, которое носит премия, учреждённая к тому же легендарным журналом, — всё это

ввергает в замешательство и заставляет по-новому, более ответственно отнестись к своему творчеству...»

Выступавший на вечере известный поэт Кирилл Ковальджи говорил о радости, которую испытывает за казанскую поэтессу, рассказал о «почти материнском отношении к ней Анастасии Цветаевой», высоко отзывавшейся о стихах Газизовой. В своём предисловии к её первому сборнику Анастасия Ивановна писала: «Стихи Лилии Газизовой настолько не похожи на стихи других поэтесс, настолько оригинальны, что даже найти им название было нелёгким делом. Они одновременно тянутся и к старине, к истории своего народа, — и вместе с тем являются новаторством».

Символично читаются строки одного из стихотворений Газизовой: «Я — третья поэтесса с фамилией татарской...» Кстати, другая замечательная поэтесса татарского происхождения, Белла Ахмадуллина до последних дней являлась членом редакционного совета журнала «Юность».

Впервые стихи Лилии Газизовой появились на страницах «Юности» в 1995 году. С тех пор её поэзия и проза публикуются во многих авторитетных литературных изданиях России и зарубежья.

Поэтесса окончила Казанский медицинский институт и Московский литературный институт имени М. Горького (1996), шесть лет проработала детским врачом. Ныне она руководит секцией русской литературы и художественного перевода Союза писателей Татарстана. Автор семи поэтических сборников, составитель ряда антологий русской и татарской поэзии, Лилия Газизова известна и как переводчик татарской поэзии на русский язык.

Она — идейный вдохновитель и организатор Международного поэтического фестиваля им. Н. Лобачевского и Хлебниковского фестиваля ЛАДОМИР.

Награды не обходят стороной талантливую поэтессу. Она лауреат Литературной премии имени Г. Державина и Всероссийского конкурса им. Артёма Боровика, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. А премия имени великой Анны Ахматовой, несомненно, вдохновит Лилию Газизову на создание новых талантливых произведений...

Лейсан ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Искренне поздравляем Лилию Рифкатовну Газизову, члена редакционной коллегии нашего альманаха, с заслуженной премией, а также с днём рождения (6 июня). В следующем номере «Аргамак» будут опубликованы её верлибры.



Письма главному редактору

Здравствуй, Николай!

Отгремели фанфары по случаю юбилейного номера твоего альманаха, и теперь можно говорить спокойно. Потому что хотелось сказать не о юбилейном, хотя юбилей — само по себе событие большое, и я искренне тебя и твоих соратников с ним поздравляю. А без фанфар хочу сказать о твоём издании следующее. Можно влачить жалкое, порой даже безбедное существование и тридцать, и пятьдесят лет при поддержке то ли государства, которое не очень разборчиво в своём выборе (как ни парадоксально, в большинстве случаев оно поддерживает своих идеологических разрушителей), то ли при поддержке различных фондов, прежде всего, «великого патриота» России Д. Сороса, оставаясь при этом узкоместечковым изданием, даже если оно находится в Москве. Потому я напишу в связи с «детским» юбилеем альманаха (мне всё хочется назвать его журналом, по сути, он таковым и является) о себе: какую роль «Аргмак», о существовании которого до поры до времени я даже не подозревал, неожиданно сыграл в моей писательской биографии.

Получилось так, что в последние годы меня перестали публиковать. Что касается либеральных, окололиберальных изданий, тут всё понятно (мы в разных окопах) но перестали публиковать и так называемые правые, патриотические, я и им оказался не ко двору. И я стал подумывать, не впал ли я в графоманский маразм, ведь даже журнал «Наш современник», который раньше считал за честь напечатать мои прозу и публицистику и членом редакционного совета которого состою, начал безбожно сокращать и править мои тексты. Поразмислив, я решил, что меня не вычеркнули из редсовета просто из деликатности, и обратился письменно раз, второй к главному редактору с просьбой освободить меня от членства в редсовете, или, точнее, освободиться от меня, как от балласта, так как

в редакционной жизни журнала я больше никак не участвую, а мои проза и публицистика с некоторых пор решительно отвергаются.

И неожиданно я получаю от тебя письмо, что возглавляемый тобой альманах «Аргмак», повторяю, о существовании которого я даже не подозревал, публикует рецензию замечательного Санкт-Петербургского поэта Николая Рачкова на мои книги «Мы, русские?» и «Вверх по Реке Времени», вышедших в московских издательствах «Голос-пресс» и «Вече» (кстати, уже в этом, 2012 году, у меня вышли ещё две книги: «Крест мой» в серии «Русское сопротивление» в издательстве «Институт русской цивилизации» и очередное издание романа-поиска «Загадка штурмана Альбанова» с новыми главами о сенсационных находках в Арктике летом 2010 и 2011 года в издательстве «Вече»), и что ты предлагаешь прислать что-нибудь в «Аргмак» на предмет публикации. И в скором времени в нём печатают мои очерки «Закрытый город с открытой душой» и документальную повесть «Увидеть Париж и умереть...», не издеваясь над ними, а чуть позже публикуют по моему предложению рассказ замечательного военного писателя Александра Унтила с моим предисловием. «Наш современник» потом опубликует этот рассказ, но вместо предисловия под моим именем будет напечатана какая-то абракадабра, за которую, кроме стыда, ничего не испытываю.

Можно, конечно, объяснить интерес «Аргмака» ко мне так: провинциальный альманах по неимению авторов нашёл или подобрал ещё одного провинциала-графомана, и обе стороны довольны собой. Но по письмам в журнал (прости, альманах!) можно судить, что читатели благодарят «Аргмак» практически за все мои опубликованные или рекомендованные мной вещи.

Что я тебе пожелаю? Не буду оригинален: здоровья! Я рад, что прислушался ко мне и безбоязненно лёг под спасительный нож знаменитого хирурга. Что я пожелаю альманаху? Чтобы он превратился в ежемесячный журнал. И не просто журнал, а журнал всероссийский, каковым он сути дела уже стал. Россия, если поднимется, то только провинцией, это касается и литературы. И хорошо бы, если власти Татарстана поняли бы это и на фоне умирающих московских журналов поддержали бы «Аргмак» — не такие уж это большие деньги. Слава Аллаху, они (татарстанские власти) и сегодня не смотрят на «Аргмак» как на чисто региональное, «местечковое» издание. Пусть и дальше будет так, чтобы никому из местных «патриотов» не пришлось в голову жаловаться на главного редактора за то, что он публикует «иноземцев».

Михаил ЧВАНОВ, Уфа

* * *

Добрый день, Николай!

Получил журнал; собрался (по занятости) только просмотреть — и втянулся в чтение.

Удивительное дело! — журнал не тем только хорош, что в нём есть сильные вещи, а тем ещё (что куда труднее для редакции) — в нём нет слабых вещей! Весь корпус собранных текстов, от прозы через стихи к публицистике, выдерживает высокий профессиональный уровень. В отличие от многих широко известных литературных журналов, где мешают бог весть по каким причинам святое с грешным и содержательное с никаким.

Как Вам удаётся держать планку?

Рад был узнать о том, что Вы — лауреат премии Державина; это славное имя, и великая честь — быть под его сенью!

Желаю Вам новых поэтических успехов — чтобы Ваши стихи продолжали своё шествие от сердца к сердцу, от книги к книге.

С глубоким прискорбием прочёл некролог Равилу Бухараеву. О его смерти мне сообщил Валентин Курбатов, глубоко опечаленный — они собирались начать какое-то общее хорошее дело. Да вот не случилось...

Меня с Равилем свела «Дружба народов», а на писательских встречах в Ясной Поляне мы защищали в дискуссиях сходные позиции, что ещё больше располагало меня к нему. Большого масштаба был человек! Так жаль...

Ещё раз — успеха Вам и Вашему (нашему!) журналу.

И — здоровья, чтобы хватило на всё.

Владимир ЕРМАКОВ, г. Орёл

* * *

Большое спасибо, Николай Петрович, за публикацию моей повести. Читаю альманах с любопытством и удовольствием. Достойное русской литературы издание!

На следующий год исполняется 95 лет со дня рождения нашего земляка Михаила Николаевича Алексеева. Думаем провести Всероссийские литературные чтения. А что если в рамках этого мероприятия собрать круглый стол главных редакторов литературных журналов Большой Волги?

С уважением, дружески обнимаю,

Владимир МАСЯН, г. Саратов

МЫ ЧИТАЕМ «АРГАМАК»

*Отклики студентов-филологов Набережночелнинского института
социально-педагогических технологий и ресурсов*

* * *

Об Омаре Хайяме сказано и написано много. Его жизнь удивительна, его творчество сотни лет является признанным шедевром мировой литературы. Но что мы знаем о нём на самом деле? Каким он был человеком, кого любил, к кому был равнодушен, какие отношения с властью и обществом он проповедовал?

Завесу тайны попыталась приоткрыть Ольга Журавлёва. В её произведении «Жизнь персидского поэта, рассказанное русской женщиной» («Аргамак. Татарстан», № 1 (10) 2012 г.) уникальное слияние жанров: биография, пьеса, восточная сказка. Благодаря живому, художественному жизнеописанию Омар Хайям предстаёт перед нами гениальным поэтом, врачом, астрономом, философом и, конечно же, человеком. Его образ, казалось бы, невозможно представить и описать детально — почти тысяча лет отделяет нас от великого писателя, но всё же основные события его жизни отражаются довольно точно, умело сочетаясь с художественным вымыслом. Мы словно погружаемся во внутренний мир человека, которого восхваляли и превозносили, но который считал себя обычным смертным, со своими страстями и интересами.

В этой пьесе вечные темы и проблемы человечества: несправедливость и самодурство власти, отношения толпы и знати, размышления о роли поэта-творца, отношение человека к Богу. И, несомненно, важным преимуществом произведения является включение в текст творений самого Омара Хайяма — великолепные, бессмертные рубаи. Они затрагивают самые важные вопросы человечества и гармонично вписыва-

ются в общий фон пьесы. Размышления о любви, чести, Боге, славе актуальны по сей день. Афоризмы, которые произносит Омар Хайям в непринуждённой беседе, обращают на себя внимание. Как лаконично, чётко выражал поэт свои мысли, насколько ёмкими и точными были его высказывания!

На примере отношений Поэта с Шахом автор пьесы показывает, как важно было мнение творцов, как сильно оно меняло сознание людей, как власть под влиянием поэтов и писателей принимала важные решения в пользу народа, чего подчас так не хватает в нашей современной действительности. Омар Хайям не вступает в конфликт с властью — он даёт Шаху направление, указывает праведный путь. Хотя образ Шаха несколько утрирован и в некоторой степени карикатурен, это всё же реальный человек, с которым был знаком Омар Хайям, и на примере их отношений мы можем разглядеть мудрость и рассудительность поэта.

Омар Хайям был праведным мусульманином, верил в Бога и много говорил об этом. Но, прочитав пьесу, мы видим, что ему не были чужды земные страсти, горячая и сильная любовь. И всё же его возлюбленная умирает, ведь все мы бессильны перед Богом.

Омар Хайям был настоящим сердцем Персии, его жизнь была сложной и удивительной. Ольга Журавлёва, на мой взгляд, сумела передать тонкость души поэта, помогла окунуться в мир загадочного Востока, ведь, как известно, весь мир — театр, а люди в нём — актёры...

Ксения ЛАРИНА, 3 курс

* * *

Повесть Елены Колядиной «Дверь на чёрную лестницу» («Аргмак», № 1 (10) 2012 г.) медленно, но верно ведёт читателей к сердцу подростка, к его приключениям и переживаниям. Ни для кого не секрет, что нынешние 13–15-летние юноши и девушки отдают предпочтение различным страшилкам, вампирским сагам, криппи. Повесть Елены Владимировны, на мой взгляд, относится к вышеперечисленному ряду.

Начало повести описывает жизнь девочки Маши, которая любит слушать такие группы, как Green Day, Rammstein. Это говорит о том, что история написана года 2–3 назад, когда в моде были такие субкультуры, как панки, готы, эмо... К слову, «панки» встречаются в тексте, что ещё раз доказывает моё предположение. Смак истории начинается в середине: по приезду в Петербург Маша знакомится со своим сверстником Илюшей, который даже не догадывался, что является прямым потомком художницы Маргариты фон Тиз, призрак которой не давал покоя жителям коммуналки.

Автор детально описал дом, построенный ещё в XIX веке. Парадная, крутая лестница, тёмные коридоры ярко играют воображением читателя: перед глазами возникают образы интеллигентов 1913 года, барышни, сопровождаемые кавалерами, и, конечно же, сама художница с любящим мужем-инженером и детьми.

Кульминационный момент читается на одном дыхании, он более динамичен, нежели завязка... Уверена, Елена Владимировна проделала путь к сердцу подростков через необычный поворот событий, интересный сюжет, лёгкий текст и happy end. Не верите? А вы прочтите!

Эльвина НАБИУЛЛИНА, 2 курс

В ЗАЩИТУ ПИСАТЕЛЯ

НЕПОДСУДЕН

Впрочем, Александр Николаевич Бабаев, о необходимости защиты которого пойдёт речь, не только член Союза российских писателей, автор десятка книг басен, философских миниатюр и афоризмов, но и Почётный гражданин города Набережные Челны, ветеран труда, ударник строительства КАМАЗа, председатель городского попечительского Совета Русской православной церкви, награждённый, к тому же, орденом «Знак Почёта» (это государственная награда), орденом Даниила Московского III степени и медалями. Но для нынешнего олигархата, решившего вдруг расправиться с неудобным или неудобным человеком, не существует каких-либо нравственных преград. Тот или иной высокопоставленный «топ-менеджер» полагает, что ему и закон не указ. Хочется надеяться, что это мнение ошибочное.

Александр Николаевич Бабаев честно проработал в Республике Татарстан 50 лет. Более половины из них — на руководящих должностях в системе КАМАЗа. А в Набережных Челнах он с 1972 года, едва ли не с самого начала строительства города и комплекса заводов. Здесь начинал секретарём комсомольской организации Всесоюзной ударной стройки. Ветеранам стройки памятен случай, когда благодаря энтузиазму молодёжи, возглавляемой Римом Халитовым и Сашей Бабаевым (они меняли друг друга через каждые бессонные сутки) в течение двух недель была выполнена огромная и трудоёмкая работа по переделке промышленных полов на территории первенца КАМАЗа — ремонтно-инструментального завода. Ныне подобный трудовой подвиг представляется невозможным. Отчасти, может быть, потому, что тогда ещё недостроенный КАМАЗ принадлежал всем. А ныне челнинский автогигант — корпоративная, кое-где и частная собственность.

После комсомола Бабаев работал секретарём горкома КПСС, первым секретарём райкома партии, а, окончив Академию общественных наук при ЦК КПСС, некоторое время инструктором Татарского обкома КПСС.

Предвижу возражения: ага, в стихах поэт Николай Алешков «человек сугубо беспартийный», а на деле защищает бывших функционеров КПСС. С чего это вдруг? Отвечаю. Я и поныне считаю — свобода творчества может быть ограничена только волей небес, но отнюдь не партийным уставом. Тем не менее, на моём жизненном пути нередко, особенно в советское время, встречались абсолютно порядочные люди, имеющие партбилеты. Александр Бабаев — один из них. А те, кто сегодня пытается преследовать его, тоже начинали свою карьеру не без членства в КПСС. И не грех напомнить им об этом сегодня.

Однако обо всём по порядку.

С 2000 года по июль 2008 года А.Н. Бабаев возглавлял ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ». В этот период объём производства в автоцентре вырос в 14,7 раза, заработная плата — в 4,8 раза, было создано 130 новых рабочих мест. Предприятие ежегодно в течение пяти лет признавалось победителем среди дилеров и аналогичных автоцентров Российской Федерации и стран СНГ.

В июне 2008 года руководство ОАО «КАМАЗ» предложило генеральному директору автоцентра Бабаеву уйти на заслуженный отдых в связи с его возрастом и отдать свою долю уставного капитала (16,9 %) по номинальной стоимости, которая по закону должна была компенсироваться при увольнении. Бабаев согласился. Состоялись тёплые торжественные проводы, раздавались благодарственные слова и добрые пожелания.

Вдруг — гром среди ясного неба! В октябре того же 2008 года состоялась первая попытка возбуждения уголовного дела со стороны камазовских структур в отношении А.Н. Бабаева. Итогом этой попытки стало **постановление суда об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 201,159, 160 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления**. Заказное безосновательное уголовное преследование побудило Бабаева вступить в арбитражный процесс по возврату действительной стоимости его доли в уставном капитале предприятия. То есть, Александр Николаевич решил постоять за собственные честь и достоинство, известив об этом своих оппонентов личным письмом, на которое не получил ответа.

В одной из программных предвыборных статей Президента Российской Федерации Владимира Путина (газета «Известия» от 16 января 2012 года, статья «Россия сосредотачивается») содержится тезис о том, что в бизнесе должна действовать презумпция добропорядочности и невиновности, что «...нужно будет внести определённые изменения в действующее законодательство с тем, чтобы у нас не было повода переводить хозяйственный спор в уголовное преследование».

Спор А.Н. Бабаева с ОАО «КАМАЗ», являющийся, по сути, гражданско-правовым, был переведён в уголовную плоскость не без помощи правоохранительных органов. В мае, затем в августе 2009 года состоялись ещё две попытки со стороны камазовских структур возбудить уголовное дело в отношении «непослушного» Бабаева. Но и в этих случаях не было выявлено признаков состава преступления даже по ст. 201 УК РФ (злоупотребление служебным положением).

Однако, атака, выматывающая нервы и силы у 68-летнего писателя, порядочного и честного человека, продолжается. 29 декабря 2011 года А.Н. Бабаеву предъявлено обвинение по ст. 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество»). По тем же эпизодам, по тому же временному периоду, по которому ранее уже были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Проведённое расследование по ст. «Мошенничество» не усмотрело корыстного умысла, но, чтобы найти хоть какой-то состав преступления следствие переквалифицировало данную статью на другую — растрата (ст. 160, ч.4 УК РФ). Хочешь-не хочешь, напрашивается предположение о приказе сверху.

По какому же принципу действуют обвинители А.Н. Бабаева в нашем сегодняшнем правовом государстве? Был бы человек — статья найдётся? Вам это ничего не напоминает, уважаемые сограждане?

***Николай АЛЕШКОВ, главный редактор,
председатель Татарстанского отделения
Союза российских писателей***



ПРОСТРАНСТВО ЮРИЯ СВИНИНА

Заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников России и Татарстана, доцент кафедры дизайна и искусства интерьера ИНЭКА — Юрий Григорьевич Свинин, несмотря на все свои звания и заслуги, мало похож на маститого, забронзовевшего мэтра. Достаточно увидеть, как он с увлечением мастерит арбалет, учит внука и мальчишек из соседних дач стрелять из лука, а то и просто травит в дружеской компании анекдоты и байки, которых знает великое множество. Азартный охотник и рыболов, коллекционер — всё это многообразие интересов и увлечений дополняет и питает его творчество — главное дело жизни.

Так сложилась судьба художника, что вся его творческая жизнь связана с Набережными Челнами, куда Юрий Свинин приехал в 1980 году как молодой специалист, имея за плечами солидную академическую школу и училище в родном Иркутске. Затем была учёба в знаменитом московском институте, носящем имя его знаменитого земляка — великого русского художника Василия Сурикова. Пройдя все ступени профессионального художественного образования, Ю. Свинин не стал приверженцем одной академической традиции. Полученные знания и навыки позволили уверенно и успешно работать в самых различных жанрах и техниках.

Уже в первой крупной работе — росписи торгового зала одной из городских аптек — автор показал себя сложившимся мастером. В данной работе можно отметить некоторые особенности творчества, которые будут отчётливо проявляться в последующие годы. Это характерная в целом для поколения Ю. Свинина некоторая «раскрытость» перед культурной традицией различных эпох и народов. В предшествующие годы у художников старших поколений не наблюдалось столь явно выраженного интереса к самым разнообразным и иногда даже не сходным между собой традициям. И если в этой работе «раскрытость» ещё несколько стабилизируется «школой», то есть приобщением к традиции, мастерству, то в дальнейшем творчестве обращение к историческим ценностям и наследию становится более непринуждённым и свободным. С одной стороны, это свидетельствует об уверенной ориентации в культурном пространстве, о художнической зрелости. С другой стороны, происходит вовлечение культурных ценностей в зрелищные картины-игры, часто ироничные и забавные («Кэмп-школа леопарда и змеи», «Орфей и Эвридика» и др.). В восьмидесятые Ю. Свинин много и плодотворно занимается заказными монументальными произведениями. Каждая его новая работа привлекает внимание коллег, он быстро становится одним из ведущих и авторитетных мастеров творческо-производственных мастерских. Часть заказных работ выполняется в соавторстве с другими художниками,



Ю. Г. Свинин

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Орфей и Эвридика. 2010 г. Х.м. 100x100



Персей и Андромеда. 2010 г. Х.м. 100x100

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Александр Селкерк и Птица Сирин. 2011 г. Х.м. 60x75



Африка. 2011 г. Х.м. 50x70

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Георгий-победоносец. 2000 г. Х.м. 90x120



Полдень в Елабуге. 1992 г. Х.м. 90x130

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Венчание. Серия «Требы». 1992 г. Х.м. 96х96



Крещение. Серия «Требы». 1990 г. Х.м. 96х96

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Полевой букет. 2005 г. Х.м. 75x65



Красавица и чудовище. 2003 г. Х.м. 70x50



Моска – ночной сторож гостиницы «Булгар». 2005 г. Х.м. 40x60

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Браконьер. Серия «Незаконный лов». 1987 г. Автोलитография. 60x60



Осень. 2005 г. Бум., пастель. 30x40



Банзай. Серия «Городская среда». 2005 г. Бум., пастель. 38x48



Подснежники. 2005 г. Бум., пастель. 26x24



Эхо прошлого (диптих, левая часть) 1987 г. Декупаж. 80x80



Эхо прошлого (диптих, правая часть) 1987 г. Декупаж. 80x80

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ



Река времени



Рельеф с мозаикой автошколы ДОСААФ, г. Набережные Челны. 1985 г..

особенно много он сотрудничает с В. Анютиным и В. Акимовым. В результате коллективной работы был создан рельеф с мозаикой на фасаде автошколы. За основу был принят эскиз Ю. Свирина. Композицию эскиза можно отнести ещё к одному тематическому кругу работ, в которых есть размышления о контакте и конфликте природного начала с урбанистической, инженерно организованной средой. И не надо долго гадать, на какой стороне симпатии художника, бесконечно влюблённого во всё многообразие форм жизни. Много работ Ю. Свирина посвящены «братьям нашим меньшим». Только у него они часто ничуть не меньшие, а скорее наоборот («Банзай» и «Холодно» из серии «Городская среда»). Надо сказать, что, помимо производственной и педагогической работы, он много работает над станковыми произведениями, участвует в многочисленных выставках. Творчество художника находит признание за пределами Набережных Челнов и Татарстана — в 1984 году он принят в члены Союза художников СССР.

С началом 90-х годов заканчивается относительно благополучный период с государственными заказами, недорогими мастерскими, творческими дачами. Надежды на перемены к лучшему, связанные с перестройкой, сменяются тревожной неопределённостью и развалом страны. И в этих условиях борьбы за выживание, возникают новые произведения, отражающие атмосферу времени, затрагивающие фундаментальные проблемы единства и цельности бытия. С особенной отчётливостью вырисовываются эти вопросы в работах, где возникает тема исторической памяти и памяти культуры. Это и пейзажи, навеянные старой Елабугой («Старый дом», «Магазин «Ветеран»), и диптих «Эхо прошлого» — о периоде репрессий. Надо отметить, что Ю. Свинин — преимущественно повествователь, который идёт от графической фиксации своих наблюдений. У него подчёркнуто бескомпромиссное отношение к окружающему, косвенно или прямо, сюжетно-изобразительно, он затрагивает многие больные вопросы действительности. По словам художника, в работе «Идущие» он изобразил соседку — слепую старуху, которая ходила вместе с внуком за продуктами, боясь, что у него отберут деньги.

Как признание мастерства и таланта художника, можно расценивать предложение выполнить роспись вновь отреставрированной церкви Святых Космы и Дамиана. Почти два года (1990–1992), совместно с В. Анютиным и В. Акимовым, он работает над монументальными росписями «Сотворение мира», «Троица», «Вознесение», «Посвящение Марии» и «Страшный суд». Продолжением этой темы можно рассматривать такие полотна, как «Причащение», «Венчание», «Отпевание», «Крещение».

График по образованию, он не имел возможности в полной мере реализовать свой потенциал оформителя и иллюстратора книги. Тем не менее, за последние годы он оформил трёхтомник Веры Хамидуллиной, создал ряд иллюстраций к «Острову соковиц» Р. Стивенсона.

Большой творческий и жизненный опыт, готовность всем этим щедро делиться, отзывчивость и чувство юмора снискали ему заслуженный авторитет среди студентов. Им воспитано много способных молодых художников, и часто отношения между учителем и учениками перерастают в настоящую дружбу.

Как видите, Ю. Свинин действительно не похож на маститого мэтра, и пожелаем ему ещё долго оставаться неожиданным, ярким и интересным художником, влюблённым в искусство и красоту окружающего мира.

Зуфар ФАТТАХОВ,
доцент кафедры дизайна
и искусства интерьера ИНЭКА,
г. Набережные Челны



НЕПРИДУМАННЫЕ СЮЖЕТЫ

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ



ЧУВСТВО, ПРИСУЩЕ НАМ

Чувство Родины. Мне думается, а, может быть, так есть на самом деле, что нам, русским людям, оно присуще, как никаким другим народам.

Перечитывая недавно, в который раз, дневники Ивана Алексеевича Бунина, я наткнулся на запись, сделанную им за несколько лет до смерти: «Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?» Писатель, который, казалось бы, своей публицистикой в эмиграции, в частности, резкой книгой «Окаянные дни», отрезавшей ему обратный путь в тогдашнюю Россию, несмотря ни на что, помышлял о возвращении в отчие края.

Родина — это место, где человек родился, земля, по которой ходил, небо, под которым радовался и печалился, смеялся и плакал. Это народ, с которым переносил и разделял всё, что выпадает на его долю. Ни в коем случае нельзя Родину ассоциировать со строем и властью, политикой и порядками, царящими в данные времена в стране. Ибо второе — преходяще, а Родина — вечна!

ТРИ СВЕЧИ

Войдя в храм и осенив чело троеперстием, я перво-наперво ищу глазами дорогой для меня лик — Николы, Николая Чудотворца.

Он смотрит с иконы прямым, проникающим взглядом, словно одобряя моё появление, и вопрошает: «Ну, с чем сегодня пришёл?» Я мысленно благодарю святого за то, что даровал мне ещё один день земного пребывания, и одну за другой зажигаю три свечи.

Первую ставлю за упокой души раба божьего Николая — моего дедушки, может быть, единственного человека, которого я беззаветно любил и люблю до сих пор, несмотря на то, что Николай Яковлевич покинул белый свет полвека назад. Он своим примером ненавязчиво учил, как быть полезным в несуразной и грешной жизни, как радоваться малому, даже вкусно пахнущей картошке, сваренной в «мундире».

Вторую — во здравие моего сына Николая, с малых лет приникшего к христианской вере. Я приводил его в храм белоголовым одуванчиком, и малец с удивлением, внимательно рассматривал святые лики, подолгу стоял перед распятием Сына Божьего, а потом стал неловко креститься ещё неокрепшей десницей. Теперь он — юноша, стремящийся строить свою жизнь по законам Святого Писания, а это в сегодняшнем бедламе и суете ох как непросто!

Третью... А третью... Во здравие или за упокой? Так получилось, что мой отец Николай не ведал о моём существовании. Я только зарождался в мамином чреве, когда

его, сержанта-пехотинца перевели в далёкий город. Любовь их была внезапной и недолгой, как многое в послевоенные годы. И затерялись следы моего отца, о котором я всегда помню, хотя никогда не видел. Став взрослым, я взял его фамилию — вот такая память осталась.

Жив ли он?

Поставлю и третью свечу во здравие...

ЧЕЛОВЕК С ЧЕРЁМУХОЙ

Белгород хорош в любые праздники. Но особенно он преображается, становится красивее, торжественнее, душевней к Дню Победы. На улицах и площадях, в парках и скверах столько ветеранов войны, поблёскивающих наградами, что кажется, годы им нипочём: держатся, не сдаются времени и старым ранам наши фронтовики, защитники, победители.

Иду по аллее к памятнику и Вечному огню на центральной площади. Присел на скамейку рядом с пожилой женщиной. Она в строгом платье. Поверх — пиджак, чуть тесноватый, не модного сейчас покроя. На лацканах — ордена и медали. Среди наград — слегка потемневшая медаль «За отвагу», приколотая отдельно от остальных.

Подкрашенные в охристый цвет волосы с предательскими сединками заправлены под берет цвета хаки — такие носили фронтовые медсёстры. Губы плотно сжаты. Глаза задумчивы. Несмотря на возраст, женщина красива, притягивает взоры прохожих.

Парень, очень даже современного вида, вероятно студент, беспечно вышагивает по аллее с веткой черёмухи, пенящейся от белоснежного цвета. Улыбается, спешит на свидание или просто так гуляет. Вдруг он заметил женщину, утишил шаг, внимательно посмотрел на неё — и цветущая черёмуховая ветвь с пьянице пахнущими кисточками легла на колени фронтовички. Она от неожиданности вздрогнула, а потом с дрожанием в голосе произнесла: «Спасибо, молодой человек!» В уголках её глаз блеснули жемчужинки слёз.

А парень заулыбался ещё яснее, и было заметно по его лицу: он доволен свершённым поступком, может быть, даже неожиданным для себя самого.

ПУСТЬ ТОЖЕ ПОМНЯТ...

Немцы тесной кучкой стояли у величественной Звонницы на Прохоровском поле. Дети и внуки воров, супостатов, некогда посягнувших на свободу нашей Родины, казались пёстрыми муравьями на фоне величественного памятника русскому оружию, русскому духу, который не сломил никто и никогда за многовековую историю России.

Они положили гвоздики к подножию монумента. У некоторых в глазах блестели слёзы, они их вытирали скомканными носовыми платками. Возможно, в тот момент гости из Германии вспомнили кого-нибудь из своих предков, воевавших на великих русских просторах, а, может быть, и навсегда оставшихся в нашей земле. Показалось, что я даже услышал тихое, неизвестно, к кому обращённое:

— Verziehen Sie!*

* Простите (нем.)

Простите... Да, те, кто пришёл тогда к нам с оружием, давно прощены. Но горе, что они принесли, останется навсегда в народной памяти, рассказы о нём будут передаваться от поколения к поколению даже тогда, когда последний участник, последний свидетель войны уйдёт из жизни.

Как можно забыть рассказ бывшей жительницы прохоровского села Покровка Марии Дмитриевны Проскуриной?

— За день до большого боя через село проезжал грузовик со снарядами. Что-то в моторе сломалось, и шофёр бросил его близ нашей хаты. Солдат обещал вернуться с другой машиной, да куда там! — вокруг уже грохотало.

А рано утром двенадцатого июля со стороны немцев полетели огненные снаряды, и грузовик взлетел на воздух. Мы таились в погребе, потому и спаслись. А хата дотла сгорела. Неразорвавшиеся снаряды разбросало по всему огороду, потом мы со страхом выносили их на руках в ближайшую ярушку.

Война много бед принесла. Помню, очень голодали. Одно спасение было — корова. Молоко она давала хорошее, вкусное. А когда пришли немцы, то по их приказу полицай забирал почти всё, что мама надаивала.

Однажды вражина вовремя не пришёл за молоком. Было лето, и мама сказала: «Чай, уже не зайвится, а молоко скиснет», — и наварила нам каши пшённой.

Только поели — полицай вот он, на пороге. Увидев, что молока нет, рассвирепел, стал ругать маму, а потом доложил немцам.

Вскоре пришли два бугая с автоматами, накинули нашей Зорьке верёвку на шею и поволокли по дороге. Мы, дети, плача, бежали за ними до околицы, а мама чуть ли не до самого Яковлева, умоляла не забирать кормилицу. Солдаты хлестали матушку верёвкой, пинали. Вконец обессилев, она отстала и потом едва до двора дошла.

Мария Дмитриевна, рассказывая, плакала, хотя те, непотускневшие в её памяти события происходили более шестидесяти лет назад. Может быть, кто-то из вражьих солдат был отцом или дедом немцев, которые теперь топтались на Прохоровском поле? Бог им всем судья.

Потом гости сфотографировались на фоне Звонницы. На память.

Что ж, пускай они тоже не забывают.

МЕШОК СУХАРЕЙ

— Я родился через два года после войны, когда мой отец, повоевав с финнами, немцами, а потом и с японцами, вернулся домой. Помню, что у моей бабушки, пережившей блокаду в Ленинграде, всегда за кроватью стоял мешок сухарей. Она не могла выбросить ни малого кусочка хлеба, сушила их, складывала про запас. Ещё у бабушки была такая привычка: после еды она сметала крошки со стола в ладонь и отправляла их в рот...

И я, годок мужчины-рассказчика, тут же вспомнил, что и в моём детстве в нашей семье тоже сушили сухари из остатков хлеба, а после обеда бабушка подставляла к краю стола левую ладошку, правой проводила по клеёнке и потом всё собранное — несколько крошек — отправляла в рот. Она рассказывала, что самой страшной была первая зима: от недоедания и оттого, что пили много воды, мой дядя, тогда подросток, и бабушка стали опухать. А ведь семья была в глубоком тылу — на Дальнем Востоке.

С годами и я приобрёл такую привычку: видимо, проявились гены памяти о военных голодных временах, пережитых нашими предками.

СРАВНИЛ...

Краем уха слушаю радиопередачу. Литературный критик, так сказать, либерального толка, сделавший имя в мутные перестроечные годы, встречается с молодёжью. Говорит, слегка грассируя, явно довольный, как он оригинален в своих словоизлияниях.

Школьник задаёт вопрос:

— Как вы относитесь к тому, что в русском языке всё больше англоязычных выражений?

Гость, авторитет, иначе бы его не пригласили в школу, отвечает, не задумываясь:

— Вот вы, ребята, почти все в джинсах. И это нормально, потому что они удобны, практичны, модны. Можно ли их запретить? В советские времена пробовали, но ничего не получилось. То же самое с английскими словами: этот язык — международный, его проникновение в другие языки естественно и неостановимо. Так что всё — о'кей!

И это слова того, кто считает себя русским писателем?!

Думаю: ну ладно, пусть не авторитеты для него Пушкин, Тургенев, Достоевский, Толстой и другие наши классики, пусть не читит он нынешних — Белова, Распутина, Личутина, но хотя бы к Бродскому прислушался: «... Самое лучшее и драгоценное, чем Россия обладает, чем обладает русский народ, — это русский язык... Самое святое, что у нас есть, — это, может быть, не наши иконы и даже не наша история — это наш язык».

Каким же надо быть равнодушным к судьбе русского языка, чтобы сравнивать его с джинсами?!

«ЭТО НЕ В КАЙФ...»

Попался мне как-то текст письма, которое нашли в Великом Новгороде археологи. Датируется послание XI веком. Писала девушка своему возлюбленному. На бересте были начертаны такие слова:

«Я посылая тебе трижды. А что за зло на меня ты имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил? А я ведь тебя за брата считала. Может быть, я тебя чем-то задела, посылая? Ведь понятно, что тебе это неудобно. Если бы тебе это было угодно, то ты бы, из очей выпрыгнув, пришёл...»

Ныне где ты есть? Поспеши ответить мне, если ты подумал, что я тебя отвергаю. Если я задела тебя своим безумием и ты начнёшь насмехаться надо мной, то свидетель тебе Бог и моя худость».

Много раз я перечитывал это послание, восхищаясь, какие прекрасные слова нашла древнерусская красавица для выражения своих чувств, как плавлен и безупречен стиль письма. А однажды подумал: интересно, как бы изъяснилась с любимым нынешняя девушка? Попросил студентку переложить приведённый выше текст на, так сказать, язык общения молодёжи. Вот что получилось:

«Я эсэмэсила тебе трижды. А за что ты гонишь на меня, что в эту неделю со мной не сконнектился. А я ведь тебя за кореша принимала. Мейби, я тебя чем-то зацепила, посылая?»

Ясен перец, что тебе это не в кайф. Если бы тебе это было в кайф, ты бы напрягся и пришёл.

Сейчас где тебя носит? По-быстрому ответь. Если ты гонишь, что я тебя игнорю, если я зацепила тебя своей бесбашенностью, и ты прикалываешься надо мной, то бог тебе судья и мой загон».

Да, как говорится, большая разница. Грустная разница.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ?...

Когда я захожу в какой-нибудь офис или магазин и вижу молодого здорового парня, одетого в безликую камуфляжную форму, малоразговорчивого, набычившегося, с насторожённым взглядом, то думаю: а кем интересно он мечтал быть в детстве? Неужели охранником?!

«Все работы хороши. Выбирай на вкус!» — так, кажется, звучит стишок советского поэта-классика. Но у всех ли нынче есть возможность выбора? Увы, увы... Выражение «Каждому — своё» больше отвечает нашей сегодняшней реальности.

А фешенебельных офисов становится всё больше. Значит, для здоровых парней будут рабочие места: охранять не своё, защищать не себя...

ПЕРЕПЛЁТЧИЦА

У неё умелые руки. После окончания школы обучилась профессии переплётчицы, работала много лет в небольшой полиграфической фирме. Переплетала книги, делала папки, памятные адреса, да и всё, что требовалось, выполняла. Но финансово-экономический кризис — будь он неладен! В фирме сокращение работников. Женщину предупредили: ищи новое место.

Просмотрела газеты. Переплётчицы не нужны: кто нынче книги покупает и читает? А вот фирме по оказанию ритуальных услуг требуется работник — цветы неживые делать. Пошла. Попробовала. У неё получилось. Взяли на работу. Теперь она своими ловкими пальцами цветы клеит, к венкам их прилаживает. Заработок хороший и постоянный. Заказов много. Нынешнее время этому способствует.

ПОДМЕНА

Этот монолог я услышал не от гуманитария, а от тридцатилетнего финансиста, отчего сказанное им приобретает ещё более актуальный смысл.

Я записал его слова по памяти.

— Мне кажется, сейчас происходит подмена всего естественного искусственным. Одежда — из тканей, изготовленных при помощи «химии», то чем питаемся — плоды генной инженерии. Мы уже редко говорим слово «друг», чаще — «приятель», а ведь дружба и приятельство — далеко не одно и то же. Любовь постепенно уходит из жизни, остаётся брак, а то и вовсе секс.

Даже денег реальных сейчас нет. То есть они существуют, но, в основном, на карточках, сосредоточены в банках. Вроде бы вкладчики имеют определённый капитал, но расчёты постепенно переводятся на «безналичку», и подержать деньги в руках удаётся не всем их имеющим. А уж о тех, кто живёт на кредиты, и говорить нечего.

Я понимаю — технический прогресс, цивилизация. И все-таки жаль чего-то уходящего, исчезающего навсегда. Ведь как ни красивы газоны с посаженными цветами

и скверы с подстриженными деревьями, луга с ромашками и васильками, естественные леса привлекательней — душа радуется, а не только глаза ублажаются.

ЖАЖДА ЖИЗНИ

Жажда жизни присуща не только человеку и другим живым существам, но и неодушевлённым.

В центре города в сквере спилили старый тополь. Дерево было огромным, пень оказался диаметром метра полтора, так что выкорчевать его не удалось.

Убрали красавца ранней весной, когда из почек только-только проклёвывались листочки. А потом на срезе из-под толстой коры потянулись вверх побеги, вскоре покрывшиеся листьями. Через некоторое время они превратились в гибкие веточки, обрамившие потемневшую лысину пня.

Прохожу я как-то мимо. Вижу: кто-то срубил молодые ветки. Но прошла неделя-две, и вновь кряжистый остаток дерева зазеленел.

Осенью народившиеся побеги опять срезали, и пень оцетинился сухими рогатками.

Пройдёт зима, настанет весна. Увижу ли я зелёные отростки на старом пне? Очень хочется увидеть!..

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

На утреннем небе — заволока из лохматых туч.

Подожёл к окну поближе, и вдруг сквозь внезапно образовавшейся голубой прогал — яркие лучи: не иначе, как Господь подал знак: «Я — есть! Я — с тобой!», благословив на добрые деяния в этот хмурый день.

Солнце показалось всего лишь на несколько мгновений, но этого было достаточно — на душе посветлело и забылось, что таких дней в моей земной жизни, наверное, осталось не дюже богато.

ОТ РЕДАКЦИИ. Осуществляя первую в нашем альманахе публикацию Валерия Николаевича Черкесова, поздравляем его с 65-летием, желаем здоровья и творческого долголетия, а также надеемся на дальнейшее сотрудничество.





ЗВАНЫЙ ГОСТЬ

АНАТОЛИЙ АВРУТИН

НЕМАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛИ

* * *

Станиславу Куняеву

По пыльной Отчизне, где стылые дуют ветра,
Где вечно забыты суровой судьбины уроки,
Бредём и бредём мы... И кто-то нам шепчет: «Пора!
Пора просыпаться... Земные кончаются сроки...»

Алёнушка-мати! Россия... Унижен и мал
Здесь каждый, кто смеет отравной воды не напиться.
Иванушка-братец, напившись, козлёночком стал,
А сколько отравы в других затаилось копытцах?

Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк
И лица в окошечках, будто бы лики с иконы —
Морщиночки-русла от слёз не просохнут никак,
И взгляд исподлобья, испуганный, но просветлённый.

Здесь чудится медленным птицы беспечный полёт,
Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.
Поётся и плачется целую ночь напролёт,
И запах медвяный... Над росами запах медвяный.

Дорога раскисла, но нужно идти до конца.
Дойти... Захлебнуться... И снова начать с середины.
Кончается осень... Кружат золотые сердца...
И лёт лебединый... Над Родиной лёт лебединый...

* * *

Только подхватишься... Глянeshь спросонок—
Клён предноябрьский полураздет.
Утро промозглое... Плачет ребёнок...
В лампочке — полузадушенный свет.

Лица привычные – мутные лица.
Бледные мысли... Хромые слова...
Помню: «Москва – это наша столица,
Наша столица – родная Москва...»

Где это?.. Я всё на том же диване...
С тем же блокнотом... И в том же дому.
Что ж вы наделали, братья-славяне?
Горе Отчеству... Горе уму...

Схлынул поток отправлений и писем.
В сверхсуверенной сумятице дней
Стал от Москвы я совсем независим,
Как независим от мамы своей.

А пробежусь переулочком гулким
И прочитаю по хмурости лиц –
Хоть мы в одном родились переулке,
Но приходим из разных столиц.

* * *

Снова мокрый декабрь... Очертанья не резки...
Тьма во тьму переходит, что хуже всего.
Я не знаю, курил или нет Достоевский,
Но вон тот, с сигаретой, похож на него.

Так же худ... И замызганный плащ долгополый,
Не к сезону одетый, изрядно помят.
Он в трамвай дребезжащий шагнёт возле школы,
На прохожих метнув с сумасшедшинкой взгляд.

Что с того? Те же тени на стёклах оконных,
Та же морось... И те же шаги за спиной.
Но теперь на «униженных» и «оскорблённых»*
Все прохожие делятся в дымке сквозной...

* * *

С кареглазых холмов
всё сбегают потоки босые,
Ноздреватая дымка
ползёт с побледневших полей.
И летят журавли
Над холодной и мокрой Россией,
И в России темнеет
без белых её журавлей.

* «Униженные и оскорблённые» – роман Ф.М. Достоевского

Снова листья кружат...
Покружив, сухо щёлкают оземь.
Все прозрачней становится
 голый запущенный сад.
Всё слышней поутру,
 как свистит желтоблужая осень,
Как цепляясь за бренность,
 последние листья кружат.

Но порою мелькнёт...
Чуть погаснет... Опять загорится...
То ли свет предвечерний,
 то ль блики с далёких болот.
А потом то ли зверь,
 то ли просто пугливая птица
Вспорет серую дымку...
Над сгорбленным садом мелькнёт.

И запомнишь навек,
Не забудешь и в ярости лютой,
Этот свет неизбывный,
 буравящий пасмурность дней.
Тот, что будет парить
 над твоею последней минутой...
Над забытой Отчиной...
Над горькой печалью твоей...

* * *

Вновь темнеет... Резко... Скоро...
Оставляя за плечами
Нечто, полное простора,
Нечто, полное печали.

В пруд нырнёшь... Коснутся горла
Две звезды щербатым краем
Там, где ива распростёрла
Ветви, пахнущие маем.

И всплывает по спирали
Из-за сумрачного бора
Нечто, полное печали,
Нечто, полное простора.

Да беззвучно раздаётся
В золотистое предранье:
«Только тем и воздаётся,
Кто не жаждет воздаянья...»

И всё смотришь без укора,
Осознав себя едва ли,
В нечто, полное простора,
В нечто, полное печали...

* * *

Выхожу один я на дорогу...

М. Лермонтов

Посиди же со мной... Помолчи...
Я взгрустну, ты помолишься Богу,
Чтоб сыскал наконец-то дорогу
Странный путник в туманной ночи.

Станет слышно, как соки бурлят
У деревьев под чёрной корою.
Я тебе свои тайны открою,
Ты опустишь растерянный взгляд.

Не зажгу ночника... У свечи
Фитилёк отгорит понемногу.
Будем думать, что сыщет дорогу
Странный путник в туманной ночи.

Будут звёзды крениться в окне
И касаньем — тревожиться руки...
Я тебе расскажу о разлуке,
Ты о встрече поведаешь мне.

Что поделать?.. Кричи — не кричи,
Столько лет мы шагаем не в ногу,
Столько лет всё не сыщем дорогу,
Всё блуждаем в туманной ночи...

* * *

Один среди вселенской воли,
Не зная, прав я иль не прав,
Я всё стоял в холодном поле
И плакал времени в рукав.

Скорбел, что так оно промчало,
Что юность — где она, лови...
И что-то вещее звучало
В моей измученной крови.

И это тихое звучанье
Соединяло в миг сквозной
И быль, и небыль, и роптанье,
И тьму за жёлтой пеленой.

Так и стоял под звёздной крышей,
Один среди забытых трав,
Не замечая и не слыша,
Как время плакало в рукав.

* * *

Темнеет к полудню... Какой там ещё звездопад...
Всё в рытвинах небо, а в нём — будто бездна клокочет.
Себя вопрошаешь... С собой говоришь невпопад...
И кто-то под окнами воеет, ревет и хохочет.

По стылой Отчизне давно уж гуляет сквозняк,
И люди лихие гуляют давно по Отчизне.
Емелину печь на кирпичики Ванька-дурак
По пьянке разнёс... И сегодня рыдает на тризне.

И хочется в детство. Туда, где горланит петух,
Где тополь дарит тебе жёлто-багряные длани,
Где чей-то фонарик в ночи помигал и потух...
И хочется к маме... Как, Господи, хочется к маме!

Чтоб молвила мама: «Вновь встретились наши пути.
Ты нынче не весел... Не думай о всяческой дряни.
Всё видит Всевышний!.. Чуток посидишь — и иди,
Но съешь на дорожку вот этот горяченький драник...»

Пойду... И, услышав, как сосны скрипят на ветру,
Как ломится сиверко в окна, сгибаемая раструбы,
Я прежде, чем с хрипом средь бешеной вьюги умру,
Страну поцелую в давно посиневшие губы.

* * *

Не закрыта калитка...
И мох на осклизлых поленьях.
На пустом огороде
разросся сухой бересклет...
Всё тревожит строка,
Что «есть женщины в русских селеньях»...
Но пустуют селенья,
и женщин в них, в общем-то, нет.

У столетней старухи
Белёдые, редкие брови,
И бесцветный платочек
опущен до самых бровей.

Но осталось навек,
Что «коня на скаку остановит...»
Две-три клячи понурых...
А где ж вы видали коней?..

Поржавели поля,
Сколь у Бога дождя ни просили.
Даже птенчику птица,
и та не прикажет: «Лети!..»
И горячим июлем
Всё избы горят по России,
Ибо некому стало
в горящую избу войти...

* * *

О, Родина, ты мой нательный крест,
Мой крест сосновый в горькую годину.
И первая любовь... И блавест...
И поздний взлёт... И ранние седины...

О, как же ты мучительно-добра
К тем, для кого ты — главное на свете:
Здесь дыбы, пытки, плети, топора
Достойны только любящие дети.

А кто тебя насилдовал и жёг,
Те значатся в названьях улиц наших,
Как будто нет Руси, а есть чертог,
Где вместо «русский» — лающее «рашен».

Как будто бы из всех родимых мест
Родимый дух ушёл в слепые дали.
Как будто бы с груди нательный крест
Лихие люди в бешенстве сорвали...

ХОЛОП

— За что сечёте?.. Смилуйтесь... Ну, барин...
Не поджигал я дом... Не поджигал...
Прапрадед мой прапрадеду подарен
Господскому... Я смалу это знал...

Не бейте... Ой!.. Пойдите... Пощадите...
Да чтобы я... Господское... Свят, свят...
За что?.. Ой... Ой... Невинного вините...
Господь свидетель... Ой... Не виноват...

Спасибо, барин... Сжалился... Холопом
Я был... Я есть... Я твой холоп навек.
Позвольте в ножки... Едете?.. Европам
Привет от хлопа, божий человек...

Уехал, сволочь... Скатертью дорога –
Поехал к бабе, а приедет в рай...
Ужо робяты встретят возле лога...
Не смилуются... Васька, поджигай!..

* * *

Стою один... Небесный свод
В свою небесную державу
И дух измученный зовёт,
И мыслей чёрную отраву.

Как одиноки вечера,
Когда за сумрачной звездой
Приходит нудная пора
Такой же нудною порою!

А ты всё силишься понять –
Зачем сквозь ветреные дали
Вдруг возвращается опять
Немая музыка печали?

Зачем у чёрного окна,
В полузаброшенной усадьбе,
Застыла женщина одна
И что-то силится сказать мне?..

О нет, мы с нею не близки,
И память сохранит едва ли
Те очи, полные тоски,
Те взгляды, полные печали...

* * *

Всё тот же дом... Всё те же стены...
Всё тот же серый потолок.
Всё тот же коврик неизменный
Лениво стелется у ног.

Всё так же нервы раздражает
За стенкой непонятный гул.
Всё та же женщина чужая
Халатик сбросила на стул...

Чуть потянулась телом млечным,
Рывком задёрнула окно...
Как всё неискренно... Как вечно...
Как глупо... Низменно... Смешно...

* * *

Всё вроде так... Но что-то отлетело,
Покрылось непрозрачной пеленой.
Душой к душе важней, чем телом к телу,
Хоть телом к телу – проще, чем душой...

Мерцает свет... Под зыбкое мерцанье
Неясный гул рождается опять.
И два дыханья слить в одно дыханье
Так просто, что не можется дышать.

И что твой вздох в мельканье скоротечном,
Где полночь только тем и хороша,
Что нету никого в просторе млечном –
Лишь звёзды, Бог да мёртвая душа.

* * *

Ничего не стряслось... И случиться не может.
Просто лёгкий озноб и «мурашки» по коже,

Просто утром нечаянно блюдце разбилось,
Но всё это пустяк... Ничего не случилось.

Просто шелест шагов почему-то тревожит...
Ничего не стряслось... И случиться не может...

Просто я всё молчу при нечаянной встрече,
Да пальто холодит одинокие плечи.

И кольцо обручальное в щель закатилось,
И не жалко... А так – ничего не случилось...

* * *

Не со щитом, так хоть на щит...
Средь росной рани
О чём там иволга кричит
На поле брани?

Неужто вовсе ни о чём,
Как на погосте?
Где тот, что шёл сюда с мечом?
Истлели кости.

Хоть сечь опять сменяет сечь,
Но с нами Боже!
Где тот, что только точит меч?
Истлеет тоже.

А следом – новая напасть,
Жить не успеешь...
Вон тот родился, чтоб напасть –
Расти... Истлеешь...

Опять идут за ратью рать,
Гремя в тумане.
И нету времени вспахать
То поле брани.

Не всякий павший – знаменит...
У раздорожья
О чем там иволга кричит?
Так птичка ж божья...

* * *

Оступившись на собственной тени,
Тихо вскрикну... И вновь оступлюсь.
И целую Отчизну в колени,
И обидеть при этом боюсь.

Встану... Искрами цвета металла
Смачно брызнет роса из-под ног.
Где Отчизна меня целовала,
Там на теле то шрам, то ожог.

Не стону, не гляжу с укоризной,
Ничего не прошу, наконец.
Столько раз поцелован Отчизной,
Что всё тело – огромный рубец.

Знаю, бьют и не блудного сына –
Не виновен, а это вина.
Но Отчизна ни в чём не повинна
Потому, что Отчизна она.

* * *

Век Золотой... Как мне милы:
Лорнет незрячий,
Интрижки, влюбчивость, балы...
Там Пушкин плачет.

Пирушка... Вещие слова
 Ночного спора.
 Там Баратынский – голова,
 А, может, Бора...

Японская... В шинелях – зал.
 Всё о высоком.
 То век Серебряный настал –
 С Мариной, с Блоком.

Там свет, хоть страшно бытиё –
 Террор отныне.
 Грядёт «Возмездие»* за всё,
 «Anno Domini»**...

Там блеск изысканнейших строк,
 Свет истин нервный...
 Но век двадцатый перетёк
 В век двадцать первый.

Вновь – всё иное, мир иной,
 Не те основы.
 Век не Серебряный, другой –
 Цинкогробовый.

Но под берёзкой, средь тревог,
 Забыв про пушки,
 В слезах пацан... Как поздний Блок...
 Как ранний Пушкин...

* * *

Я опять, как всегда, побоялся обидеть природу,
 И костёр затушил, и залил полуночный огонь.
 И своё уронил отражение в звёздную воду,
 И к воде потянулся, ладонь окуная в ладонь.

Золотая вода мне высокое что-то шептала,
 И согласно кивали шептанию в такт камыши.
 Был бескраен простор... Но и этого было мне мало,
 И душой становились умолкшие струны души.

Думал, поздно гадать, разве вычислишь – чёт или нечёт,
 Если жизнь – не ромашка, где просто сорвать лепесток...
 Но за дальней сосной то ли кочет стонал, то ли кречет...
 И рыдал ручеёк... И никак нарыдаться не мог.

* «Возмездие» – поэма А. Блока

** «Anno Domini» – сборник А. Ахматовой

А куда это всё? А куда вы? В какие Стожары?
Что бывает звучнее, чем тихо кружащийся лист?
Что бывает печальней, чем лебедь, лишившийся пары,
И беззвучней гармонии, коль в небо ушёл гармонист?

Чуть светало уже... И воды со звездой отведав,
Я ладонь осторожно извлёк из небесной руки.
Стало больше вопросов... И не было вовсе ответов...
Сухо щёлкал валежник, как будто взводились курки...

* * *

Всех и прикрас, что схватишь оком...
Перекрывая ширью ширь,
Яснее в поле одиноком
Печаль... Предательство... Псалтирь...

Тревожа и мешаясь в мысли,
Напившись полночи сполна,
Над белым пологом нависли
Простор... Пространство... Пелена...

А ты бредёшь... И машет следом
Сосна, что встретил на пути.
И наст глубок... И путь неведом.
И, в общем, некуда идти.

И только защищают звуки
Неясной музыки во мгле
От смертной лжи, от смертной муки,
От смертной жизни на земле.

И в миг, когда они прервутся,
От поднебесности устав,—
Успеть на оклик оглянуться,
Свой хриплый голос не узнав...

* * *

Прогорклое небо под серым осенним дождём,
И сколько ни мучись, напрасны все эти уроки.
Не надобно спешки... Мы просто тебя подождём,
Как я поджидаю вот эти неспешные строки.

Закрываются ворота... Другой бы сказал ворота...
Забывшая форточка будто бы бьётся в падучей.
Не то настроенье... И морось ночная — не та,
И ты себя больше напраслиной этой не мучай.

Нам завтра по чёрной, по мокрой дороге идти,
 Нам слушать и слушать, как чавкает эта дорога.
 Дороги сойдутся... Расходятся наши пути.
 Вина не осталось... И хлеба осталось не много.

Наохлится ворон... В ночи загудят провода.
 Захлопнется дверца. По-зимнему скрипнет телега.
 И складочки лягут вокруг почерневшего рта,
 Стемнеет в душе, ожидающей белого снега.

Случайный прохожий осклабится: «Волчая сыть...»
 И спрячет под лацканы в матовых трещинках руки.
 И странно, и пусто... Но надобно, надобно жить,
 Хоть небо прогоркло, и в сердце – ни боли, ни муки...

У РУССКОГО ПРЕДЕЛА



У меня в руках небольшая книга стихов «Свет вечерний» поэта Анатолия Аврутина из Минска. Давно слежу за творчеством этого одного из наиболее одарённых современных поэтов на так называемом постсоветском пространстве. Помню, когда впервые прочитал его стихотворение «Грушевка», меня охватило невольное волнение – так по-новому, так безыскусно и точно о послевоенной женской судьбе ещё мало кто написал. У грубой дощатой колонки «стирали на Грушевке бабы, подолы чуток подоткнув», они «смывали с одежды войну», стирали «обноски ребячьи да мелкое что-то своё». Вот она картинка послевоенного разбитого войной города, вот они – наши сильные, работающие, бедные бабёнки, оставшиеся без мужей, молодые солдатки-вдовы, которые «дружно глазами тоскуя, глядели сквозь влажную даль на ту, что рубаху мужскую в тугую крутила спираль». И вся картина. Но сколько жизненного пространства в этих коротких строчках, сколько болевой судьбы целого поколения! Такое мог увидеть незашоренными глазами только тот, кто стоял рядом, кто всё это пережил, перечувствовал, перестрадал любящим сердцем – только настоящий поэт.

Поразило меня и другое стихотворение – «В тридцать лет». Приведу его целиком.

*Да было ли?
 Стекло звенело тонко,
 Я слушал, очарован и влюблён,
 Как ты шептала:
 «Не хочу ребёнка...
 Ведь хоть немного, нас разделит он».*

*Мне тридцать лет.
Морщины огрубели.
Курю... Не спится.
Полуночный час.
Кудрявый мальчик
плачет в колыбели
и только он соединяет нас.*

Как предельно точно, лаконично уместились в эти две строфы и счастье человеческое, и жизненная безысходность, когда любовь уже на грани, когда только совесть напоминает о чём-то более высоком, когда не спится потому, что душа страдает от рухнувшей близости двоих, страдает потому, что это её «мальчик плачет»...

Настоящие стихи невозможно пересказать своими словами, потому что есть в них некая тайна, о которой и сам-то поэт еле догадывается, ибо сам бьётся над мыслью: «тьма ли родится из света, свет ли родится из тьмы».

Да, только истинный поэт может увидеть в вечернем небе мерцающий «звёздный пруд, как золото на черни». Этот тихий свет вечерний напоминает ему, как «мало было звёзд и много терний» в жизни, которая тоже склонилась к вечеру. И когда в «хрустальном пёрышке кончилось слово», поэт понимает, что ничего нет ближе родной «покосившейся крыши», выше которой «лишь звёздная нить... Звёздная нить. И нельзя уже выше». Разумеется, слово не кончилось и не кончится, но бывает такое состояние души, когда тебе кажется, что всё, всё ушло, умчалось, улетучилось, что ничего больше не напишешь лучше того, что уже написал. Но это опять лишь повод для написания блестящего стихотворения. «Уже понимаю, что годы виною тому, что душа будто стала иною».

Да ведь иначе-то и не бывает!

Поэт Анатолий Аврутин, воспитанный с детства на русской классической литературе, с болью воспринимает то роковое размежевание, которое ныне обрекает ещё недавно единый народ снова на мучительный и необъяснимый поиск себя в этой пылающей враждой цивилизации. Больше всего он боится услышать, что не Ярославна и не Пересвет откликаются ему из глубины веков.

*Этим живу и страдаю,
И вдруг услышать боюсь,
Что моя хата – с краю,
Что мне Отчизна – не Русь.*

Поэт знает, о чём пишет. И знает, чего боится. Да как же иначе, если душа его объёмлет тот мир, который не любить невозможно, в котором он растворялся в детстве, погружался в небесные бездны вдохновенного пушкинского стиха. Русского стиха!

*Хочу в Лицей, где бродят Музы,
Где Пушкин плачет за стеной...*

Да, в Лицей, в Лицей, где дух великой Державы маячит, где дружба, честь, любовь, где все мы один многонациональный народ, где гордость за своё Отечество. Поэт зорко всматривается в окружающее и пока не видит выхода из того тупика, в котором заплуталась настоящая действительность. Чувство бесприютства – вот что приобрели мы за годы распада.

*Стылый сумрак. Родина у дома
Бесприютно спит на сквозняке.
Мир изломан... Линия излома
Бьётся синей жилкой на виске.*

И читая Аврутина, живущего в Белоруссии, я, живущий в России, понимаю его боль, ибо сам страдаю от того, что произошло и происходит. Распад страны повлёк за собой распад души. А это страшнее. На кого надеяться?

*Только совесть к истине воздета,
Да порою чудится – вдали
Чей-то голос кличет Пересвета,
А в ответ: «Все наши полегли...»*

Увы, но приходится согласиться с этой горькой истиной. Потому что вот так же «стоишь среди пустынного поля и гадаешь – а где же страна?» Вот она, непреходящая боль, когда в своей Отчизне «болезненно любя, быть нелюбимым» – это ли не то, к чему мы пришли, от чего можно прийти в отчаянье, когда одно только и остаётся:

*Почти не жить... Болезненно любя,
Шепча: «Всевышний недругам отплатит...»
Когда Отчизне смертников не хватит,
Тогда Отчизна хватится тебя.*

Грозное, пророческое предупреждение.

Но поэт не был бы поэтом, если бы сам не был частицей этого народа, который в истории вроде бы уже и погибал не раз, но потом вновь воскресал из пепла, как птица Феникс, воскресал в ещё более великой славе, могуществе и красоте. И не случайно появляются у него строки о роженице, крик которой пронзает осеннюю стынь и небесный простор, в котором «ослушники тайно прощают Иуду, послушники внемлют, что скажет Иов». Вперекор всему рождается новое дитя, рождается в муках, а значит нарождается новая жизнь.

*И вечность не чудится золотолицей,
И кровь вместо пота сочится из пор.
И только за стенкой кричит роженица –
Умолкнет она, и умолкнет простор...*

Как ясно и вместе с тем многозначительно сказано. Поэт всё равно верит, что этот простор не умолкнет, потому что это не просто простор, это цивилизация духа. Анатолий Аврутин не только просто лирик, его лирика полна философского осмысления действительности этого мира, всей жизни, которую он переплавил страдающим, любящим сердцем в стихи. «Всю жизнь выходит на Отчизну оконце узкое моё» – это не только метафора, это правда, с которой поэт не расстанется. И пусть «в ночной тиши Иуда целует Родину в уста», пусть, а вот он-то её не предаст, потому что святое не продаётся.

*Россия... Родина... Рябина...
Распяты... Реченька... Роса...*

Вот где и строка, и судьба, и спасенье поэта. Родина – это не только малый уголок, где ты родился, где ты живёшь, Родина – это всё то великое, духовное, святое, что вошло в кровь с детства вместе с русским словом, это история, это народ одной судьбы, одной муки, одной радости.

Я мало сказал о проникновенной лирике Аврутина, о его умении изобразить в нескольких словах, строчках целую эпоху отшумевшей, но такой родной, незабываемой жизни. Вот как он изображает переулочек, где стоял родительский дом, где «о своём глаголет мостовая на древнебулыжном языке», вот место, где «сушилась папина рубаша и моя пелёночная бязь». Удивительно это: «на древнебулыжном языке». Где вы ещё встречали такое яркое определение? А как он трепетно пишет о матери! Всего-то три строфы, но в них сказано самое главное. В детстве: «Быстро завтракать, Толик, – слышал я по утрам». Когда вырос, когда «сам себе фон-барон», неременное материнское беспокойство: «Что ты завтракал, Толик? – вопрошал телефон». И наконец:

*Мама... Что-то нахлынет –
И ни встать, ни присесть.
Завтрак поданный стынет,
Но не хочется есть.*

И ничего не надо объяснять. В этом стихотворении ни одного слова о любви к матери, но всё стихотворение и есть любовь.

И вот, на мой взгляд, ещё одно из лучших стихотворений поэта «Завершив конечный путь земной», одно из самых проникновенных, самых задушевных, в котором он представляет, как «растворившись в мироздании», встретится вновь с любимой, у которой

*Вновь звезда вспыхнет в волосах
Под свеченье яблоневого пыли.*

Только там, по другую сторону дыхания, только там он осознает, прав был или не прав в своих поступках и словах, только там, наверное, многое поймёт в этой жизни, где «всю земную благодать Дьяволу отдали на заклянье...»

*Но дышать, как хочется дышать
По другую сторону дыхания...*

Жажда жизни и любви переполняет сердце поэта, несмотря на все потери и невзгоды.

Аврutiна можно цитировать и цитировать, в его стихах нет пустословия, нет ничего лишнего, он как истинный мастер умеет отграничить, отшлифовать каждую строчку, каждое слово у него на своём месте, оно звучит, оно цветёт, оно даёт возможность увидеть и почувствовать гораздо больше, чем сказано. Вообще, поэт часто не договаривает, он оставляет домысливать и дочувствовать нам самим. Это особый дар, это тайна таланта, которая не каждому даётся.

*Стою у русского предела,
Где Бог не терпит суеты...*

Вы чувствуете, как это близко к Тютчеву, к Юрию Кузнецову, и всё-таки это Аврутин, который так же, как они, пытается нам доказать:

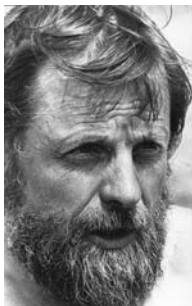
*Зачем нам смутные терзания,
Когда мы – бездна и земля?*

Но не потому ли Бог и посылает нам в душе столько терзаний, что мы – «бездна и земля». Вдумаемся в это. Мы просто не можем быть другими, потому что такими созданы. Каждое стихотворение Аврутина пронизывает нерв времени, ощущение себя сегодня и вчера, здесь и во всём. Такая поэзия обогащает душу читателя, настраивает его на более глубокую сопричастность к миру, к жизни. Его стихи достоверны и исповедальны.

Читайте поэта Анатолия Аврутина.

Николай РАЧКОВ





«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»

«Два капитана» В. Каверина — продолжение следует...

У книг, как и у людей, своя судьба. Сейчас я не буду говорить о великой русской литературе XIX века, о её влиянии на человеческие судьбы. У большинства же книг короткий век, некоторые служат человечеству в лучшем случае в качестве макулатуры, из которой произведут много полезных в быту вещей, начиная с туалетной бумаги. Есть книги, которые ни по каким параметрам в разряд великих вроде бы не вписываются, но которые имели и, может, ныне имеют влияние на судьбы людей, на судьбы целых поколений, огромное влияние — решусь кощунственно сравнить, — может, не менее, чем Евангелие, хотя никакого кощунства и даже преувеличения здесь нет, потому что почти целый век российский народ был отлучён от Евангелия, а душа, особенно юная, искала духовной опоры, и порой находила её не в тех книгах, которые называла великими и навязывала официальная идеология.

Без преувеличения, несколько поколений советского народа (а такой народ существовал и реликтивно ещё существует, и это далеко не худшая часть человечества!) воспитывалось на «Двух капитанах» Вениамина Каверина. Были книги, и не самые плохие, на которых предписывалось воспитывать подрастающее поколение, например, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского, но, может, потому, что они были слишком идеологизированы и насаждались силой, а эту никто силой читать не заставлял, потому как роль партии в поступках Саши Григорьева не прослеживалась, её читали, передавая из рук в руки, и что-то трепетное и святое поднималось в подростковой душе. Есть тут какая-то загадка. Да, можно сказать, книга была написана и издана в нужное время: смутные и тревожные тридцатые годы, пионерская и комсомольская искусственная идеологическая жвачка и, как продых, романтика освоения Арктики. Но летели десятилетия, Арктика становилась обыденностью (со временем Россия вообще ушла из Арктики), а интерес к книге не утихал, передаваясь новым поколениям. Загадка ещё и в том, что сам автор серьёзного значения «Двум капитанам» не придавал, считая книгу чуть ли не случайной в своём творчестве. Другие, согласно партийному заказу, писали о рабочем классе, о трудовом крестьянстве, некоторые, насколько это было возможно, честно. Большая группа литераторов во главе с «великим пролетарским писателем» М. Горьким ехала в Соловецкий лагерь особого назначения и воспевала палачей ЧК, каторжным трудом и расстрелами перевоспитывавших российскую интеллигенцию,

крестьян и священников в люмпен-пролетариев. В. Каверин, не имея права отказаться от партийного заказа, не погрешил совестью, нашёл для себя своеобразную лазейку, честную нишу. Когда незадолго до его смерти я навесил Вениамина Александровича в подмосковном Переделкине, он чуть ли не с раздражением мне говорил: «Ну, что вы всё с этими «Двумя капитанами», словно я ничего другого, более значительного, не написал». И я с удивлением обнаружил, что ни одной из более чем пятидесяти написанных им книг, кроме «Двух капитанов», не знаю. Он так и ушёл в мир иной с горьким сознанием, что остался писателем одной книги, хотя редкий писатель может похвалиться подобным счастьем. Знать, какую-то, не ведомую самому автору струну задел писатель, если его книга в воспитании целого ряда молодых поколений сыграла большую роль, чем пионерская и комсомольская организации вместе взятые, а может, даже и вопреки им. Я долго ломал над этим голову и пришёл к такому выводу. В эпоху абсолютного равнодушия к отдельной человеческой личности, когда десятки тысяч людей томились и погибали в лагерях, позже, когда миллионы погибли в Великой Отечественной войне и, что ещё страшнее, пропали без вести, были приравнены к предателям, и о них даже нельзя было заикнуться, вдруг появилась книга, в которой ищут пропавшего без вести отдельного конкретного человека, пусть погибшего не в лагере, не в бою, пусть в другой эпохе. Подтверждение этой мысли я найду в мутное «перестроечное» время, когда с единомышленниками по просьбе одного из легендарных папанинцев академика Е. Фёдорова органирую экспедицию по поискам пропавшего в августе 1937 года при перелёте через Северный полюс из СССР в США С. А. Леваневского. Рушилась страна, и до того ли, вроде: искать человека, потерявшегося в Арктике почти сорок лет назад?! И вдруг — огромный интерес к поиску, словно боль по сотням тысяч без вести пропавших, миллионам погибших сконцентрировалась на одном без вести пропавшем человеке. На нас обрушился шквал писем, в том числе с предложением помощи. Мальчик Коля из Владивостока прислал 6 рублей, которые копил на велосипед, старый полярный радист из Жмеринки прислал шмат сала: «Ничего другого у меня нет». Словно всем потерявшим родных и близких будет легче, если его найдут. Значит, что-то изменилось во власти, если кого-то, пусть всего одного, ищут — и она этому не мешает. Это потом, через десятилетия, появится телевизионная передача «Жди меня», и отряды юных поисковиков будут искать на полях бывших сражений своих и чужих, которые стали для них своими, дедов и прадедов и по-человечески хоронить.

К счастью, В. Каверина не заставили, как А. Фадеева «Молодую гвардию», переписывать «Двух капитанов», чтобы показать руководящую роль партии в поступках Саши Григорьева, может, не придав этому образу большого значения, может, в какой-то степени даже опасно: вдруг все бросятся искать своих без вести пропавших, мало ли до чего докопаются! Но вот какая штука: за художественными образами пропавших в «Двух капитанах» стояли реальные люди, только за образом главного героя, Саши Григорьева, реально никто не стоял: на этом образе воспитывались целые поколения советской молодёжи, но никто никогда не искал реальную, пропавшую без вести экспедицию.

А было так: случайно или не случайно, но почему-то именно летом 1912 года сразу три русские экспедиции: Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова отправились в Арктику, полные самых амбициозных планов, не подозревая, что это будет самый тяжёлый в ледовом отношении год за весь XX век. Да что говорить о том времени — даже сейчас, в XXI веке, наука об Арктике и Антарктике пребывает на уровне шарлатанства: три дня подряд жара — начинают пугать всемирным потеплением и грозящими вследствие этого катастрофами, три дня холодно — начинают вопить о новом ледниковом периоде.

Все три экспедиции изначально были обречены. Г. Седов погиб при подходе к Северному полюсу. Экспедиция В. Русанова бесследно исчезла во льдах. Шхуна «Св. Анна» Г. Брусилова, намеревавшегося Северным морским путём пройти во Владивосток, уже в октябре зажатая тяжёлыми льдами, стала дрейфовать на север и на следующий год оказалась в широтах, близких к Северному полюсу. Летом 1914 года часть экипажа отправилась в беспрецедентный переход по дрейфующим льдам к ближайшей земле — архипелагу Земля Франца-Иосифа. Из 13 человек до мыса Флора, где их по счастливой случайности подобрал возвращающийся после гибели Георгия Седова парусник «Св. вмч. Фока», дошли только двое: штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Незапланированный дрейф «Св. Анны» и ледовый поход Альбанова позволили сделать несколько важных географических открытий и «закрытий», в частности, они закрыли существование мифических Земель Петермана, Оскара и Гилиса. По сей день оставалась в полной неизвестности судьба оставшихся на судне членов экипажа, как и судьба членов группы Альбанова, с которыми он вынужденно расстался на одном из островов Земли Франца-Иосифа, как и судьба самого Альбанова, который принёс на тёплую землю журнал с научными результатами экспедиции и через какое-то время опубликовал в приложении к «Запискам по гидрографии» свой дневник-отчёт об этом беспрецедентном ледовом переходе.

К тому времени уже вовсю шла Первая мировая война, кем-то хитро переведённая в Гражданскую, и стало не до поиска пропавших полярных экспедиций. Существует предположение, что якобы Альбанов пытался попасть на приём к А.В. Колчаку, выдающемуся полярному исследователю, вынужденному стать военным правителем России, с предложением организовать спасательную экспедицию, но Колчака в то время уже самого нужно было спасать. И тот, и другой в скором времени сгорели в горниле страшной братоубийственной войны, и одной из причин, что Альбанова на долгое время «забыли», как «забыли» тот факт, что он погиб или умер, будучи моряком колчаковской гидрографической службы.

Его же «Записки по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана летом 1914 года» известны были больше специалистам. За рубежом же, в отличие от СССР, они издавались не раз, с каждым десятилетием всё чаще, и уже в XXI веке переизданы во Франции, Англии, США, где названы «забытым шедевром русской литературы, забытым везде, в том числе и в России».

Да, время от времени о пропавшей экспедиции писали, преимущественно сенсационно-популярные статьи перед очередной подписной компанией, в которых порой выдвигались фантастически версии гибели экспедиции, да, и я написал книгу «Загадка штурмана Альбанова», и хотя книжный герой Саша Григорьев стал примером для тысяч молодых людей, но реального «Саша Григорьева» так и не нашлось. Мало того, казалось, что с развалом Советского Союза время таких героев безвозвратно ушло в прошлое. Ушло время романтики, над чувством патриотизма откровенно издевались. Совесть законодательно заменили гнусным постулатом: «Что не запрещено, то разрешено». Единственным мерилom человеческих ценностей стал даже не рубль, а доллар, ничем не подкреплённая бумажка с масонской символикой, а идеалом женской нравственности стала Ксения Собчак. Любовь заменили сексом, по крайней мере, если верить отечественному телевидению, которое не смущает ни президента, ни премьер-министра — они, словно не замечаая оскорбляющего человеческого достоинство телевизионного паскудства, с этого же телеэкрана толкуют о нравственности, высоких идеалах, осеняют себя крестом...

И вдруг меня находят люди, которые в свой единственный в году отпуск собираются искать пропавшую сто лет назад экспедицию. Даже меня, почти 30 лет со-

биравшего по крохам материалы об этой экспедиции, немало удивил этот факт! Может, ещё больше удивило, что это были не юные романтики, а люди вполне зрелые, в большинстве у которых за плечами в том числе война или спасательные операции по всему миру, а то и первое, и второе. И когда Русское Географическое Общество отказывает им в мизерном гранте, они собирают деньги вскладчину, да ещё врач экспедиции Роман Буйнов, которому в своё время в заброшенном сарае попала моя книга об Альбанове, ходит с ней по разным денежным конторам и просит её прочитать, чтобы потом человек решал, давать или не давать деньги на экспедицию. Эти люди поразили меня своей душевной чистотой, открытостью и незащищённостью, всеми теми свойствами души, которые ныне в грош не ставятся, мало того, над которыми откровенно смеются.

Что их позвало в Арктику?

— Поиск правильной жизни, когда всё понятно: кто с тобой и с кем ты, — ответил на мой вопрос Роман Буйнов, отец пятерых детей, бросивший врачебную практику из-за невозможности на зарплату врача прокормить семью. — А практически позвал Лёня Радун, мы познакомились в 1995 году во фронтовом Грозном — он был спасателем, а я — врачом. Повидали много (у Лёни, кстати, есть правительственные награды, в том числе, и орден Мужества за Чечню). Так вот, спустя 10 лет он пригласил меня в Арктику. Просто как человека, в котором уверен.

— Когда я служил в ВДВ, у нас был закон — своих не бросать. Сколько человек ушло на задание — столько же должно вернуться, и не важно, мёртвые или живые. Были случаи, что при эвакуации одного погибшего гибли другие, но никто никогда не ставил под сомнение непреложность закона братства и чести. Люди, которых мы сейчас ищем, — в своём роде тоже солдаты. У них был свой фронт, но пали они за то же, за что погибли их потомки на различных полях брани, — за укрепление мощи и славы России, за Великий Северный морской путь, который оказался таким незаменимым во время Великой Отечественной войны. Найти их для нас — дело чести, пусть страна сейчас и живёт другими ценностями, — так, не боясь показаться красиво сентиментальным, ответил на этот вопрос другой участник экспедиции — спасатель аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС Александр Унтила, в 30 лет майор, заместитель командира легендарного 218-го батальона спецназа ВДВ, спасшего Грозный в январе 1995-го, а Российскую армию от позора, за 2 года и 8 месяцев не потерявший в Чечне ни одного солдата, но два года назад выброшенный из армии по причине её так называемого реформирования. Профессиональным спасателем стал выпускник МГИМО Владимир Мельник, потому как ныне дипломатам приходится прогибаться не только перед своими вождями, но и перед чужими, как в случае с Ливией, когда российскому МИДу, словно лакею, поручили уговорить Каддафи сдать на милость Америке. Неординарные биографии и у других участников экспедиции.

По всем правилам экспедиция должна была называться «По следам экспедиции Брусилова» или «По следам Валериана Альбанова», но они принципиально назвали её по В. Каверину: «По следам «Двух капитанов». Во-первых, потому, что мало кто ныне знает о Брусилове и Альбанове, а во-вторых, подавали сигнал другим, также воспитанным на этой книге: присоединяйтесь! И девизом экспедиции эти, в большинстве своём уже с сединами, люди выбрали девиз Саши Григорьева из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

На их призыв откликнулись два «капитана» нашего времени, для которых этот девиз прозвучал, словно сигнал трубы, они не просто присоединились, а возглавили экспедицию: бывший офицер-десантник, ген. директор ООО «Полярный мир»

(благодаря этой организации был прекращён варварский промысел бельков, новорождённых детёнышей тюленей), Олег Продан и — «Саша Григорьев» XXI века, заслуженный военный лётчик, военный лётчик 1 класса, лётчик-снайпер, за плечами которого 8 лет Афганистана, а потом Чечня, Герой России, командующий авиацией ФСБ, генерал-лейтенант Николай Федорович Гаврилов.

Зная, что я даже не решусь попроситься в экспедицию, в том числе и потому, что всего год назад хирурги-кардиологи буквально вытащили меня с того света, они позвонят мне с собой. В полной мере оценив их доброту, я отвечаю: «Безмерно вам благодарен, но на вашем месте я не стал бы меня приглашать, я могу стать не просто обузой, а сорвать экспедицию, которую вы столько лет готовили».

За Олега Продана мне ответил Александр Унтила: «Мы знаем, что это Ваша давнишняя мечта — пройти путём Альбанова. Обузой не будете. Нам нужен надёжный тыл — человек, который будет преимущественно находиться в базовом лагере, обеспечивать бесперебойную связь и координацию поисковых групп, связь с погранзаставой и вертолётами ФСБ на случай ЧС (тьфу-тьфу!), ну и разные мелочи: медведя отогнать при необходимости...»

Я благодарен не очень-то благосклонной ко мне судьбе, что подарила встречу с этими людьми. Они заставили меня укрепиться в вере, что есть ещё, пусть оскорблённая и униженная, но истинная Россия, а не ООО или ЗАО «Российская Федерация» Абрамовичей и Чубайсов, для которых жизненное кредо: кто может, обогащаться — не упорным трудом и талантом, а обворовывая слабых и честных. Они заставили меня укрепиться в вере, что есть ещё Россия искренне любящих её и преданных ей сынов, часто не очень русских по крови, которые по-прежнему живут по принципу: сначала думай о Родине, а уж только потом о себе, по принципу, определённом начальником экспедиции Олегом Проданом, бывшим офицером-десантником: «Сделать для Родины то, что другие до тебя не смогли».

Экспедиция, путеводителем в которой были «Записки...» Альбанова — через 96 лет после арктической трагедии! — сделала на Земле Франца-Иосифа сенсационные находки: останки одного из членов группы Альбанова, фрагменты дневника, общие экспедиционные вещи, неоднократно упоминаемые Альбановым в «Записках...», что ещё раз подтвердило их достоверность, хотя участники экспедиции в этом не сомневались. Но ведь есть же «исследователи» арктических трагедий, которые, сообразуясь со своей гнилой сутью, упорно навязывали мысль, что не иначе как на «Св. Анне» произошла кровавая драма из-за единственной на борту женщины, что Альбанов, заметая следы, перестрелял команду, затем сжёг судно, а «Записки...» придумал. Точно так же: раз спутники Седова после его смерти вернулись «достаточно упитанными» и не найдена его могила, не иначе, как они его съели...

Да, экспедиция сделала сенсационные находки, но, по-моему, главная её заслуга не в этом, а в том, что она вообще состоялась! Что нашлись люди, которые не могли спастись спокойно при мысли, что где-то лежат не преданными земле их соотечественники. При мысли, что жертвы экспедиций Седова, Русанова, Брусилова, других исследователей Арктики, труд тысяч рядовых полярников: зимовщиков, моряков, лётчиков оказались как бы напрасными. Леволиберальные политики, которых больше интересовали Канарские и Гавайские острова, где они, обворовав Россию, вили свои гнёзда, преступно увели Россию из Арктики, которому нам прозорливо завещал гениальный Ломоносов. По одной из гипотез на ставшем теперь подводным хребте Ломоносова, находилась, может быть, легендарная Земля Санникова. И поисковики на островах Земли Франца-Иосифа ставили знаки, что они принадлежат к особо охраняемым природным территориям России.

Есть признаки того, что Россия, переболев чужебесием, постепенно возвращается к истинным ценностям, одна из которых, в общем-то, древняя, изначальная, лишь повторённая В. Кавериным, как бы прочитанная им с небес в нужный для России момент: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Этот девиз, равный по своей простоте и чистоте мысли апостольским заповедям, озвученный, может быть, по наитию в смутное время, когда апостольские заповеди были осмеяны и даже запрещены, накануне Великой Отечественной войны стал, к удивлению самого В. Каверина, духовным компасом для сотен тысяч, а может, миллионов молодых людей, ищущих свой путь в жизни. Этот девиз, в так называемое «перестроечное» время втоптаный в грязь, снова был востребован на рубеже XX и XXI веков — он неожиданно соединил разорванные криминальной революцией поколения, когда часто отцы не понимают детей и наоборот, оказалось, что у них общие, несмотря на порой разные политические взгляды, духовные ценности. Он стал своеобразным компасом для значительной части нынешнего молодого поколения, встающего на ноги в эпоху звериного капитализма, поколения, мордуемого бесконечными отупляющими фурсенковскими школьными и вузовскими реформами. У нас замечательные президент и премьер-министр, которые, по законам самой совершенной в мире демократии, время от времени на своих постах меняют друг друга, но складывается впечатление, что министров им назначают совсем в другом государстве...

Сквозь полиэтиленовый шорох очередной, теперь уже «капсомольской», жвачки тысячи юных, услышав чистый от политики и лжи призыв: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», собираются в поисковые отряды, до недавнего времени вопреки власти, и ищут в лесах и болотах на месте бывших боев без вести пропавших дедов и прадедов, приближая истинное окончание Великой Отечественной войны, когда наконец будет достойно похоронен последний погибший за Родину, за други своя солдат.

Именно за такой молодёжью будущее России!





АЛЕКСАНДР УНТИЛА

ЗАПАХИ

Рассказ

Специальная сводная группа ФСБ подорвалась в районе моста через реку Басс. «Фэйсы» выехали ночью на адресное мероприятие в одно из сёл Введенского района. БТР, выделенный от третьего сводного отряда специального назначения, шёл головным, за ним — бронированный «УАЗик». Основная масса народа, во главе с командиром, облепила «броню». Операцию планировали провести быстро — информатор предоставил точный адрес, ставка была на эффект неожиданности. Хозяин одного из домов, по предоставленным данным, скрывал у себя подстреленного накануне боевика — необходимо было это дело проверить. Инженерную разведку решили не проводить — иначе какая уж тут внезапность...

Прокравшись вброд через обмелевшую речку параллельно мосту, БТР и УАЗ полезли вверх по грунтовке, ведущей в село. Тут уже по обочине двигаться возможности не было — заборы крайних домов вплотную прилегали к колее. Проволочную паутину, натянутую метрах в трёх над дорогой, естественно, никто не заметил.

Командир механизированной группы, капитан Панов, в чьём хозяйстве числились БТРы, давно снимал с машин штыревые антенны. Толку от бортовых радиостанций было мало, для связи экипажи (спасибо спонсорам) использовали более удобные и надёжные «Стандарты». Без антенн риск поймать растяжку «верхового» фугаса, которые вошли в моду в этом сезоне, существенно снижался. Бронетранспортёр к тому же был оснащён генератором помех — громоздким электронным устройством, «Гравицапой», как её обозвали разведчики. Хреновина эта глушила радиоволны в широком диапазоне и призвана была свести к минимуму опасность подрыва на радиоуправляемом взрывном устройстве. Аппаратура имела комплект своих — довольно длинных — антенн и кучу недостатков. Помимо сигналов, посланных со спутниковых телефонов, пейджеров и радиостанций затаившихся с видеокамерами по обочинам боевиков, она успешно глушила собственную связь разведчиков и, по непроверенным слухам, крайне отрицательно влияла на мужскую потенцию личного состава. К тому же бронетехника часто использовалась для «тихих» ночных операций — точечных зачисток, вывода и эвакуации разведгрупп, когда элемент скрытности являлся важнейшей составляющей успеха. Все пути-дороги так или иначе проходили вблизи населённых пунктов, и если крадущуюся в темноте на почти холостых оборотах машину, лишённую всех световых приборов, разглядеть было не так-то просто, то по сбившемуся сигналу спутниковых «тарелок», по испортившейся картинке в своих широкодиагональных плоских телевизорах несчастное и угнетённое чеченское население соображало, что на их улице гости. В двухэтажных халупах из итальянского

красного кирпича, «восстановленных» на деньги русских налогоплательщиков, начиналась деловая суета. Задёргивались занавески за тройными стеклопакетами, из укромных мест извлекались спутниковые телефоны. Днём во дворах начинали чадить сигнальные индейские костры. Система оповещения работала слаженно и чётко. При планировании таких операций командиру отряда приходилось из двух зол выбирать меньшее — либо скрытность и связь, либо радиозащита...

Чем зацепили ту проволочку — антенной «Гравицапы» или просто головой сидевшего на броне бойца, уже никогда не узнать, но фугас, начинённый болтами и гайками, сработал безупречно. Рвануло справа. Из девяти человек, расположившихся на броне, пятеро погибли сразу, остальных здорово посекло. Стальные элементы взрывного устройства прошивали бронезилеты и разгрузки, как пули газету. Командиру группы, сидевшему справа от механика-водителя в открытом люке, волной оторвало голову вместе со «Сферой», офицер мешком сполз в десант.

Так получилось, что своим телом командир прикрыл бойца, сидевшего за рулём. Рядовой Потапов вёл машину «по-походному», положив под задницу короб от КПВТ, голова торчала из люка. Солдат ослеп-оглох на пару минут, но остался цел. «УАЗик», двигавшийся за БТРом на удалении, не пострадал, если не считать срезанного зеркала заднего вида.

Капитан Панов на этот выезд не поехал. Обычно командир мехгруппы выезжал тогда, когда на задачу выделялось две и более единицы бронетехники. В его обязанности входило прикрывать тяжёлым вооружением, а при необходимости и бронированным телом машин основные силы колонны, корректировать огонь всех «коробочек». Если же выезжал один БТР, с этими обязанностями справлялись сами командиры разведгрупп.

Палыч возился в парке, перебирая с двумя бойцами «стуканувший» двигатель. Время близилось к полночи, пора было закругляться, но оставлять работу недоделанной не хотелось. В маленькой палатке, приспособленной под ремонтный бокс, тускло светила лампочка, трещал приёмник. Пахло тёплым отработанным маслом, кофе и жжёным сухим спиртом — на самодельном таганке коптилась железная кружка. Примчался посыльный по отряду, сунул под брезентовый полог голову в каске.

— Товарищ капитан... Два БТРа на выезд.

— Что случилось? — Палыч оторвался от работы, вытер лоб замасленным рукавом.

— Не знаю... Вроде с нашими что-то... кто на «адрес» уехал.

Бойцы насторожились, уставились на командира.

— Заводите «семнадцатый» и «двадцать первый», выгоняйте на исходную. Оставьте на холостых, пусть греются. Тут порядок наведёте — и в палатку.

Панов побежал в своё расположение, на ходу вытирая руки ветошью. Дал команду разбудить экипажи, оделся...

На месте подрыва были минут через сорок. Раненые держались из последних сил. Оставшиеся невредимыми четверо из «УАЗика», соблюдая светомаскировку, в крошечной тьме перевязывали товарищей, кололи промедол.

Палыч первым делом разыскал своих бойцов. Экипаж БТРа прикрывал. В башенный прицел в ночной деревне не многое разглядишь, поэтому солдаты укрылись в придорожной канаве, вооружившись пулемётом ФСБэшников. Деревня драла глотку хриплым пёсьим лаем, не светило ни одно окно.

Картина была привычная и страшная. Мёртвые уже лежали в десанте бесформенной грудой и сладко пахли свежим мясом. Раненые были сильно покровены, особенно пострадали неприкрытые бронезилетами руки-ноги. У одного из офицеров вырвана нижняя челюсть. Парни держались, старались не стонать. Их перенесли в «семнадцатый», и доктор с фельдшером пытались найти у ослабленных кровопотерей людей хоть какие-нибудь вены...

С рассветом пришли вертолёты, отряд от внутренних войск ушёл в село проводить широкомасштабную зачистку. Раненый с оторванной челюстью до эвакуации не дотянул, остальных дикими усилиями доктора удалось отправить живыми.

Палыч с доктором сидели в медпункте, пили чай. Использованные пакетики бросили в переполненное кровью и бинтами ведро. Разговор не клеился, настроение было хуже некуда. Доктор тяжело вздохнул, провёл пятернёй по стриженной макушке:

– Эх, хорошо духи поработали... Шесть по «двести».

– Да уж... — Палыч поморгал, потёр красные от недосыпания глаза. — Ты бы видел, что с БТРом, доктор. С правого борта всё навесное сорвало, триплекса вышибло... Потапова у меня контузило маленько... Посмотришь потом?

Доктор кивнул. Панов допил чай и поплёлся в парк. День был жаркий. Солдаты наводили порядок в машинах, заканчивали сборку двигателя. Подраненный БТР стоял чуть поодаль, с правого бока бронированная шкура была усеяна мелкими выщерблинами от стегнувших по ней гаек, от чего приземистая машина была немного похожа на леопарда. Три первых колеса с той же стороны пробиты. Больше всего досталось второму — крышка изодрана в клочья. При эвакуации Палыч с бойцами открутили его и закинули на броню. Освободившийся бортовой редуктор подтянули повыше, приспособив буксировочный трос, дырки в остальных колёсах позатыкали гильзами от 7,62 патронов, врубили на полную подкачку и доехали так. Теперь же все эти проблемы необходимо было устранять.

Рядом с машиной возвышалась куча промокшего тряпья. Из десанта вылез пулемётчик, сержант Назаров. Палыч вздрогнул. Назаров стоял в одних трусах и выглядел так, будто с него содрали кожу. Воин был весь от пяток до макушки перемазан красно-чёрным, в кисельных сгустках и слизистых разводах. В руках он держал пластмассовое ведёрко и совок, вырезанный из пустой пластиковой бутылки. Пулемётчик, шурясь, оглядел себя, перевёл на командира спокойный и чуть виноватый взгляд.

– Крови с «двухсотых» натекло, товарищ капитан... Все коврики, все сиденья промокли... Второе ведро выношу.

Назар был толковым контрактником. Экипаж этот был самый опытный, тянул вторую командировку. Палыч назначил сержанта своим нештатным заместителем и ни разу не пожалел об этом.

Капитан заглянул в заполненное на две трети ведро, зачем-то потрогал густую студенистую массу пальцем.

– Куда выносишь?

– Я там за складом ГСМ яму специальную выкопал, потом засыплю, чтоб мухи не налетели.

Палыч кивнул:

– Коврики сжечь надо будет. Отнесёшь на помойку, сольёшь литров десять соляры. С комбатом я вопрос решу.

– Так точно.

У Потапова оказалось-таки лёгкое сотрясение, ещё и осколок со спичечную головку в щеке. На скоротечном консилиуме с доктором решено было с ближайшей колонной центроподвоза отправить бойца в Ханкалинский госпиталь, чтобы зафиксировать ранение. Потап пытался было упираться, но Палыч многозначительно показал ему кулачище и строго наказал без справки не возвращаться. Сопровождающим Панов назначил Назарова — пусть заодно развеется, в магазин сходит... Отмытый БТР на время отсутствия экипажа закрыли и опечатали.

Назаров с Потаповым вернулись на четвёртый день. Механику с его сотрясением полагалось проваляться в госпитале намного дальше, но хитрый воин к предстоящему лечению тщательно подготовился. Прикинувшись дурачком, «забыл» на базе военный билет. Солдата всё-таки положили. Тогда он предусмотрительно спрятал форму и ботинки, а вместо них сдал на госпитальный склад драную подменку. Жалобно бляя, подкупив врача каким-то трофейным ножиком, он выцыганил себе выделенную справку уже на второй день, достал из-под матраса заныканую амуницию и дал дёру, оставив на кровати записку — «чтоб не волновались».

Расторопные контрактники где-то раздобыли шесть блоков сигарет, шмат сала и четыре буханки белого хлеба. Забрали в «отстойнике» письма на весь отряд и, поймав попутный вертолёт, довольные, двинулись восвояси.

Палыч беззлобно отодрал их для профилактики. Сигареты и снедь разделили на группу.

На следующий день на импровизированном стрельбище близ лагеря были запланированы пристрелка оружия и занятия. До полигона было километра полтора, прикрывался он блок-постом с горки, дорога утром перед занятиями проверялась сапёрами, которым в сопровождение выделялся БТР. На этот несложный выезд Панов назначил Назарова с Потаповым — пусть опробуют машину после ремонта и вынужденного простоя.

Утром мехгруппа с командиром вышла на физическую зарядку, экипаж ушёл готовить на выезд машину. Солдаты размялись, расползлись по самодельным снарядам и принялись добросовестно качать железо. Палыч забавлялся с гирей, изготовленной из большой жестяной банки и аккумуляторного свинца, подбрасывал её вверх, отжимал от груди, разгоняя кровь по жилам. Довольно кричал, чувствуя, как просыпаются после короткого сна подраслабившиеся мышцы.

Прибежал Назаров. Лицо у сержанта было бледно-зелёного цвета и идеально гармонировало с тканью застиранного камуфляжа.

— Товарищ... Товарищ капитан... — Назарова трясло, он героически пытался совладать с собой. Проглотил ком, заговорил внятно:

— Товарищ капитан, БТР не сможет выехать.

Палыч бросил гирию. Назар был не из тех, кто болтает попусту. Вопросительно глянул.

— Запах... Запах в машине. Воняет страшно.

— Ты же вылизал её всю. Забыл какую-нибудь тряпку?

— Не знаю... — сержант явно был расстроен и озадачен. В добросовестности проделанной им работы можно было не сомневаться.

Палыч помолчал.

— Ладно. Вам отбой. «Шестнадцатый» на выезд, я сейчас подойду.

Зачерпнув ведром холодной воды из бочки, зашёл за палатку, обмылся до пояса. Накинул китель на голое мокрое тело, пошёл в парк. Несмотря на ранний час, солнце уже поднялось высоко над горами и начинало припекать, пытаюсь подсушить раскатынную парковую грязь. Прыгая по сухим островкам, добрались до машины. Потапов стоял метрах в трёх, переминался с ноги на ногу. Капитан подошёл к БТРу, повернул ручку бортового люка, потянул. Из чуть нагретой солнцем машины дохнуло тёплым...

С чем можно сравнить смрад разлагающейся человеческой плоти? Есть ли на свете запах, способный перебить его? Тяжёлый, густой и сладкий, как жирный лосьон, он в мгновение пропитывает одежду, въедается в волосы, липким кляпом перекрывает дыхание. Сложнейший букет, невообразимая смесь миазмов — патока, элитные сорта сыра с плесенью и концентрированное зловоние, от которого, кажется, не отмыться, не продышаться...

Нет приятнее аромата, который излучает тельце новорождённого ребёнка в первые дни его жизни, и нет страшнее запаха, который человек же испускает через несколько дней после смерти... Палыч аккуратно прикрыл люк, отошёл, длинно выдохнул. Постояли, помолчали...

— Назар, ты под поликами вычищал?

— Нет...

— Значит, туда натекло и протухло. Погода тёплая, БТР четвёртый день на солнце. Сейчас пока — все люки нараспашку — пусть постоит. Потом полики надо будет вскрыть.

Капитан упёр в Назарова тяжёлый взгляд, тот, сглотнув, кивнул.

БТР мыли неделю. Отогнав его подальше от стоянки, задыхаясь, скрутили металлические полики, прикрывавшие трансмиссию, свинтили дренажные лючки на днище. Промывали водой, соляркой, дефицитным стиральным порошком. Щепочками, старыми зубными щётками, стеклом выскабливали каждый рычажок, каждую тягу.

Запах держался. Вонь, казалось, въелась в металл, пропитала стекло и пластик.

В конце концов разожгли паяльную лампу и прошлись огнём по стальным внутренностям машины — там, где это было возможно. Ядовито шипела, вскипая пузырями, серая шаровая краска, дымилось испаряющееся масло...

Дело было сделано, полики прикрутили на место...

Но всё равно — тонкий, как паутина, как винное послевкусие, запах смерти продолжал обонятельной галлюцинацией витать под стальными плитами раненой машины.

Командира механизированной группы вызвал комбат. Ибрагимовцы выезжали на какое-то мероприятие в Махкеты, просили в прикрытие два БТРа. С местным «антитеррористическим подразделением» отношения у разведчиков были натянутые. Были среди них нормальные мужики, но, в основном, бойцы отряда, возглавляемого бывшим полевым командиром, напоминали пиратскую банду. Разномастностью оружия, формы одежды и отсутствием дисциплины они мало чем отличались от бродивших по горам земляков. Среднестатистический «ополченец», «индеец», или «партизан», как предпочитали называть их спецназовцы, выглядел довольно экзотично: ключковатая борода, куртка от армейского камуфляжа (наверняка имеющая пару заштопанных пулевых отверстий), какие-нибудь заношенные псевдоадидасовские трико с раздутыми пузырями коленками, стоптанные кроссовки. Довершала наряд традиционная чеченская тубетейка и вытертый до белизны, перемотанный изолен-

той автомат без потерянного где-то дульного тормоза-компенсатора. Несмотря на слабую подготовку и затрапезный внешний вид, пальцы у народных мстителей растопыривались веером даже на ногах. Разговаривали партизаны с разведчиками свысока, мешая чеченские слова и русский мат и периодически сплёвывая сквозь зубы жёваный насвай. Кое-кто из ибрагимовцев наверняка работал на два фронта, поэтому спиной к ним капитан предпочитал не поворачиваться...

Комбат хотел было вежливо послать просителей, но те заручились поддержкой вновь назначенного командира ССГ. ФСБэшник по связи объяснил, что задача согласована и его ребята выезжают тоже. Комбат тихо выматерился, но БТРы дал.

В 23.30 двинулись. Замыкающим шёл «двадцать первый» с бойцами и командиром ССГ, головным — отреставрированная и отмытая «семнашка». Между ними тряслись по каменистой дороге всё тот же ФСБэшный УАЗик и «бронированный» ЗиЛ-130 ополченцев. Сквозь грубо наляпанную зелёную краску просвечивали синие колхозные борта, обшитые по внутреннему периметру брёвнами и мешками с песком. Антитеррористы сидели в кузове, гоготали и грызли семечки, оружие, как садовый инвентарь, торчало у каждого между коленок. Ни дать ни взять — ударники сельского хозяйства едут на полевые работы.

Когда въезжали в деревню, выключили «Гравицапы», восстановили связь в колонне. Светила полная луна, видимость была хорошая. Позывной подполковника, командира ССГ — «Овен». Был он мешковат, суетлив и вообще весь какой-то невоенный. Бойцы, видимо, своего нового командира воспринимали «не очень», так как между собой называли его «кусок овна».

Красивый двухэтажный дом, в котором предположительно находились боевики или «причастные лица», обложили «углом». Палыч отогнал свой БТР на соседнюю улицу, укрыл за домами — машина стояла так, чтобы проверяемое здание было хорошо видно в простенок между ними. ССГ на соседней улице спешила с замыкающей «брони». ЗиЛ пристроился за капитаном, УАЗик ушёл за Овном. Рассосредоточились, заняли оборону ближе к дому, в палисадниках. По короткой перепалке в эфире стало ясно, что Овен предлагает старшему ибрагимовцев самому досмотреть «адрес», своих же людей оставляет прикрывать. Палыч мысленно поставил подполковнику «плюс» за грамотное решение. В итоге чеченцы горохом высыпали из своей колымаги, в открытую подошли к кованым высоким воротам, заколотили ногами... Самый нетерпеливый перемахнул через забор, открыл воротину изнутри.

Вооружённая ватага пересекла двор, в дальнем углу которого сиял лаком и хромом новенький, иссиня-чёрный Мицубиси «Паджеро» с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Забарабанили в дверь. «Что они творят?» — только и успел подумать Палыч. Хоть бы рассредоточились, да под окнами кто-нибудь встал...

Дом был расположен к капитану под углом, дистанция метров пятьдесят. Видны две стены — одна с дверью, куда ломились ибрагимовцы, плюс два окна второго этажа. На второй — только окна, по три на этаж. Крыша под красной черепицей, два чердачных окошка — за ними особый контроль. Панов быстренько назначил наводчику КПВТ ориентиры.

Встал за машиной, поверх брони наблюдая за домом и подступами... Тихо зашипела станция:

- Палыч, Казбек — Овну.
- Связь.
- Операцией команду я. Без моей команды не стрелять.
- Палыч — «да».

— Казбек — «да»...

Дверь открыли, старший ибрагимовцев шагнул было внутрь. В недрах дома полыхнула короткая очередь. Переломившись пополам, Казбек покатился с невысоких ступенек, остальные бросились врассыпную. Ещё две коротких — уже с чердачного окошка. Ещё два силуэта, дрыгая ногами, забились на земле, остальные залегли за ближайшими укрытиями. Железная дверь с грохотом захлопнулась. Единственное светлое окно на втором этаже погасло. Тишина.

— Овен — Палычу.

Пауза.

— Овен — Палычу! Вижу «точку». Огонь?

Пауза.

— Огонь??

— Н..нет, нет, не стрелять, Палыч... Ибрагимовцы где?

— Три по «триста» наблюдаю. Остальные ко мне ползут.

Пауза.

— Палыч — Овну.

— Да.

— Уходим... Отход.

— А «трёхсотые»?

Пауза.

— Пусть их свои вытаскивают — и отход.

— Понял.

Ибрагимовцы, пригибаясь, перебежали за БТР. Палыч знал одного из них — Мусу — по прошлым выездам, объяснил ему положение. Посовещавшись, четверо ополченцев побежали к дому... Только первая двойка сунулась на залитый светом луны и фонаря двор, как дом ожил, зазвенел выбитыми стёклами, ошетинился вспышками. Сначала стреляли из верхних окон и с чердака, потом присоединились нижние. Две случайные пули цокнули по броне, вышибая искры, одна, выбив форточку, угодила в кабину ЗиЛа. В кабине истошно заорал водитель.

— Потап, малый назад!

Взвизгнул стартер, БТР, пыхнув соляркой, попятился.

— Влево! Прямо! Вправо! Прямо! Стоп!

Вильнув по дороге кормой, «семнадцатый» прикрыл собой ЗиЛ от обстрела. Ушедшие на эвакуацию раненых ибрагимовцы ёжились за хилыми дворовыми укрытиями. Первая двойка укрылась за великолепным «Паджеро» — по ним, кстати, не стреляли, явно берегли машину, но и высунуться из-за неё у мужиков шансов не было. Тем более вернуться к БТРу. С хрустальным звоном разлетелась фара-искатель. Оставшиеся ополченцы перевязывали раненого в плечо водителя ЗиЛа.

— Палыч — Овну.

— Связь...

Одна станция ТАМ, уходи на запасную.

— Да.

— Овен, у меня люди в котле. Надо выводить. Добро на «Огонь»?

— А... э-э..

— Понял!

Капитан всё это время находился на откинутой нижней створке десантного люка со стороны, противоположной обстрелу. Сунул голову внутрь.

— Назар, работай по чердаку. Короткими — «огонь!».



Сержант выдохнул «есть» и утопил кнопку электроспуска. Автоматные хлопки сразу утонули в грохоте. Короткая очередь из главного калибра в куски разнесла раму импортного стеклопакета крайнего левого окна, выломала кирпичи из сводчатого проёма, вздыбила черепицу. Вспышки МДЗ-снарядов сверкнули внутри помещения расплавленными брызгами. Назар перенёс огонь на второе окно...

— Палыч — Овну.

— На связи... На связи... Что у тебя там, Палыч?

— Долбят. Пытаюсь людей отвести. Два вышло, ещё два за Паджерой. Вы не стреляйте, не раскрывайтесь..

Поздно. ССГ тоже захотелось повоевать, со стороны залёгших на соседней улице по дому хлестнули трассы. В ответ сразу открыли плотный огонь с верхних этажей.

Нет худа без добра. Воспользовавшись моментом, двое ибрагимовцев перебежали из-за Паджерика за БТР. Запоздалые очереди со второго этажа с жестяным громом ударили по воротам.

— Овен, твои отошли?

— Нет, огонь плотный..

— Подключаю броню?

— Давай...

Два БТРа крошили здание. Крупный калибр залетал в окна, рвался внутри, вырывал из кладки гроздь кирпичей. В доме что-то загорелось, повалил дым. Механики, перебравшись к пулемётчикам, меняли короба, соединяя ленты непрерывной цепью. Случилось то, чего капитан больше всего опасался — когда обстреливали верхний этаж, с нижнего в сторону «двадцать первого» метнулся огненный хвост гранатомётного выстрела. Граната, зацепив хвостовым оперением забор, свечой ушла вверх в пяти метрах от машины.

— «Двадцать первый», «семнадцатый», длинными по первому!!

Бойцы ССГ тем временем удачно отошли и принялись лупить по нижнему этажу из своих гранатомётов. Из-за БТРа, прокричав «Аллах Акбар», пальнул из своей РПГ Муса. Ошмётья и кирпичное крошево летели в разные стороны. Верхние этажи продолжали огрызаться. Простенки между окнами постепенно переставали существовать.

Вдруг внутри здания что-то натужно лопнуло, прокатилось волной, ультразвуком срикошетило от зубов, нервов и барабанных перепонок. Из окон вырвались оранжевые шары, чёрные дымные хлопья — то ли в склад боеприпасов угодили, то ли в газовый баллон. Вылетел правый от входа угол. Дом накренился. Теряя черепичную крышу, просел на один бок и рухнул, взметнув в светлеющий воздух облако кирпичной пыли. «Некачественная постройка», — отметил капитан, присев от неожиданности. Рыжий дым клубами полз от развалин. Муса со своими, пригнувшись, побежали за убитыми, притащили четыре трупа. За телами извивались по земле красные ручьи.

Над раскалённым стволом КПВТ колыхалось марево, из десанта курился пороховой туман. Назар, насквозь мокрый, с красными глазами, на карачках выполз из десанта. Хрипло закашлялся, выхаркивая из лёгких накопившуюся гарь, закапал на песок потом, слюной и слезами.

Трупы заволокли за БТР, пыхтящий Муса подбежал к Палычу:

— Командыр, у нас вадила ранэн, калесо прастрэлен, ЗиЛ бросить нада! Давай убитый тебе в бэтээр?

Палыч взглянул на сочащиеся тела, на смесь протеста и ужаса в вытаращенных глазах Назарова... То ли в воздухе, то ли в закоулках мозга материализовался, поплыл липкой тошнотворной химерой запах гниющей крови...

— Нет, парни, грузите-ка к себе. Водителя я дам, колесо сейчас заменим. Запаска есть?

— Запаска ест, врэмя нэт!

Муса был прав, уходить надо было срочно. Кто знает, сколько в селе боевиков — наверняка не в одном доме все сидели.

В мгновение поддомкратили ЗиЛ, скрутили пробитое колесо, наживили лысую запаску. Других повреждений у машины не было. Чеченцы попрыгали в кузов, на этот раз присели за «бронёй», оцегинили борта стволами. В кабину ЗиЛа Палыч посадил Потапова, за руль БТРа сел сам.

Второй БТР и УАЗик уже ждали на перекрёстке, башни развернули в разные стороны, задрал стволы — чтобы не зацепить придорожные столбы. Отход!

Проскочили деревню, сразу съехали в поле, рассредоточились. Взяли окраину на прицел. Вдали пылила подмога. Подтянулась большая колонна — почти весь третий сводный, отряд ВВ, Курганский СОБР. С головного БТРа прыгнул комбат. Коротко переговорили. Палыча и две «брони» оставили на въезде в село — организовать блокпост и дожидаться вертолёта. Доктор хлопотал над водителем и бойцом ССГ, комбат с ВВэшниками двинули в село — проводить досмотр и зачистку. Через полчаса пришла «восьмёрка» с сопровождением, забрала раненых.

На «блоке» проторчали почти до вечера. Сначала ждали второй вертолёт с какой-то досмотровой группой из Ханкалы, потом Панов долго бродил с ними вокруг да около развалин, отвечал на дотошные вопросы — где стоял, куда стрелял...

Вокруг сновали и тарачились на бесплатное представление осмелевшие селяне, была какая-то баба. От чуть дымящихся руин мусорный ветер носил запахи горелого

пластика и шашлыка, голодный организм реагировал желудочными спазмами и выделением слюны.

Наконец всё кончилось. Место боя оставили под охраной ФСБ и ибрагимовцев, построили колонну и двинулись в лагерь. Несколько последующих дней мотались на разбор завала. Разведчики стояли по периметру охранения, в обрушенном доме копались местные власти и ФСБ. Руководил всем какой-то полугражданский седой мужик. Полковник из Штаба горной группировки ходил за ним по пятам, преданно заглядывал через плечо. На все негромкие указания усиленно кивал.

Всю информацию держали в секрете. Сколько и кого настроляли, узнать не удалось.

* * *

— Товарищ капитан, Вы закончили?

— Да.

— Я не видел, чтоб Вы что-то переписывали. Я же Вам сказал — исправить.

— Исправлять нечего, товарищ подполковник. Эта объяснительная четырнадцатая. Содержание предыдущих я помню наизусть.

Следователь скорчил гримасу, небрежно сгрёб объяснительную на пяти листах, зашуршал бумагой:

— Огонь приказали открыть Вы?

— Да.

— А вот подполковник Селезнёв утверждает, что руководство адресным мероприятием было возложено на него. И он предупреждал Вас о том, что огонь необходимо открывать только в крайнем случае и только по его команде.

— Крайний случай был. Перед открытием *ответного* огня я с ним свои действия согласовал.

— А он утверждает, что не согласовывали... — Подполковник походил по кабинету, взял стоявшую на сейфе детскую пластмассовую лейку в виде слоника, заботливо полил какой-то лопух в горшке. — Устроили Сталинград в центре села... Вы хоть понимаете, сколько мирных граждан могло пострадать? И пострадало! Мне не следует Вам всего говорить, но в доме, который вы расстреляли, были заложники, ни в чём не повинные люди. Что молчите?

Палыч вздохнул. Мурьжили его уже месяц. Сначала какие-то дознаватели прилетали в отряд, дёргали его и солдат из экипажей. Ничего толком не объясняли, только заставляли писать и рассказывать по сто раз — что да как. Прояснить ситуацию не мог даже комбат. Теперь же капитан уже пятые сутки парился на Ханкале. Стало ясно, что под него по какой-то причине «копают». Официально не арестовывали, но удостоверение личности и автомат забрали, с пересыльного пункта не выпускали. Между допросами капитан тоскливо слонялся по колючему периметру. От нечего делать стрельнул сигарету, закурил, закашлялся. Подозвал какого-то солдата, отдал отраву ему. Боец козырнул и тут же затянулся, воровато оглядываясь. Болела душа за группу — пятый день одни... То, что службу не завалят, Палыч не сомневался, но, тем не менее...

— Что молчите?! — Подполковник наливал себе кипяток из чайника.

— Я всё указал в рапорте. Был ранен водитель ЗиЛа, убиты четверо.

— Значит, надо было блокировать дом и доложить командованию, а не принимать самостоятельных решений.

— Люди Селезнёва находились по периметру охранения. По ним вёлся плотный огонь, отойти без прикрытия они не могли. У боевиков наверняка были и ночные

прицелы. Один БТР был обстрелян из гранатомёта, стояли бы мы молча — нас бы сожгли. Отошли бы — бросили охранение и тела, упустили бандитов.

— Всё равно... Нет команды — не стреляй. Вы военный, капитан, или как? — Следователь явно пытался острить, всё переводил разговор в стадию задушевной беседы. — А заложники? А? Повесят их теперь на тебя...

— Ты так думаешь? — Палыч упёр в подполковника тяжёлый взгляд. Тот на мгновение опешил, на гладко выбритом лице мелькнула тень возмущения — которое, он, впрочем, тут же дипломатично подавил. Заулыбался...

— Извиняюсь... На Вас повесят... Чаю хотите?

— Нет. А вы уверены, что это заложники, а не хозяева дома, которые устроили у себя перевалочную базу и склад? Не связные? Они что, в наручниках были?

— Следствие, как говорится, разберётся... И вопросы тут все-таки задаю я, капитан... *Товарищ* капитан. Командование всеми силами пытается стабилизировать обстановку в регионе, а Вы такие провокации устраиваете. В соседнем дворе от вашей стрельбы погибла корова. За дом уже сын хозяина — питерский бизнесмен, кстати, — иск готовит. Джип племянника, который во дворе стоял, расстрелян и восстановление не подлежит. Вы за всё это платить будете?

Палыч вспомнил, как бродил по развалинам с досмотровой группой. «Паджеро» стоял, чуть припорошенный кирпичной пылью, но ни царапин, ни тем более пулевых пробоин капитан на нем категорически не припоминал...

— Давайте-ка ещё раз по порядку. С момента выезда из лагеря.

— Я всё указал в рапорте.

— Да насрать мне на Ваш рапорт! — Дознаватель всё же вышел из себя. Тут же попытался сгладить — подошёл к небольшому холодильнику, распахнул дверцу. Тихо звякнули водочные бутылки. — Хотите курицу? Только не отказывайтесь! Домашняя, мне посылка на днях пришла. После Ваших сухпайков — милое дело!

Достал пакет, зашуршал. Потом вдруг брезгливо принюхался, отвёл от себя свёрток:

— Чёрт, кажется, испортилась... Свет часто отключают. Дневальный!!

Вбежал воин, забрал протухшую курицу и на вытянутых руках понёс к выходу.

«Зря, — подумал капитан, глядя вслед солдату. — Может сожрать.»

Под низким потолком щитового домика невидимой тяжестью повис уже близкий и родной, щемящий и ласковый запах разлагающейся плоти...

Палыч молчал.

Панов сидел в столовой, в своём выцветшем камуфляже, рядом суетился бело-снежный солдат-официант. Капитан безучастно проглотил наваристый борщ, съел картошку, окорочок. Залпом выпил непривычно сладкий компот. Собираясь встать, автоматически пошарил возле лавки в поисках оружия и на секунду оторопел, когда рука повисла в пустоте. Вспомнил, что автомат давно на складе, беззвучно выматерился.

Вошёл посыльный, спросил разрешения обратиться. Вызывали к дежурному по лагерю. Палыч не спеша побрёл к дежурке. Из деревянной бани доносилось приглушённое нестройное пение, капитан заглянул из любопытства. В предбаннике сидели голые мужики, пили водку и горланили. Один из них, румяный крепыш, сделал театральный жест рукой, смахнув со стола пластиковый стаканчик:

— Заходи, капитан! Плесните капитану!! За ВДВ!!

На вешалке висели новенькие камуфляжи с майорскими и подполковничьими погонами.

— Не могу. В наряд заступаю. — отрезал Панов первое, что пришло на ум, развернулся и вышел.

По пути потрепались с местным зампотехом.

— Что это у вас за певцы в бане, Саня?

— Так это же ваши, из разведотдела штаба Войск. Прислали их на три недели... Бухают и моются все время, задолбали. Слава Богу, улетают завтра...

В дежурку Панов вошёл без стука, не ожидая ничего хорошего. Рядом с дежурным сидел знакомый подполковник-следователь. Поздоровались.

— Получите своё оружие, документы. Колонна центроподвоза отходит с «пяточка» через... два часа. Можете быть свободны... *пока*.

* * *

Отряд заменился. Промелькнуло напряженно-радостное время ожидания сменщиков, встреча и братская попойка, пересыльные лагеря Ханкалы и Моздока, многочисленные погрузки, разгрузки, досмотры на таможенных пунктах. Панова опять вызывали, уже в ППД — то в штаб Войск, то в гарнизонный военный суд. Опять допрашивали, толком ничего не объясняя... Потом как-то резко всё затихло.

Как-то вечером Палыч с доктором решили посидеть, чуть выпить да потрещать. Сгоняли в магазин, пошли к Панову в общагу. В обшарпанном полутёмном коридоре пахло плесенью. Переступили через валяющийся посреди дороги детский велосипед, запнулись о чью-то тапку. Капитан толкнул дверь своей девятиметровой комнаты. Крутанул лампочку — «включил» свет. Распугал тараканов.

— Что там у тебя, Палыч, по тому делу?

— Не знаю, Док... — Капитан пожал плечами. — Отстали пока, но чую, добром не кончится. Сделают из меня второго Ульмана или Буданова, придётся в тайгу уходить или во Французский Легион... если успею.

— Да ну... — Доктор безуспешно пытался выловить из банки огурец. — А ты юристу полковому, Владу, позвони. Он в суд мотается, у него там однокашники, может, и пробьёт чего.

— И то дело...

Позвонили юристу. Влад о ситуации слышал только краем уха. Сказал, что на Панова запрашивали характеристики и выписки из личного дела, обещал что-нибудь разузнать.

Через неделю встретились, сели в кафешке. Влад помолчал, собираясь с мыслями

— Ситуация такая, Палыч. Сколько народу было в доме, я не выяснил. Среди них были гражданские — хозяин дома и какие-то родственники. Сын хозяина в это время был в Питере. Когда на него вышли, он сказал, что дорогого папу кто-то взял в заложники и требует выкуп. Сообщать в органы сынуля якобы побоялся, начал собирать деньги, а на следующий день приехали федералы — то есть вы — и спалили родовое гнездо вместе с папашей. Уж не знаю, кто там ему поверил, только всех начали иметь по жёсткой схеме... Причём на самом высоком уровне.

Все, естественно, стали отмазываться, тебя решено было сделать крайним. Потом поработало следствие, разобрались. Попался, видимо, кто-то честный и принципиальный. Доказали связь хозяина дома с боевиками. Нашли у него в карманах американские деньги той же серии, что и в карманах убитых духов, схрон в подвале... Да и так ясно было. Сынулю этого питерского тоже за задницу взяли. Один из прибитых вами боевичков оказался чуть ли не Бен Ладеном — какой-то крутой парень, ещё с первой войны в разработке. Ситуация сразу перевернулась, теперь все строчат

на себя наградные. Командующий группировкой себя вроде на Героя подал, но не прокатило — ФСБэшники перетянули. Про тебя вроде забыли, дело закрыто.

Помолчали.

— На бойцов наградные подписали, не знаешь? Я солдат из экипажей на «Отвагу» представлял.

— Не знаю, Палыч. Это надо в штабе Войск узнавать.

— Ладно... Спасибо, Влад.

Шло время. Отдельный батальон, в котором служил Панов, был расформирован в угоду грянувшим военным реформам. Большинство офицеров части решили увольняться. Распался слаженный боевой коллектив, служить стало не с кем. Скрепя сердце, подал рапорт на увольнение и Палыч, получивший к тому времени майорские погоны. Прошёл медкомиссию, вышел «за штат» и пополнил бесконечные ряды очередников на получение жилья. Устроился на какую-то работу...

Первое время было ничего, но скоро продажная гражданская жизнь встала поперёк горла. Иногда собирались с сослуживцами, грустили и пили, борясь с ностальгией.

23 февраля решили встретиться всем коллективом в бывшей солдатской столовой, переданной теперь каким-то связистам. Накануне позвонил комбат.

— Здорово, Палыч. С праздником.

— С наступающим, товарищ полковник.

— В Москве завтра будешь?

— Да.

— Собираемся в десять. А тебе к девяти в штабе Войск надо быть. В разведотделе.

— По какому такому случаю?

— Не знаю. Я тебе позже скину номер кабинета и фамилию, к кому.

23 февраля в 8.45 майор вошёл в стеклянные двери штаба. Назвал дежурному фамилию. Тот проверил документы, позвонил.

Палыч поднялся на четвёртый этаж, нашёл означенную дверь... Не успел Панов постучаться, как дверь распахнулась, из кабинета, хохоча, выпорхнула рыжая размалёванная мадам в погонах старшего прапорщика. Эротично повизгивая и стреляя глазками, деваха отбивалась от крепыша-подполковника в расстёгнутом кителе, все норовившего ущипнуть её за пышный зад.

— Вам кого? — Офицер штаба неприязненно уставился на майора в камуфляже. Его румяная физиономия показалась Палычу знакомой. На кителе, поверх рядов разноцветных планок, у подполковника криво висел новенький орден Мужества, под мокрой колодкой расплывалось пятно. «Обмывают — пораскинув мозгами, догадался Штирлиц».

— Я к полковнику Сизову. Майор Панов. Он знает.

— Сейчас...

Подполковник скрылся в кабинете. Товарищ старший прапорщик, повиливая бёдрами, с независимым видом продефилировала следом.

Через пару минут Палыча пригласили войти. В кабинете за накрытым столом сидели человек десять старших офицеров, несколько женщин. Поднялся уса́тый полковник.

— Майор Панов?

— Так точно.

Полковник молча прошёл в угол к сейфу, извлёк картонную коробочку и удостоверение, раскрыл его.

— Указом Президента России от ... ноября ... года Вы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Давно лежит. Чего ваш кадровик не забрал?

— Нет кадровика, товарищ полковник. Часть расформирована.

— Ты с «восемьсот двенадцатого»?

— Так точно.

— Тогда ясно...

Полковник пересёк кабинет, вручил награду, пожал руку.

— Поздравляю!

— Служу Отечеству. Разрешите идти?

— Идите.

Палыч развернулся.

— Стойте! Товарищ полковник! Положено обмыть! Плесните майору!

Румяный орденосец и любитель ханкалинских бань, недавно проявлявший половой гигантизм, театрально махнул рукавом, смахнув со стола фужер с шампанским.

Полковник поиграл бровями, взглянул на Палыча вопросительно.

— Не могу, товарищ полковник. Пока своему командиру не представился — не положено. Разрешите идти?

— Идите. Ещё раз поздравляю.

— Благодарю.

Панов вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. Рядом со входом сизыми клубами дымила чугунная урна — видимо, кто-то неудачно бросил окурочек. Палыч стукнул кулаком в стекло, кивнул дежурному. Тот заметался, как рыба в аквариуме. Мусорный дым пах шашлыком и горелым пластиком.

К стеклянным дверям тем временем прибывали всё новые защитники Отечества. Сияли награды, полковничьи и генеральские погоны. Стоянка перед штабом была сплошь заставлена дорогами авто. Крайним справа сверкал лаком, хромом и инеем иссиня-чёрный Мицубиси «Паджеро» с причудливой ярко-оранжевой молнией вдоль борта.

Экипажи БТРов за ту командировку так и не наградили.





РОДИНА

Рассказ

1

Поняв, что все сроки её жизни давно истекли, Любовь Васильевна решила во что бы то ни стало посетить старую, заросшую мхом могилку своей матери, у которой не бывала аж с прошлого века. Похоронена мать была не в городе, а на их родине в деревне, до которой можно было добраться или на двух автобусах с пересадкой в забытом Богом районном центре, либо на поезде, а потом опять же на автобусе, который даже в том — прошлом — веке ходил в ту сторону всего два раза в день: рано утром и поздно вечером. Но в том прошлом веке ему ещё было куда ходить и кого возить, а теперь, по слухам, в тех местах не осталось ни одной живой деревушки.

Последний раз Любовь Васильевна смогла побывать там, благодаря своей младшей сестре Маньке, работавшей поварихой в обкомовской столовой и уговорившей какого-то парня на казённой «Волге» быстренько сгонять туда-обратно и щедро, судя по всему, ему заплатившей. Увы, Манька умерла в том же прошлом веке, после того, как вместе с обкомом была ликвидирована и столовая, и где находится её могилка, Любовь Васильевна знать не знала, так как в день похорон сказала что-то непотребное, и её приняли за пьяную и на кладбище не взяли. Впрочем, если бы и взяли — разве хватило бы у неё ума запомнить какой-то там квартал, какой-то номер, а надёжных примет, как в прежние времена, на новых кладбищах не было, ибо пополняться городским людом кладбища стали столь стремительно, что там, где ещё осенью был лесок, приезжающие к родным покойникам на Пасху видели необъятное утыканное крестами и плитами поле.

Да и зачем бы поехала Любовь Васильевна на могилу к Маньке? Что бы она там стала делать? Плакать? Сажать уже не нужные той цветы? Поливать бугорок бесполезной для её несуществующего здоровья водкой? Глупо увлажнять землю недешёвым добром, которое можно употребить с пользой для своей пока что живой души и для той же памяти о душах, давно истлевших. Любовь Васильевна хорошо знала, что Манька на неё за это не обидится. Наверняка знала, так как за свои девяносто с гаком проводила на тот свет бесчётные, как звёзды в небе, толпы родных и близких людей. Одной войны, которую она от начала до конца, от Москвы до Берлина проползла на брюхе санитаркой, хватило бы с избытком. И не успевшая понюхать пороху Манька наслушалась от сестры такого, что просто не посмела бы теперь на неё сердиться.

Другое дело мать. Ей Любовь Васильевна не смогла рассказать ничего, потому что когда вернулась с победой домой, её уже не было. С голоду ли, с поту ли, с тоски ли

сгнула она после того, как, отпустив Маньку в город, осталась в пустой избе одинёшенька — Бог весть. Соседские бабы, направляясь поутру в зимний лес на повал, нашли её уже остывшей, и неделю искали мужиков, чтобы выкопать в мёрзлой земле возле церкви могилу. Отец же оставил их одних ещё до войны, уехав на заработки то ли в Сибирь, то ли на Кавказ и там о жене с дочками забыв. А может, и не забыв, а угодив в тюрьму или сложив лихую голову в каком-нибудь кулачном бою. Он был — помнила Любовь Васильевна — большой охотник до мордобоя, и только их с матерью ни разу пальцем не задел, тогда как все соседи боялись его, как срывающейся с цепи собаки.

Жалко было мать. И после войны, когда можно стало жить и жить, и теперь, когда горевать о напрасной жизни стало лень, Любовь Васильевна не могла сдерживать слёз, часто видя перед собой нетронутый временем лик молодой, здоровой и красивой маманьки, как всегда называла она её, вкладывая в это прозвание всю свою душу, всю ласку свою и всю печаль. «Могла бы ещё пожить. Могла бы», — бормотала она себе под нос, выпивая каждый день свои «фронтовые» сто грамм и затягиваясь сладким дымом от скомканной в губах «беломорины», и слёзы стекали по глубоко проторённым за послевоенные годы бороздам на сморщенном лице её, в тех же бороздах и исчезая.

Сама Любовь Васильевна не сомневалась, что живёт так долго, потому что ей достались сразу две жизни, что мать зачем-то подарила именно ей, а не Маньке, свою жизнь, хотя у сестры получилась большая семья, состоявшая из пяти детей и троих мужей, а её война отвортила от мужиков навсегда. И, несмотря на то, что всем соседям и знакомым она «по секрету» сообщала, что война закалила её до бессмертности (за что живший через стенку в доме племянник Васька называл её «Кашеем Бессмертным»), — военную свою память Любовь Васильевна не ставила ни во что. Напротив, ей было мучительно стыдно за то, что наши выгоняли фрицев так долго, отчего матери и не хватило сил её дожидаться. При этом винила она в таковой медлительности только себя, не сумевшую дотащить живыми до лазаретов сотни раненых бойцов, какие, оклемавшись, могли бы прийти в этот треклятый Берлин на два, а то и на три года раньше. Чувство этой, уже непоправимой вины терзало её сердце с каждой юбилейной медалью всё сильнее, потому-то и нужны ей были «фронтовые» сто грамм и «Беломор», хоть и не надолго, но всё же примирявшие её с жизнью. В мужиках же она не видела совершенно никакой пользы, и непутёвые Манькины дети подтверждали её уверенность в том, что лишь те сотни и сотни умерших на хрупких девичьих плечах парней и могли бы дать родине настоящих детей, а не отравленных какой-то заразой бестолочей. Более того, даже в тех, кто не остался лежать на поле боя, а выжил и добил фашистов в их разорённом логове, она чувствовала глубоко засевшую эту заразу, и что уж оставалось ей думать об невоевавших.

Взять тех же троих Манькиных мужей, первый из которых успел пару раз пальнуть из пушки по воробьям в сорок пятом. Он как приехал на фронт в новенькой гимнастёрке, так и форсил в ней до самой их с Манькой свадьбы в сорок седьмом. Кого же, кроме Васьки, мог родить такой горе-герой? И мог ли бы он не спиться после того, как понял, какого Ваську получила от него родная страна? Второй сказывался инженером, таким, что ему аж на блюдечке подарили бронь, по которой он и укатил дальше от фронта — на Урал. Теперь эти «бронированные» хвалятся, что без их инженерного вклада не было бы и победы. Но неужели во всём Советском Союзе не нашлось бы для умственных-то подвигов толковых стариков, каким и воевать, и рожать детей было уже поздно? Так нет же, толковые эти старики оказались там — в окопах, а значит, ещё бы и нарожали, если б вылезли из них, не Рудиков

с Розочками, а Иванов с Марьями. Третьего Манькиного мужа — обкомовского секретаря — Любовь Васильевна и вспоминать не хотела, хотя благодаря ему и жила в своём приделке сначала рядом с Манькой и её детнёй, потом с Васькой и его женой, а теперь, вот, с одним оставленным этой женою на тёткиных харчах Васькой. И хотя хватило у того секретаря совести подписать свой родительский дом работавшей в ветеранском госпитале свояченице, Любовь Васильевна сильно сомневалась, что это была совесть, а не одна из многих хитростей, помогавших этим людишкам отжираться в спрятанных от народа секретных столовых.

Тем не менее, только на Манькиного сына от секретаря и была сейчас вся надежда, и Любовь Васильевна со вчерашнего дня на всякий случай называла его в своих мыслях не привычным Мишкой, а Мишенькой. И появившемуся в своей калитке и увидевшему её сидящей на лавке у ворот с узелком на коленях и папиросиной в беззубом рту Ваське она так и доложила:

— Вот, Мишеньку жду. Мишенька обещал свозить меня к мамане.

— Если он и свозит, то только для того, чтобы там тебя и закопать, — был решительный Васькин ответ. — Дала бы лучше на бутылку — мы бы с тобой бабку и без Мишки-Шишки помянули. Она тебя за это потом, может быть, и из ада бы вытащила.

— Дурак! — не сдержалась Любовь Васильевна, стараясь не дать подошедшему Ваське сесть рядом с ней. — Нет бы, порадоваться за тётку, что у неё ещё остался на старость лет добрый племянничек...

— Это Шишка-то добрый?! — удивился Васька и всё-таки уселся на краю лавки и вытащил из её халата пачку «Беломора». — Видать, ты, и впрямь, на тот свет собралась. Забыла, как он тебя на мороз выгонял, когда своё бабье сюда притаскивал?

— Пока ещё не на тот свет, а к маманьке, — сделав вид, что не расслышала напоминания о морозе, стояла на своём Любовь Васильевна.

— А маманька-то всё ещё на этом, что ли? — прищурился Васька, задымив. — Что-то я её тут ни разу не видел. Может, мало употребляю? Так давай сразу на ящик, чтобы я прозрел!

— Дурак, — опять только и нашлась возразить ему Любовь Васильевна. — Седой уж весь, а всё ума не нажил. Вот помру — чем жив-то будешь? Мою пенсию на тебя не переведут, а своей тебе с друзьями на неделю не хватает. Потому как сам ты в того ящика уродился: бери кто хошь, куда есть что брать.

От обиды Васька даже папиросу выронил изо рта, и искры от неё рассыпались по его рваному трико.

— Ну как вот с тобой после этого разговаривать? — вздохнул он и, собрав с земли остатки окурка, встал. — Жди своего Мишеньку одна — глядишь, к твоим похоронам и поспеет...

«Да нет, я правильно сказала, — думала Любовь Васильевна, поправив после его ухода платок и узелок с гостинцем. — Мой язык давно перестал ошибаться. И захотела бы сказать не так, да он сам поправит...»

Довольная и собой, и тем, что Васька так быстро от неё отвязался, она прикрыла паутиными веками заслезившиеся глаза и подставила лицо под лучи утреннего солнышка, забыв, что уже нет у неё защиты от этих лучей, а истончившаяся на лбу, веках и скулах кожа не только не препятствует, но и способствует им проникать до самого нутра, вернее водки сжигая в нём остатки жизни. Никчёмной — понимала она — жизни, не нужной ни ей самой, ни людям, ни Богу. Один только вопрос всё чаще и чаще тревожил её: зачем она до сих пор живёт? Уже до ста лет недалёко осталось, а всё ещё нет нужного предчувствия смерти, словно она, и впрямь, какая-нибудь сродница этого сказочного злодея, бессмертность которого можно прекратить, лишь переломив

иголку, спрятанную в яйце на дне висящего на дубу сундука. Только какому же добру молодцу пришла бы охота забираться на этот дуб, охотиться за всякими там зайцами, утками или галками только ради того, чтобы отправить на тот свет какую-то никчёмную старуху? Да и нужна ли она самому тому свету, если не заслужила ни рая, ни ада, ибо не делала в жизни своей ни зла, ни добра, никому не мешала, но и не помогала, а просто коптила воздух своими папиросами, честно заработанными в войне?..

— Васильевна, жив ли внучок-то?! — вывел её из задумчивости гулкий хрип со стороны Васькиной калитки, и нужно было открыть глаза, взглядеться в этого хрипуна и крикнуть ему в ответ, что Васька никакой ей не внучок, что... Но она не шелохнулась, притворившись слепой и глухой и без усилий поняв, кто этот шутник и зачем он припёрся к Ваське в столь ранний час.

Всех этих утренних (так же, как и вечерних) гостей она знала давно и прежде всегда приветливо им улыбалась и говорила что-нибудь шутовское, за что они нацеживали ей четверть стакана из своих добытых воровством бутылок. Любовь Васильевна помнила их всех ещё мальчишками, потом женихами, отцами сопливых детишек, здоровыми мужиками, которых то и дело ловили и спроваживали в тюрьму их же дружки милиционеры, так же, вот, всегда вопрошавшие её, жив ли внучок. Может быть, потому только, что от неё и им перепало улыбок и озорных словечек, они и не трогали Ваську, или же он был им столь же не интересен, как тётка его — тому свету, потому что, как тётка, не делал никому ни зла, ни добра.

Да, Любовь Васильевна хорошо знала, что и за добро людей спроваживают в тюрьму. Спроваживали и до войны, и после, а во время неё так просто убивали, если не немцы, то свои. И теперь, в начале нового века, хотя и развелось почему-то больше народу злого — добрых уже днём с огнём не сыщешь, а весь русский люд сделался, как она, никаким, не нужным ни тому, ни этому свету и накопившим денег только на свою папироску, или водочку, или машинку, как Михаил.

«Пора бы ему уже и приехать», — вдруг вспомнила она, но и тут глаза её не открылись, и в груди продолжала тихо тлеть разогретая солнышком душа, не успевавшая выползти наружу вместе с выдохами и безжалостно запикиваемая обратно вдохами.

Эту тайну поведал ей один из выгашенных ею из-под обстрела бойцов.

— Ведь почему мне не больно, когда перестаю дышать? — говорил он, склонив окровавленную голову к её груди. — Потому что прекращается связь с земным миром, который для того и создан, чтобы мучить людей этой болью. Так бы и остаться бездыханным, да сил нет выдохнуть разом всю душу и больше не вдыхать ни дыму, ни воздуху...

— Глупый, — возразила она тому солдатику. — Если больно — значит, ты живой. Радоваться надо, что болит...

И всё же у него тогда нашлись нужные силы, и он сделался спокойным и торжественным на её руках. Не раз потом Любовь Васильевна пыталась последовать его примеру, но, видимо, отсутствие нужной боли мешало ей сгрести в кулак свой последний порох, которого с годами оставалось всё меньше. Может быть, надо было в церковь почаще ходить вместе с годными ей в дочери соседскими старухами, да только слишком уж легко и просто они свои грехи на Бога-то нагрузили да и успокоились. Солдатик-то тот не за себя, а за весь народ больную душу вместе с кровью выдохнул, а эти богомолки только о своём благополучии заботятся да непутёвых деток ругают за то, что те дворцов не нажили. Сама она посещала церковь лишь на День Победы да в Преображение — деревенский их престольный праздник, на который бывало все от мала до велика шли к причастью и на кладбище. И как в деревне поп Матвей

встречал всех со слезами радости, так и здешний настоятель сам спешил из алтаря на её исповедь, на которой каялась она в своей никчёмности.

— Как же никому добра не сделала? — удивлялся он, со страхом глядя на её тяжёлый пиджак с орденами и медалями. — Разве по ошибке тебе достались эти награды? Стольких людей спасла, живота своего не щадя!

— Так ведь когда это было? — вздыхала она. — Все спасённые давно уж примерли.

— Зато дети и внуки после них остались...

Так и подмывало её всякий раз сказать батюшке всё, что она про этих детей и внуков думает, но спорить с ним перед причастием не хотелось. Да и вряд ли бы он понял её, ибо и сам был рождён после войны, а теперь так отъелся, что и язык не повернётся назвать его солдатским сыном.

Любовь Васильевна помнила его печального отца, каждый год лежавшего в госпитале и сообщавшего ей по секрету одну и ту же историю о своём ранении, из-за которого погиб весь экипаж танка, которого он был водителем. «Если бы меня не стукнуло — мы бы успели проскочить, Люба, — горевал он. — И если бы убило — Лёха б Яснев заменил и хотя бы сам жив остался...» Она понимала его боль, хотя и ругала за эти «если бы да кабы». Вот только почему Господь так устроил, что Лёхи Яснева, после которых могли остаться достойные дети и внуки, с войны не вернулись, — додуматься не могла и точно знала, что никто из кормящихся в церкви, как Манька в обкоме, богомольцев ей в этом не поможет. Потому что неведома им эта боль, которую, в конце концов, выдохнул и тот печальный танкист, хотя лечили его по тем временам лучше некуда. А коли неведома, так и живыми они могут лишь сами себя почитать, тогда как, на самом-то деле, если поглядеть хорошенько, то и нет никого.

Казалось бы, столь мудрые мысли должны были как-то расшевелить Любовь Васильевну, если не оживить, то хотя бы заставить открыть глаза, однако она осталась к ним безучастной, понимая, что ни к чему такая её мудрость не пригодна. Да и говорила она уже об этом с соседским мальчишкой Андрюшкой, побывавшим на афганской войне, а потом в Чечне, но он только резанул рукой, как саблей, и скрежетнул зубами, но защищать своё мужество поленился. Васька же строго-настрога наказал ей никому эту правду не открывать.

— Не то обидится кто-нибудь и начнёт доказывать, что он на жизнь способный. А вслед за ним и другие зашевелиятся, как опарыши в уборной. Тогда ни пенсии нам твоей не видать, ни сладких снов о счастье. Разве плохо нам, покойникам, живётся?!

И Любовь Васильевна с ним согласилась: неплохо живётся. Можно бы и получше, но и так не худо. Однако навязчивая мудрость не хотела оставлять её, как не хотела душа покидать то, что когда-то имело право называться телом, а ныне сделалось похожим на сопревший мешок с костями. Вспомнилось ей, как помирала сестра Манька. Не от старости, не от какой-нибудь хвори, а от одной лишь несовместимой с жизнью тоски вдруг стала чахнуть она и скукожилась вся за недолгий месяц, так что и в гроб-то нечего было класть. А какая баба была! Не зря и по молодости, и до седых волос отбоя от мужиков не знала и сама им отбоя от себя не давала, привозя с работы не только колбаску с конфетками, но и то, что по ночам втихаря от своих мужей за сараем в корыте застирывала. А как прикрылась обкомовская лавочка — не до Маньки стало бывшим секретарям с их шофёрами, и ни к чему сделались Маньке её стать вместе с жизнью.

Однако жила ли она — вот в чём вопрос. Кружилась по дому и городу, как заведённая, а кончился завод — и оказалось, что ни она никому не нужна, ни ей никто не в радость. «Ведь как сломанный будильник лежишь, — шепнула Любовь Васильевна ей на дорожку. — Только часы-то негодные всё жалко выбросить, а от тебя, вон, не до-

ждутся, когда избавятся». Мишка, услышав такое напутствие, обиделся за мать и приказал тётку на кладбище не брать, чтобы ещё какой дури не выкинула. Правда, потом он часто извинялся, клялся, что погорячился с горя, однако и с неё вины не снимал.

— Ты тоже, тётъ Люб, хороша! — бурчал он точь-в-точь как его отец, видевший во всех родных и близких, соседях и прохожих если не явных, то тайных врагов его партийной линии. — Могла бы и потерпеть до поминок, а не показывать себя людям пьяницей.

— Это я-то пьяница?! — возмущалась она. — Подумал бы, что говоришь. Пьяницы-то от стыда за стаканом прячутся, а мне стыдиться нечего. Потому я и не пьянею никогда, сколь бы ни выпила...

И тут она была права: не брала её водка, как не брал на фронте солдатский спирт. После проводов Сталина народ стал всё чаще и чаще к бутылкам прикладываться, так что, казалось, вся страна ходуном заходила и в блевотине извозилась, — значит, стыд поедал народ, хотя он этого и не смыслил. А теперь уж и стыд-то весь пропили, как и саму Родину, от которой только название да дохлое потомство осталось. Любовь же Васильевна всякий стаканчик, каждый глоток освящала памятью, густо замешанной на пролитой за эту Родину крови, — потому и не знавала ни тошноты, ни беспамятства, ни похмелья, и не голова, а та же память по утрам в груди саднила, требуя успокоения. Однажды она поинтересовалась на исповеди: не бес ли это какой её изводит?

— У беса бы терпения не хватило, — подумав, серьёзно ответил священник. — Он бы или давно уж тебя извёл, или отступился. Что-то здесь другое, чего и к грехам-то не отнесёшь. Скорее за особую какую-то святость сочечь можно, только и сочувствовать ей грех...

Видно было, что батюшка, хотя и учёный, но не может понять простого: того, что все, умиравшие за Родину, не имели к простым житейским грехам никакого отношения. И не мог бы, например, генерал Карбышев в обычной жизни быть алкашом и бабником, как Власов, а если кому-то и казался таким, то грешником вышел бы не генерал, а тот, кто ничего, кроме вина и баб, видеть в жизни не умеет. Так вот и Михаил... И, может, правду сказал Васька, что не приедет он нынче за старой тёткой, которая для него всего лишь столетняя пьяница, на какую и времени, и бензину тратить жалко.

Возникнувший в мыслях и тотчас как будто представший перед её глазами племянник заставил Любовь Васильевну разлепить распаренные солнышком веки, но вместо его розовощёкости увидела она улыбистые усищи Васьки, и невольно осенила себя крёстным знамением.

— Фу ты, дьявол! — простонала она. — И как подкрался-то, окаянный — я не услышала!

— Да мы и не подкрадывались, — оправдывался тот, присаживаясь на свой наследственный край лавки и дыша на тётку парами только что принятой опохмелки. — Ты, как померла, сидишь. Я уж напугался: думал, в такие-то прекрасные деньки придётся тебя к жмурикам волоочь. Хоть и не велика ноша, а всё хлопоты да пот...

— Ну, опять своё понёс! — отмахнулась от него Любовь Васильевна. — Что, поправил тебя дружок-то?

— Да уж, царство ему небесное! — выпалил Васька, не запнувшись. — Это я к тому, Жора, — обратилась он к стоявшему рядом братку, — что и нам положено его желать, а не только усопшим. Чем мы хуже их?!

— Ты давай о деле, — хмуро напомнил Жора, глядя куда-то вверх забора.

— Так я о нём и говорю, только ведь к тётеньке моей вечной сперва с прелюдии надо, с выходом, так сказать, из-за печки! — пояснил Васька. — Ну, а теперь вот

скажи-ка мне, любовь моя: надолго ты тут устроилась с узелком-то да трезвая? Всё ещё надеешься на Мишеньку?

— А как не надеяться, — вздохнула Любовь Васильевна, — когда больше и не на кого?

— Вот тут ты и не угадала! — возразил он. — Глядь, уж солнце выше ели, а Шишки твоего нет как нет. Тогда как я — вот он! Единственная в убогой жизни твоей надежда! Мы тут с Жорой покумекали и решили тебе пособить. То есть прямо-таки взять и свозить тебя в твою деревню, на самое бабкино лежбище...

— Ну и на чём же ты меня везти собрался? — усомнилась старушка. — Уж не на Жориных ли закорках?

— То не твоя забота. Главное, что от тебя требуется, это пойти и вытянуть из-под матраца тысячку рубликов: чтобы нам не скучать, куда ты над могилкой изводишься. Ты с маманькой будешь шушукаться, а мы тем временем костерок над речкой запалим, уху забачаем...

— А рыбы-то тоже ты, что ль, наловишь?

— А кто же?! — удивился Васька. — Сказал же, что я у тебя единственная надежда! За тыщу-то я тебе не только рыбы, но и бобров нащёлкаю да в котелок сложу. Ты не спрашивай, а соглашайся. Всё одно деньгу эту за неделю не заметишь, как пропьёшь, а тут тебе праздник будет, последний, надо заметить, в жизни. И речка с природой, и огонь, как во фронтовой печурке бьётся, и покойница под брюхом... Прикинь: даже если Мишка и свозит тебя туда когда-нибудь, так ведь сразу оттуда и вывезет. А мы... У нас хоть всю ночь до утра на бугорке горюй — никто тебя не сдёрнет. При том и в водочке цензу не будет — упейся хоть до кондрашки...

— Тогда надо полторы, — подсказал Жора, продолжая стоять перед ними мрачным столбом.

— Да куда тебе?! — урезонил его Васька. — Мы же считали: по три бутылки на рыло выходит с тёткиным хвостиком! А я вряд ли больше двух осилю — не тот уже норов. И что, двух литров тебе мало?

— В самый раз, — согласился Жора. — Только... вдруг она там, и вправду, очочурится?

— Не боись — не очочурится! Это же Кашей Бессмертный!..

И хотя знала Любовь Васильевна, что верить Ваське нельзя, что за бутылку он чего хочешь наобещает, а потом забудет, как случилось уже не раз за много лет их близкого соседства, — сейчас его обещание было столь правдоподобным, а Жора подтверждал его такую серьёзностью, что сомневаться было вроде бы и не в чем, особенно после того, как Жора достал из кармана мобильник, собираясь вызывать к лавочке сына с машиной...

2

А денёк-то, и впрямь задался такой ласковый, что глазам хотелось и простору вольного, и зелени природной, а не той, что застыла в оковах сплюсвивших их улицу со всех сторон многоэтажек. Любовь Васильевна даже помолодела лет на десять, когда к её лавке подкатил Жорин сынок на иномарке, и вскарабкалась на заднее сиденье без Васькиной помощи. А уж как оказались они после магазина за городом, да понесли, обгоняя все автобусы и поезда, вслед за солнышком, она и вовсе перестала жалеть свою тысячу и ещё бы к ней пару таких же прибавила, благо пенсия была всего три дня назад получена. Да хоть бы и последние гроши от неё отдала она — не

спокаялась бы, ибо остро чувствовала, что уезжает от этого города, как и от всей постылой жизни своей, безвозвратно.

— За час домчимся! — веселился Васька, свинчивая пробку с новомодной бутылки, и не соврал: когда пол-литра эта была под огурчики с сосисками уделана, они уже ехали не по асфальту, а по заросшей высокой муравой дороге вдоль речного берега, и Любовь Васильевна сердцем узнавала родившую её землю и небо над ней.

— Вот я и дома! — всем телом засмеялась она при виде заросшего берёзами среди сосен и елей пригорка. — Вон там деревня моя, а тут кладбище!..

И хотя никто, кроме неё, ни деревни, ни крестов на погосте не увидел — ей поверили безропотно и даже похвалили её столь бережно сохранённое зрение, какого и сама она от себя не ожидала. Не ожидала она и такой явной встречи с родиной, о которой была наслышана, что её уже и нет, что только чапыжи колосятся на месте изб, садов и огородов, а по церквушке, что у кладбища, можно с косою гулять.

— Соврали! — пробурчала она, спустившись из машины в траву и не вспомнив об оставшихся под сиденьем тапках, но к кому относился её упрёк — пояснять не стала, хотя Васька смотрел на неё именно в ожидании пояснения. Видно было, что не одна только водка, которую Жора вытащил из багажника вместе с закусками, интересует его, и Любовь Васильевна вдруг обрадовалась этому, словно признакам жизни на лице причисленного к покойникам больного.

— Чего соврали-то? — наконец, спросил он, закурив и не переставая оглядываться, как в чужом сарае. При этом ни в опухших глазах его, ни в сутулой спине, обтянутой заношенной до дыр джинсовой рубашкой, не осталось и следа от давешнего ехидства, словно пыльным мешком кто-то стукнул его по ершистой седой голове.

— А ведь это и твоя родина, — напомнила Любовь Васильевна. — Чай, и мать твоя, и бабка, и дед — все здесь народились. И сколько наших возле той вон церковки лежит — не считаешь.

— Так, может, ты и колокола на этой церкви видишь? — всё же не удержался от насмешки Васька.

— И колокола там, — подтвердила она, высоко, так, что сполз платок, задрав голову и вглядевшись в плывущий по белёсому безоблачному небу свод колокольной и сверкающий в солнечном круге крест.

— Да-да-да... — то ли подыгрывая ей, то ли и сам что-то разглядев над лесом, задумчиво промышчал Васька и вдруг потупился, словно устыдившись при виде не только колокольной и креста, но и ещё чего-то, что не открылось старушечьим глазам.

«Конечно, зрение у него ещё молодое, — подумала Любовь Васильевна. — И, знать, не совсем пропил он его. Может, ещё и оклемается да за ум возьмётся...»

Эта надежда была у неё давней, и давно уже поняла она, что Васька, хоть и кот, но больше всех родной для неё. Не повезло ему с отцом, а потом с друзьями, и мог бы он, как Мишка, в начальники выбиться или по торговой линии преуспеть, как «бронированные» Рудик с Розкой, если бы не устроил из своего дома проходной двор, привечая всякого забулдыгу. Ведь кто вот этот Жора? С виду мужик приличный, одет всегда в новое, даже золотой перстень на пальце носит, на дорогих машинах ездит. Любовь Васильевна хорошо помнила его мать с отцом, живших на соседней улице, но вечно сидевших на базаре то с цветочками, то с платочками. Их все так и называли «спекулянтами», когда ещё это прозвище было ругательным. И Жорик у них рос на всём готовом, ни в чём нужды не знал, как сыр в масле, и на других мальчишек свысока поплёвывал, однако и выпить был горазд, а во хмелю превосходство своё выказывать. Ну, и довыказывался до тюрьмы, укокошив собутыльника, и пошло-поехало... Теперь вроде угомонился, дело какое-то завёл, на богатенькой женился, но

как запьёт — к Ваське прётся душу свою лечить, будто она у него есть. У самого денег куры не клюют, а принесёт всего одну бутылочку и ладно, потом неделю Васька его похмеляет да кормит, когда самому жрать нечего. Так и другие: чуть что — к Ваське. Жена из дому выгонит — Васька приласкает, с работы турнут — Васька успокоит, после тюрьмы деваться некуда — опять же у Васьки можно приютиться. А то, что из-за них от него жена вместе с дочкой ушла, то, что сам он в одних и тех же рваных штанах хуже бомжа живёт, никому и дела нет. А ведь и образование ему Манька дала, так что мастером на заводе какое-то время был, и книжек целую прорву прочитал, и в огороде у него, как на выставке, — а вот, поди ж ты, не сумел свою жизнь сложить. И не только вино тому причиной. Однако сказать, что же, если не вино, Любовь Васильевна не могла, сколько об этом ни думала.

Теперь же ей захотелось просто остаться с Васькой вдвоём на родимой земле, где и помереть на его руках было бы в самый раз, так что она даже ощутила ветерок этой запоздалой смерти и готова была заплакать от счастья. Расстаться с жизнью там, где сто лет назад случилась встреча с нею, — это нынче мало кому Бог даёт.

— Пойдём со мной, Вася, — жалобно позвала она, и он вдруг не заартачился и даже не пожалел об оставляемых на совести Жоры бутылках, а только посмотрел на её босые ноги, ухмыльнулся и обнял тётку, как девушку, трепетной рукой.

— Я тебя ждать не буду, — прохрипел Жора, располагаясь недалеко от дороги на бережку, но Васька даже не обернулся к нему, словно того тут и было, хотя и сынок на машине ещё не уехал и, видимо, собирался купаться, и в воздухе витал тухлый душок чужих, посторонних здесь людей.

— Давай сперва на деревню поглядим, — предложила Любовь Васильевна и пошла, смело наступая иссохшими пятками на мягкие травяные кочки, вдоль берега, поглядывая на реку и стараясь уловить закутаным в морщины носом запаха далёкого детства. И хотя от той реки, какую помнила Любовь Васильевна, остался жалкий ручеёк, хотя деревенская околица с ригой, овинами и амбарами вдоль берега и вовсе скрывалась за молодой берёзовой рощицей, а водяная мельница давным-давно уплыла по половодью вместе с плотиной, — воздух был всё тот же: родной и не испорченный ни лютым временем, ни тщетными людишками.

Тут представила она, как посмеивается обманувший её племянник Мишка, думая, что она всё ещё сидит на своей трухлявой лавке у дома и упрямо дожидается его, невзирая на неумолимое приближение вечера, а там и сумерек, и ночи. «И ведь настала бы эта ночь, — подумалось ей, и сжалась грудь от забытого после войны страха не успеть к стонущему в прострелянной темени бойцу. — И что бы я в ней стала делать? Слушать Васькин пьяный храп за стеной да мышиную возню за печкой? И доколе?..»

— А ведь, и правда, соврали, — сказал Васька, когда они миновали рощицу и ступили на деревенскую улицу. — Сказали, и следа не осталось, а тут прямо как в Херсонесе: того и гляди, какой-нибудь древний грек из развалин выпрыгнет!

Но если Васька видел пока только замшелые кирпичи фундаментов в крапиве да сваленные в кучи гнилухи за опавшими жердями изгородей, Любовь Васильевну её деревня встретила во всей минувшей красоте. Скрытая от жаркого солнца густой листвою кряжистых лип, берёз и дубов, застенная по задворкам зарослями терновника и вишни, распушившая палисады из калины и шиповника и поющая голосами верных родине грачей, она была так хороша, что даже Васька умилился и вдруг прозрел.

— Ну и которая же изба наша? — спросил он, глядя по сторонам уже не как вор, а просветлевшим и трезвым взглядом. И когда тётка привела его к своему родительскому дому с журавлём-колодцем напротив ворот, он нежно погладил бугристую

кору посаженной ещё его прадедом Василием ветлы и прислонился к ней щекой, закрыв глаза и блестя повисшими на ресницах слезинками.

— Вот и хорошо,— сказала себе Любовь Васильевна, однако к чему относилось её одобрение, она не задумалась. Может быть, к долгожданым Васькиным слезинам, каковых она никогда на нём не видела, а может, к столь счастливому концу своей жизни, о каком даже нынешним утром и помечтать не смела. Ненужными вдруг стали ей такие ничтожные, в сравнении с чувствами, раздумья. Не имели они никакой ценности ни теперь, ни — поняла она — в течение всей её жизни. И как при взгляде на оттаявшего, подобно грядке по весне, Ваську только и сказалося ею, что это хорошо, так и во все годы, начиная с первых шагов по этой вот деревенской улице, все происходившее имело лишь два значения: или хорошо, или



плохо. Плохо, что после детства началась не радостная юность, а фронтовое взросление, и хорошо, что не только война закончилась победой, но и своё место в жизни было найдено без малейших поисков. Плохо было сидеть с утра до вечера на лавке у ворот и вглядываться: не идёт ли смерть по её душу, и хорошо, что она не пришла к той лавке, а дала приехать к отчему дому. Плохо, конечно, что Васька кроме как на пьянство вышел в этой жизни не способным, однако что может быть в мире лучше вот этих его слезинок, за которые, может быть, и отдавали жизни годные ему теперь в сыновья, но не ставшие отцами бойцы. Ведь если нашлись в нём эти слёзы, значит, есть и боль, которая на пустом месте образоваться не может...

— Ну что, Кащешка, поживём мы ещё с тобой? — спросил вдруг Васька и прижался к тётке так же, как к дедовской ветле, хотя была она старше и корявей этой ветлы.

— Да,— кивнула Любовь Васильевна и напонила: — Теперь уж и к могилкам можно подаваться.

— Подадимся — не вопрос! Но сперва скажи мне, чего обещала-то?

И хотя она не помнила, что когда-нибудь обещала сказать ему чего-то, однако почувствовала, что, и впрямь, пришло самое подходящее время высказать самое главное, чтобы осталось в его душе это главное на все времена.

— Хорошо здесь,— с болью выдохнула её грудь.— Лучше, поди, только на том свете будет...

— Эх-х! — промычал, как подстреленный, Васька, сжав костлявые пальцы в кулаки и зачем-то подняв их к высокому небу.— Верно, говоришь. Но рано нам ещё на тот свет. Значит, ещё поживём...

На кладбище она пришла одна — Васька отправился к машине, обещав принести на бабкину могилу положенный в таких случаях помин.

— Так вот же он,— напомнила Любовь Васильевна, показав собранный ею утром узелок, но он уже спешил, не оглядываясь, к орущему за околицей пьяные песни Жоре...

Пока искала она глазами родимый бугорок с крестом, ноги сами вели её к нему, несмотря на то, что становилось им всё больнее нести надоевшее тело по усыпанным сосновыми иглами кочкам и буграм, среди которых прятались и камни, и склизкие шляпы грибов. Грибов, один краше другого, было так много, что хотелось их все сорвать в подол, да не было сил нагнуться, а Васька не очень-то к ней спешил. Но допустить, что он о ней позабыл, вернувшись к бутылкам и сосискам, Любовь Васильевна уже не могла. Ибо видела перед собой другого Ваську — не того, с которым прожила бок о бок целую жизнь, выпавшую ей в довесок к собственной, а нового, будто только что народившегося и столь беззащитного, что хочешь-не хочешь, а живи вот рядом с ним, откуда он не окрепнет, как эти боровики, которые сшибить босой ногой или вытащить с корнем из моха не сразу сможет и такой бугай, как Жора.

Конечно, Любовь Васильевна понимала, что это всего лишь её мечты, что и времени у неё уже нет для Васьки, и самого Ваську может исправить, как того горбатого, только могила. И всё же так желанны были ей сейчас эти грёзы, что на какое-то время она даже забыла, зачем и пришла-то в этот лес, в котором было больше грибов, чем могил, хотя и сейчас она не сомневалась, что стоит где-то тут и крест над дорогим её сердцу бугорком, и церковь со звонкой колокольной. Может быть, приди к ней Васька сейчас — она бы с радостью привела его к тому кресту, у которого они расположились бы как дома на лавке и завели бы неспешный и тихий разговор о печальной отчей земле. И не беда, что для Васьки она только по её же рассказам отчая, а сам он больше похож на своего непутёвого отца и даже усищи отрастил такие же чапаевские, чтобы выказывать ими своё геройство, — главное, что им и здесь, среди родных могилок, было бы так же хорошо, как возле посаженной дедом Василием ещё до войны ветлы.

И больно ей стало, когда вместо тихого разговора донеслись до неё с реки пьяные крики, а потом и гул мотора заведённой и, видимо, тотчас уехавшей прочь машины. От этой боли даже ноги её вдруг подкосились, и Любовь Васильевна опустилась в жёсткую траву у заржавелого памятника с оторванным от его головы распятием, а выпавший из рук узелок скатился под корень вывороченной ураганом сосны. «Видно, и впрямь, сейчас помру», — без страха, но и без радости прошептала она, и вдруг слёзы потекли из её тяжёлых глаз от осознания своего бессилья и глухого, как стук уставшего сердца в ночи, одиночества.

Безлюдьем веяло на неё со всех сторон, и не только этот заброшенный погост — вся земля сделалась безнадежно пустой, словно пронёсшийся по ней ураган вырвал корни не только у старой сосны, но и у всего согнившего вместе с кладбищем люда, унесённого буйным ветром в какую-то чужедальнюю темень, из которой уже не будет возврата. Вот и от тех, кто привёз её сюда, и от тех, кто привезти поленился, уже и след простыл: ни слова, ни крика, ни вздоха; даже просветлевший было Васька подхватился вместе с ними. «И мне пора, — решила Любовь Васильевна, — только не в чужую, а в нашу сторону...»

Однако мысль о Ваське всё ещё крепко цеплялась за неё, не спеша отдавать объятиям смерти, и если себя Любовь Васильевна сознала безконечно одинокой, хотя её уже давно ждали в родной стороне и мать, и все те, чьи косточки мирно посапывали

в их укромных гробах, то Васька, если не укатил со своим дружкой, оставался совсем уж никому не нужным. А что он не укатил, она вдруг почувствовала так же явственно, как булыжник у себя под боком, умирать на котором было ей и не ловко, и стыдно, будто она сама из вредности положила его на незнакомую могилку.

Как ни тяжело было ей опять подниматься для жизни, она нашла в себе силы и спихнуть этот камень под тот же сосновый корень, и выбраться из кладбищенской чащи на дорогу, и разглядеть недвижно лежавшего у самой реки Ваську. Когда же добрела она до него, еле-еле волоча онемевшие ноги по вдруг окаменевшей под ними земле, — и одиночество, и родная сторона, и сама тенью крадущаяся за нею смерть испугались представшего перед ними лиха. Не седой, а красной от крови была Васькина голова, и только усы торчали на ней, будто приклеенные сидевшим среди втоптаных в песчаный берег закусок и бутылок вороном.

... Опасаясь шальных и снайперских пуль, она плотно прижалась грудью к земле и поползла к бойцу по-пластунски, издали осматривая его раны. Похоже, не один снарядный осколок обрушился на него, давно поседевшего в предчувствии их, но не приседавшего перед ними, а вставшего им навстречу в полный рост, ибо проломлен был не только лоб его, но и грудь, в которой ещё стояла жизнь, как тёплая кровь в открытых ранах.

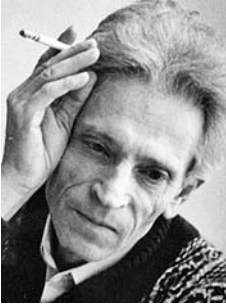
— Оставь... Не трогай меня, — прошептали его умирающие губы. — Мне уже не больно...

И поняла она, что даже если очень захочет — уже ничем не сможет ему помочь, ибо и перевязать, обработав, его раны ей было нечем, и дотащить его беспомощное полуживое тело до лазарета у неё не хватит сил. Да и где теперь располагается тот лазарет? Даже в той стороне, откуда прибыли они сюда, и куда уехал со своим сынком озверевший Жора, вряд ли можно было его отыскать. Никогда и никто не отыщет и их в этой покинутой людьми глухомани, и значит, будут они тут поживать, как выразился Васька, одни, пока Бог не увидит их со своей вырванной, как белый гриб, из земли, но сияющей в небе вечным крестом колокольни...



ПОЭТЫ УХОДЯТ, СТИХИ ОСТАЮТСЯ

НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ



КОМНАТА СМЕХА

Поэма

I

Что прошло, то однажды воскреснет...
Принимая судьбы маету,
пробудился я ночью от песни,
весь в слезах и в холодном поту.
А слова её были простые
(не простые — душой не криви):
«Начинаются дни золотые
воровской непроглядной любви!»
Забулдыга, видать, окаянный,
под моим примостился окном
и, рыдая на пару с баяном,
всё хрипел и хрипел об одном.
Был надрывен мотив, и банальны
позабывшие были слова,—
что ж я плакал в супружеской спальне
так, что юзом пошла голова?!
Где паденья и где наши выси —
не могу отличить до сих пор...
В сорок пятом в вражней Арыси
беспризорный дымится костёр.
И какой-то ворюга «в законе»,
снизойдя до сопливой братвы,
так и режет мне по сердцу: «Кони...
Чёрны-вороны кони мои!..»
А потом, чтобы нас наизнанку,
он с таким же надрывом, точь-в-точь,
прогоняет вдоль грифа «Землянку»,
«На позиции», «Тёмную ночь»...
Мне казалось, я выплакал слёзы,
стоны выстал, высмеял смех,
от стихов опустился до прозы,
чтобы жить-поживать без помех.
Но в напеве, который однажды

проникает в тебя навсегда,
слишком много надежды и жажды,
неразбавленных солью стыда.
В нём слова и мотив не раздельны —
горше водки и слаще вина,
даже памяти посох скудельный
не нащупает зыбкого дна.
Докопаться до полного смысла
не помогут ни зренья, ни слух,
как ни меряй секунды и числа,
не измеришь ты времени дух.
Да какой уж тут к бесу анализ,
если разум с душой на лету
поделились, потом поконались
и друг с дружкой играют в лапту.
... Я срываюсь с постели, да поздно:
«Вороных уж теперь не догнать...»
И, шатаясь, бреду, как тифозный,
свой размеренный век досыпать.

Но — во сне! — я вскочил от испуга:
кто-то грозный, как Гамбургский счёт,
загоняет меня в Пятый угол,
а из Пятого Время течёт...
Я хватаюсь руками за темя,
я пытаюсь уйти из угла,—
засосало болотное время,
затянула туманная мгла.
Не явленья, не люди, не вещи,
а лохмотья каких-то идей
наплывают, смутны и зловещи,
будто я лиходей и злодей.
Сон во сне? — я ни в чём не уверен,
потерял от рассудка ключи,



кто-то странный, чей облик утерян,
мне из зеркала шепчет: «Молчи!»
Сон во сне, точно в ярусе ярус,
завершающий купольный свод,
двуединый, двуликий, как Янус,
перепутавший выход и вход...

«Стали дни твои быстро бегущими,
горизонты сужаются в круг,
перед встречу с райскими кущами
чем заполнишь последний досуг?
Млечный путь распростёрт мартирологом,
Время гонит и гонит — спеши
точно в юрту с опущенным пологом —
в закоулки и дебри души.
Твой Пегас застоялся до одури,
встрепенись и вскочи на коня,
сторонясь скопидомов и лодырей,
пронесись, бубенцами звеня!
Только тот, кто пропахнет пропажею,
обретёт провидения нить
и сумеет словесною пряжею
бестелесное в плоть воплотить!»
Так обещано, так мне завещано
в многоярусном сне и во тьме,
но внезапно разрывы и трещины
обнажились в душе и в уме...

Ну и бред!
Хоть заглядывай в сонник...

Занавеской процеженный свет,
под луною просел подоконник,
вздыбил рёбра лимонный паркет.
Полусонной души картотека
отвергает мистический сон.
«Просыпайся, ты прожил полвека!» —
слышен голос, похожий на стон.
И сознание моё раскололось —
это стон моего двойника,
в подголоски дробящийся голос
мне аукает издалека...

II

За детдомовским садом крапива,
пёстрый луг, камыши, купыри,—
как познать это дивное диво,
если смотришь на жизнь изнутри?
В многоликом расцветченном мире —
люди, лошади, травы, цветы,
дважды два — почему-то четыре,
непонятно, где ты, где не ты...
Ты и есть довоенное небо,
довоенная речка и луг,—
двуединые дух и потреба
в карнавале друзей и подруг.
Но не детская память свидетель,
вся в зарубках и в твёрдых узлах,
развяжи — и услышишь, что дети
говорят на иных языках.
Мягкий польский и твёрдый немецкий,
и привык ли ты к ним, не привык,—
это общий, обыденный, детский —
слёз и смеха всемирный язык.
Так росли мы иль так нас растили...
«Так растили?! Давай не темни!
Посреди чернозёмной России
эти дети — откуда они?»
Что придумать и что мне ответить
недоверчивому двойнику?
Я не сыч, не петух на рассвете
и не ворон на чёрном суку.
Как проникнуть во взрослые игры,
как постигнуть, что жизнь на кону,
если «тигры» — словесные титры,
если войны — лишь игры в войну?
... Дети тех, кто бежал из Европы,
покорённой, закованной в страх,
кто тюремный удваивал опыт
в Воркуте и в других лагерях...

«Согласись, что запретные темы,—
 собеседник стоит на своём,—
 соблазнительны, как теоремы
 в окруженье пустых аксиом?!»
 ... Хоть крестись, если веруешь в бога,
 с двойником далеко ль до греха,
 зазеркалье — кривая дорога...
 Чу! Предутренный крик петуха.

У Маруси короткая стрижка,
 быстрый взгляд и друзей миллион,
 а один семилетний мальчишка
 безнадежно в Марусю влюблён.
 Потому что ни с кем не сравнима,
 потому что прекраснее нет,
 и значок Осоавиахима
 довершает Марусин портрет.
 Ты шпионишь, ты ходишь кругами,
 ты считаешь себя подлецом,
 но тебя не отвлечь пирогами,
 не купить золотым леденцом.
 ... Усмири свои глупые чувства
 и воздушные замки не строй:
 друг Маруси — испанец Августо —
 твой кумир и всеобщий герой.
 С полуслова у них, с полувзгляда
 общий дух и единый язык,
 у Августо отец Камарада,
 у Маруси отец Большевик!
 Дядя Сева — большой, громогласный,
 награждённый почётным клинком,
 а какой он рассказчик прекрасный
 красный конник и райвоенком.
 Может, стал я на чувства скупее,
 но с годами сильнее и больнеей
 сладкий запах его портупей
 и скрипучая хватка ремней...

«Стоп! С начала!» —
 двойник или Некто
 смотрит в душу глазами совы,—
 это он, воспитательный сектор,
 подголосок толпы и молвы...
 Трезвый разум, души соглядатай,
 это он меня гонит к столу,
 это он, затолкав меня в Пятый,
 сам устроился в красном углу.
 От него не отделаться словом,
 ни мольбою, ни строгим перстом,

все пять чувств моего душелова
 обретаются в чувстве шестом:
 он на страже престижа и плоти,
 он на стрёме — и совесть чиста,
 так лягушка живёт на болоте
 и целует кувшинку в уста.
 То он призрак, то зрак зазеркальный,
 проникающий в мысли и сны,
 полустёртый рисунок наскальный,
 иероглиф другой стороны...
 Вот сейчас, вот сейчас из-под спуда
 он достанет резную печать,
 заклемит ею души, Иуда,
 и заставит за всё отвечать.

«Ваши грёзы и ваши признанья,
 несмотря на недюжинный пыл,
 только щепки в потоке сознания,—
 как ты плыл и куда ты приплыл?
 «Пятый угол»... «Двойник»...—
 Чертовщина!
 Сивый бред — и цена ему грош...
 Пятьдесят — это, брат, Годовщина,
 тут игра пострашнее, чем ложь.
 Над тобой твои годы нависли,
 точно в позднюю осень плоды,
 собери урожай и осмысли
 заблужденья свои и труды.
 Не отвечивай лишних поклонов,
 ты не ангел, но ты не злодей,
 только знай, что судьба миллионов —
 это судьбы отдельных людей.
 Позабудь о цветах и закатах
 и начни: появился на свет
 где-то там, в середине тридцатых
 при недобром стеченье планет.
 Падал снег или сеялся дождик,
 не входя в поэтический раж,
 нарисуешь для фона, художник,
 подходящий и скромный пейзаж...»

Я бы рад, да прошедшего ветра
 не заманишь на круги своя,
 никакие бредовые ретро
 не догонят виток бытия.
 Каждый день я рождаюсь сегодня,
 чтобы завтра дожить до седин...
 Время, ты повитуха и сводня,
 кто я, пасынок твой или сын?



Чей там хохот и взгляд исподлобья?
 Чьи там губы, ресницы и рты?
 «Эти призраки, эти подобья —
 ты вчерашний и нынешний ты...»
 От себя не уйти, не уехать,
 заповедны любые края,
 а в душе, точно в комнате смеха,
 толчея моих тысячи «я»...

III

Что ж, начнём...
 Отзвенели капли,
 и сирень отцвела под окном,
 птицы пели, деревья скрипели
 об одном, об одном, об одном:
 как теплы материнские руки,
 как широк и высок небосвод...
 Ощущения, запахи, звуки...
 Слово «Сталин» и слово «народ»...
 Чьё-то шарканье, шорох и шёпот:
 «Неожиданно взяли вчера...»
 «Но ведь возраст, заслуги и опыт?!..»
 «Заблужденье?.. Ошибка?.. Игра?!»
 Все привычнее слово «страданье»,
 Всё навязчивее — «воронок»...
 Вдруг — звонок среди ночи...
 Рыданье...
 Звон посуды и грохот сапог...
 ... Ночь пройдёт, и черту под потерей
 подведёт наступающий день:

прищемит опечатанной дверью,
 что-то сдвинет в душе набекрень...
 В память врежутся песни «О встречном»,
 о «Каховке», о «крепкой броне»,
 голос мамы затихнет навечно,
 а отец не придёт и во сне...

Как рассудочно, смутно, несмело
 на бумагу ложатся слова,
 воронёное «слово и дело» —
 запредельный порог естества.
 Ведь и после двадцатого съезда,
 а по правде сказать — до сих пор —
 холодеешь, когда у подъезда
 прорычит полуночный мотор...

В колыбели тебе подыграли —
 погремушки, цветные шары,
 ты поверил в свои пасторали,
 не постигнув законов игры...
 Только ангел притронулся в детстве,
 тут же дьявол ступил на порог,
 отсекая причины от следствий,
 он навеки запутал клубок.
 Но над пропастью нет перехода,
 если выжить тебе удалось,
 милосердная к людям природа
 отодвинет тебя «на ось»...
 Но когда нами властвует случай,
 исключенье из правил земных,
 каждый холмик покажется кручей,
 каждый ворон — из тех вороных...

Те в шинелях, а эти в кожанках,
 в белозубой, безусой поре,
 на дворе было пыльно и жарко,
 сорок первый стоял на дворе.
 Бесфамильные Гришки да Ваньки,
 мы стояли в сторонке вразлад,
 возле серой детдомовской баньки
 разместился солдатский отряд.
 Из ближайших, видать, деревенек
 провожали сестра или мать,
 как крестил, как огуливал венник
 их мужскую поджарую статью!
 Те в кожанки, а эти в шинели
 затянулись, построились в ряд,
 до войны остаются недели,
 на околышах звёзды горят.

Посреди комиссарского детства
ты остался с распахнутым ртом –
надышаться на них, наглядеться
за вчера, за сейчас, за потом...
Над Свапой висают стрекозы,
в небе коршун готовит бросок,
иссушает Марусины слёзы
золочёный прибрежный песок.
Гогоча, приближаются гуси,
нарастает мальчишеский свист,
потому что отец у Маруси
враг народа и скрытый троцкист.
Звеньевая и парашютистка,
покорявшая наши сердца,
прямо с неба упала так низко,
что взяла под защиту отца.
Под защиту – прямая крамола...
Отщепенцам прощения нет,
у Маруси райком комсомола
отобрал комсомольский билет.
А всеобщий любимец Августо
увезён неизвестно куда...
Не эпоха, а ложе Прокруста,
безразмерной секиры страда.

IV

Выйти за город травами росными,
побродить у остывшей реки,
кто там светит меж сонными соснами,
или это горят светлячки?
За рекой просыпается пригород
накануне рабочего дня,
я и там, я и здесь, точно Фигаро,

лишь в душе моей нету меня.
Всем насущным душа не насыщена,
дуновение звёздных ветров
разрывает и гонит, как нищего
от дворцов и от сельских дворов.
Одуванчик, с рябиной соседствуя,
спит, но бодрствует в думах моих, –
перепутал причины и следствия,
оторвался от связей земных.
Озадаченный и озабоченный,
взбаламученный сном, как вином,
я стою у болотной обочины –
вижу звёздное небо вверх дном...

Млечный путь. Тополя. Маттиолы.
Но ни звука и ни ветерка.
Существительные и глаголы,
как станочник, стоят у станка.
Заготовки темны и невзрачны,
нереальны в предутренней тьме,
лишь всевидящие телемачты
ловят небо, себе на уме...
Ночь – нашкодивший кот-подзаборник
укрывается в Пятом углу.
Просыпается пасмурный дворник,
ставит чай и готовит метлу.
Чтобы люди, деревья и птицы,
шелестя, дребезжа и звеня,
записали на чистой странице
все события нового дня.
Никакой тебе мистики! Город,
разодетый легко и пёстро,
заполняет цеха и конторы,



чтобы зло переделать в добро.
Чтобы вечной заботой о брюхе
унавозить духовный пустырь,
то слона сотворяя из мухи,
то из радуги — мыльный пузырь...

Проводив на работу домашних,
отрешиться от лунного сна
и, склоняясь над собственной пашней,
в глубину зарывать семена.
У черты между снами и явью
на съеденье молве или впрок
всунуть горло в захлестку удавью
ради нескольких строф или строк.
Погрузиться в наплыв вариаций,
воспарить или — камнем ко дну,
проиграться, но вдруг отыграться,
по наитию выбрав одну!
Ничего не оставить на завтра,
выжать соки из тысяч «вчера»
и в порыве слепого азарта
невозможное взять «на ура»...
Кто придумал такую работу:
припадая к перу, как к ружью,
вместо жизни устроить охоту
не на дичь, а на душу свою?..

Мне бы увидеть звезду из колодца,
мне бы спеть свою песню с листа,—
не поётся, совсем не поётся,
немота, немота, немота...
Застоялась судьба, как болото,
ржавой ряской душа поросла,
полный штиль — ни паденья, ни взлёта,
под рукой ни багра, ни весла.
Зеленеет от скуки бумага,
цвет и запах теряют цветы,
Время тратит секунды, как скряга,
из копилки моей немоты.
Блёстки мыслей, обрывки мелодий,
отражения гор и морей,—
неужели в зеркальной колоде
больше нет для меня косырей?
Тут нахмурился, там усмехнулся,
тут с тоской, там с надеждой в зрачках,—
отраженья потуг и конвульсий
застывают в кривых зеркалах.
В полынье равнодушия вымок,
весь пылаешь, но Некто в душе

подменяет цветной фотоснимок
грязно-серым свинцовым клише...

«Ты копал в глубину, как старатель,
но зарылся в себя, точно крот,
что нашёл, то с годами растратил,
примирился с сумою, банкрот.
Впереди не дорожка, а бровка,
ты не смог усидеть на коне,
у тебя не Пегас-полукровка,
чистокровный в чужом табуне.
Муза-женщина, ей не впервые
отдавать свой огонь молодым,
пусть подхватят они, молодые,
шлейф, вздымающий пепел и дым...
Над тобой проживает профессор,
под тобой проживает прораб,
ты бы мог меж трудом и прогрессом
простереть свои шупальцы, краб.
Ты блажной, ты блаженный и нищий,
надо жить, как живут за стеной,
если гредишь небесною пищей,
то рискуешь лишиться земной...»

Неба много. Оно голубое.
Для любого найдётся клочок.
«Попирающий пол над тобою
попирает и твой потолок...»
Что ж, соседи достойные люди.
Высший — сверху, а низший — внизу,
упомянем, но трогать не будем
родовое бельмо на глазу:
иерархия — вечное кредо
всех народов и всяких времён,
это общая наша победа,
это высший на свете закон...
Мой сосед — толкователь Толстого,
но, заветам его вопреки,
он, любитель народа простого,
не подставит учёной щеки...
Аспиранты и абитуриенты —
то приём, то диплом, то совет...
Что-то вроде пожизненной ренты,—
в ногу с жизнью идёт толстовец...
А прораб настоящий трудяга,
семьянин, и его ли вина,
что в теперешнем мире и шага
невозможно ступить без вина,
что кирпич и раствор, и проводка

в государственных Пятых углах,
что ходатай единственный — водка —
заменяет и совесть, и страх...

V

Трезвый разум, держа меня в страхе,
в стороне от возможных грехов,
то мне в руки суёт альманахи,
то журналы, то книги стихов.
Предлагает водицу и ступу,
чтобы я без ошибок и проб,
изучая других через лупу,
на себя наводил телескоп.
Я пытаюсь руками потрогать,
обозначить, как виды грибов:
это страсть, это грязная похоть,
это дружба, а это любовь...
Не выходит — я чувствую кожей,
как душа обращается вспять,
чтобы промысел чей-то отхожий
божьем промыслом мог я считать.
Стружки мыслей да общие строки
вербовать напрокат и внаём
да внимать стрекотанью сороки,
притворяющейся соловьём.
Чтобы я между богом и чёртом,
как Иван, что не помнит родства,
взял взаймы у судьбы круг почёта,
не считая за грех воровства...

Юбилей. Немота. Наваждение:
в толщу лет опустить эхолот,
если эхо отметит паденье —
что ж, падение — тоже полёт...
Или свистнуть в свирель камышинки,
и застойная плесень куги
обнажит золотые кувшинки
и погонит, погонит круги...
...Мир непознанный — мир беспричинный,
как он в детстве скрывает нутро!
Где-то найденный нож перочинный —
и богатство твоё, и добро.
Вожделенным и хитрым железом,
если с ним познакомиться вплоть,
можно сделать свисток и зарезать,
сделать дудочку и заколоть...
А слова, а улыбки, а жесты
над поверхностью качеств и числ:
«Тили-тесто жених и невеста!» —

озорной и волнующий смысл...
В ходе жизни и в ходе ученья
на тебя надевают узду
и, ещё не открыв назначения,
прививают, как оспу, беду.
По шажку приближаешься к Шагу:
гордый тем, что умеешь писать,
ты бездумно подпишешь бумагу
и осудишь родимую мать...
Эти лозунги, песни, парады
заглушат колыбельный мотив,
но в душе нарастают распады
и подспудно готовится взрыв...

Было время — дрожали колени,
ветви сердца роняли листки
от заплочной расплывчатой тени,
от обычной житейской тоски.
Было время — ничтожная малость:
шорох платья, дымок резеды —
и в восторге душа подымалась
от канавы до ранней звезды.
Это Муза, пришпорив Пегаса,
словно в цирке, на полном скаку,
вытворяла свои выкрутасы
так, что каждое лыко в строку!
Я прошу у неё: «Раскошешься!
Вместо солнца взойди надо мной,
дай побыть мне и звёздным пришельцем,
и бескрылой букашкой земной...»

«Нет! Теперь я тебе не учитель,
сам садовник — возделывай сад,
ведь поэт — постановщик, и зритель,
и актёр от макушки до пят.
На ошибки свои и потери
не набрасывай радужный флёр,
в круговерти интриг и мистерий
только правде не нужен суфлёр.
Не проси у меня вдохновенья,
ты, хитрец, не обманешь меня:
извлекай свой запас откровенья,
что припрятал до чёрного дня...»

Чёрный день оставляю на старость,
залезаю за словом в карман,
и пергамент, широкий, как парус,
направляет ладью в океан.
Ничего не боюсь — отбоюсь,

доверяюсь ночному рулю,
 пусть по прихоти звёздного галса
 назначается путь кораблю.
 ... До зари, до звезды ли вечерней
 от внезапных и щедрых даров
 измочалишься, как виночерпий,
 надышавшийся пьяных паров...

VI

Юбилей.
 Из приюта гармоний
 обратимся в божемный приют,
 ибо тем, кто не служит мамоне,
 отпущенья грехов не дают.
 — Говорят, он совсем исписался...
 — Бросил пить, присмирел и затих...
 — Что-то высосет снова из пальца...
 — Сволочь! Хочет быть лучше других...
 Я готов позабыть день рожденья,
 что за каждый мой крохотный взлёт,
 доброхоты в отхотничьем бденье
 бьют меня, точно вальдшнепа, влёт.
 Шепотков анонимное эхо
 разрастается по виражу, —
 я отходчив, я в комнату смеха
 всех желающих снова ввожу.

Шляпы, галстуки, блузки и платья —
 ничего не жалею — юбилей! —
 поцелуи и рукопожатья,
 поздравлений и здравниц елей.
 Бард с гитарой, поэт, архитектор...
 Все, кто зван и кому по пути,
 чьи-то жёны, подруги и Некто,
 уж не мой ли двойник во плоти?
 Тош и бледен — ни кожи, ни рожи —
 он явился сюда неспроста,
 мы с ним так зазеркально похожи,
 как распятый похож на Христа:
 я — сегодняшний, праздничный, праздный,
 вновь со щедрою Музой «на ты»,
 он — вчерашний, болотный, бесстрастный,
 весь во власти своей немоты.
 Я не против него, я не против,
 как-никак мы немного сродни,
 но боюсь, чтобы тень моей плоти
 не оставила душу в тени...
 Вот художник, поклонник Сезанна,
 одарённый и честный чудак

с бородой и душой партизана,
 обживающий пыльный чердак.
 Он владеет широкою кистью,
 но, в житейской борьбе неуклюж,
 осеняет осенние листья
 на поверхности пасмурных луж.
 Он романтик, ему не открылось,
 что другие у жизни в чести,
 наделённым талантом на вырост
 нелегко до судьбы дорасти...

Вот философ, очкастый и полный,
 этот, двигаясь только вперёд,
 несмотря на житейские волны
 перешёл философию вброд.
 Был рабочим, студентом, солдатом,
 пропахал миллионы страниц,
 мог бы стать кандидатом — куда там! —
 пациенту душевных больниц...
 Он, отдельный и оригинальный,
 адекватный себе самому,
 оторвался от масс — ненормальный,
 философствует — горе ему!..

Плодовитый и рыхлый прозаик,
 несмотря на обличье скопца,
 сквозь ресницы соседей пронзает
 снисходительным взором творца.
 Почитая народ простофилей,
 он кричит о добре и о зле,
 скудость чувств и убожество стиля
 испуская «любовью к земле»...

Вот приبلудный солдатик с подругой,
 чей-то шурин, а может быть, друг,
 в общем — «парень не нашего круга»,
 если он существует, «наш круг»...
 Для него наши вирши, как шлафор
 для молоденькой модницы, он
 в модный стиль мета-мета-метафор
 и в брейк-данс безнадежно влюблён...

Волосатый брюнет от асфальта,
 лысоватый блондин от сохи, —
 слаще мёда и твёрже базальта
 их поэмы, баллады, стихи.

Лысоватый сидит, подбоченясь,
 хлётски руки, спортивна спина,

он привык перепрыгивать через
 все поветрия, все времена.
 Пьёт на свадьбе, икает на тризне,
 похмеляется в каждом пиру,
 но зато, присягая Отчизне,
 он красно говорит на миру:
 «Распашу я широкое поле,
 разгуляюсь на вешнем лугу
 и своё золотое раздолье
 не отдам я злодею врагу!»

А брюнет?
 Извините-подвиньтесь!
 У него бы достало ума
 обуздать термоядерный синтез,
 доказать теорему Ферма.
 Методист и бесстрастный анатом,
 острослов, полиглот и знаток,
 он умеет мельчайший свой атом
 приструнить и направить в поток...

Описал бы других, но, признаюсь,
 глянец лысин и буйство волос
 вызывают не злость и не зависть,
 но обиду и жалость до слёз.
 Все таланты, пророки, провидцы,
 честь и совесть общественных групп,
 корифеи убогих провинций,
 обожающих собственный пуп.
 Все от скуки любители выпить,
 тет-а-тет подыграть леваку
 и оплакать несчастную Припять,
 словно чирий у нас на боку...
 Не случайно ханжи и кликуши,
 заглушая свой собственный «SOS»,
 призывают спасать наши души,
 возвышают свой голос до звёзд...

«Ты мастак посылать укоризны
 внешним силам, природе, судьбе,—
 как дошли вы до этакой жизни,
 проследи-ка, дружок, по себе!»
 Я бы мог...
 «Не кивай на сиротство,
 как ворона пугаясь куста,
 ты не раз променял первородство,
 а считаешь, что совесть чиста.
 Не к лицу тебе хлопать в ладоши,
 не к лицу замыкаться скорбя:

крест, что был твоей собственной ношей,
 он, единственный, вынес тебя...»

VII

Затрапезные юрты аула,
 пирамиды сухих кизяков,
 старики, как крючки саксаула,
 лай дворняжек да рёв ишаков.
 Суховой просвистит, как по нотам,
 слижет травы, засыплет песком,
 пахнет гарью, овечьим помётом,
 конским потом и злым табаком.
 О победе ни слуху, ни духу,
 похоронки зажав в кулаки,
 дохлаем свою затируху
 и пойдём собирать колоски.

Бак с водою застрял у арыка —
 не осилить уставшей руке,
 вдоль оврага растёт ежевика,
 дикий голубь орлит вдалеке.
 Может, он окликает подругу,
 что сидит над птенцами в гнезде,—
 в небе ходит стервятник по кругу,
 отражается в мутной воде.
 Мы сидим. Нам с тобою по восемь.
 Мы ещё не дозрели до слов.
 Если выживем вместе, то спросим:
 а бывает ли в детстве любовь?..
 Отчего нам легко и неловко,
 отчего ты внезапным рывком
 обнажённую тифом головку
 прикрываешь рогожным платком?..
 ...На старинном дунганском кладбище
 ни креста, ни могильной плиты,
 только ветер забвения ищет,
 нервы памяти вяжет в жгуты.
 Злая память, как сеть паутины,
 не придумают кисть и язык
 сотворённой природой картины:
 ежевика, стервятник, арык...
 Если есть на земле состраданье —
 чья вина на невинных плечах?
 Как могло погасить мирозданье
 столь смиренный и слабый очаг?
 Не ответит ни друг и ни враг...
 Даже разум готов на попятный,
 он не свяжет с концами концы:
 значит, солнцу положены пятна,

как цветущей степи солонцы...

О стихия случайных компаний!
 Ведь пока вы нуждаетесь в них,
 есть лекарство от самокопаний,
 от унылых гераней и книг.
 Пусть расплывчаты, пусть легковесны
 эти жесты, улыбки, слова,
 да не всё же пучины и бездны —
 иногда среди них острова.
 Хлебосольство — большая наука,
 нужно так запустить самотёк,
 чтобы самый отъявленный бука
 припустился откалывать рок.
 И уже от тяжёлого рока
 сотрясаются стены и пол,—
 вот он, дьявол, дождавшийся срока,
 металлической плоти глагол...
 В смрадном запахе пудры и пота,
 в диких жестах и в мимике лиц
 жеребиная зреет охота,
 нарастает экстаз кобылиц...
 Гомо сапиенс!
 Гомо цивилис!
 Добираясь до сути вещей,
 с кем мы сцапались,
 с кем мы сцепились
 ради джинсов и жирных борщей?..

Так шумит юбилей...
 И вдоль грифа
 прогоняет «цыганочку» бард,—
 он меня отвлекает от тифа,
 он в июль переносит мой март.
 Никогда я за прошлое не пил,
 неужели сдают тормоза,
 и кизячный сиреневый пепел
 застилает туманом глаза?
 Не вино, а кровавая накипь...
 Из глубин каменистой земли
 прорастали тюльпаны и маки
 и в укор человеку цвели.
 Забивали сады, огороды,
 брали штурмом холмы и поля,
 и в тифозном угаре природы
 под ногами ходила земля.
 Я готов поддержать менестреля,
 в юбилейный врубиться содом,
 мне бы только в начале апреля

из больницы вернуться в детдом —
 под диктовку весёлой и стадной
 и почти травоядной судьбы
 выводить на линейке тетрадной:
 «Всё для фронта» и «Мы не рабы»...
 Не рабы... Но ни хлеба, ни соли
 не хватает голодной братве,
 лишь стручки залежавшейся сои
 да бобов в прошлогодней ботве.
 Мы богаты душевным здоровьем
 (запоздалая совесть, молчи!)
 нам на счастье к родимым гнездовьям
 прилетали весною грачи...
 На деревьях, в степи, под застрехой
 птичьих гнёзда — утеха братьвы.
 ... А в сегодняшней комнате смеха
 проседают столы от жратвы...

Ледоколом пройдя меж торосов,
 укрощая стихию стола,
 пару истин измыслит философ
 для поддержки добра против зла.
 «Всё на свете пестро и ничейно,
 есть один абсолют — это страх! -
 А пространство и время Эйнштейна —
 разум жизни в кривых зеркалах.
 Мы всё празднуем — ваньку валяем,
 будто держим все нити в руках,—
 мир непознан и неуправляем,
 и таким его делает страх.
 Воля к власти — конечно, от страха,
 жажда славы — опять от него,
 ближе к телу — чужая рубаха! —
 кроме этого, нет ничего...»
 А закончит он пышною фразой,
 к налитому бокалу спеша:
 «Да, отец мироздания — разум,
 ну а мать мирозданья — душа...»
 ... Я, как автор, попутно замечу,
 поклоняясь большому уму:
 диалектика противоречий —
 адекватна ему самому...
 Импозантный, свободно-игривый,
 как художник, рисующий шарж,
 наш брюнет потрясёт своей гривой
 и предпримет ответный демарш:
 «Даже будь я рождённым в рубашке,
 я бы отдал удел мудреца
 за пыльцу белобрысой ромашки,

за дырявый лопух у крыльца,
за рассудочность женского взгляда,
что таит безрассудство души,
за строку, где ни склада, ни лада,
но живут и шуршат камыши...
В этом мире ничто не случайно,
если есть соловьи и цветы,
и — да здравствуют! — связаны тайной
жажда плоти и дым красоты!»

И внезапно, как сыч полуночный,
мой угрюмый, мой бледный двойник
то ли в пику мне, то ли нарочно
в долгосрочный срывается крик:
«Что ни шаг, то тупик или камень!
Если выглянуть в это окно,
нам покажется — небо над нами,
но под нами ведь тоже оно...
Невозможно ни сверху, ни сбоку,
под изломанным звёздным углом
разгадать и провидеть эпоху:
кто мы, что мы, куда мы идём...
Где то семя, та ранняя завязь,
из которых на свет родились
равнодушие, ненависть, зависть,
вечный двигатель злобы — корысть?
Нет! С какой бы космической точки
ты ни бросил свой призрачный взгляд,
не прорвёшь ты земной оболочки,
не нарушишь всесветный обряд.
Хоть ты к богу являйся с повинной —
или кто там стоит у руля? —
если связан с землёй пуповиной,
ты — земля и твой разум — земля...»
... Немота ему служит обузой,
так написано нам на роду:
если ты не в ладу с своей Музой,
то и с жизнью самой не в ладу...

Но, увы! Сей учёнейший диспут
на гостей нагоняет тоску:
архитектор смакует редиску,
славный бард вожделеет к пивку.
Отхлебнув, он подстроит гитару
и, отвергнув мистический бред,
сочинит и вручит юбиляру
патентованный жизнью куплет:
— Если вам пятьдесят, не горюйте,
вы как раз посредине любви,

жизнь — игра, улыбаясь, тасуйте
свои козыри — годы свои...
— На-до-е-ло! — подруга солдата
продирается из-за стола,
простовата, зато таровата,
всё, что надо, природа дала.
— Эй, гитара, давай «сербиянку»!
Прожигают паркет каблучки...
У солдата душа наизнанку,
из глазниц вылезают зрочки.
— А мой залетка маленький,
как цветочек аленький,
да он под горочкой живёт,
а кто увидит, тот сорвёт...
Эх, раз, да ещё раз,
кто увидит, тот сорвёт...
— Это что ж вы затеяли на ночь?! —
заявляется нижний сосед.
— Юбилей... Ты присядь-ка, Иваныч...
— Замочить? — он смеётся в ответ.
Славный гость из простого народа,
представляющий класс-гегемон,
пьёт с закуской — такая порода,
по пословице — пьян да умён...

Было, было...
И в тридцать, и в сорок...
И поэт, и философ, и бард
так же щедро транжирили порох
алкоголем зажжённых петард.
И такой же приبلудный солдатик,
озираясь, сидел за столом
и краснел за невестин халатик,
разметавшийся пёстрым крылом.
И прораб, и, ещё не профессор,
но уже кандидат и доцент,
величавый сосед, словно кесарь,
снисходил с высоты на момент...
Но тогда я за прошлое не пил,
неужели сдают тормоза,
и кизячный сиреневый пепел
застилает туманом глаза?..

VIII

Дистрофию не вылечишь луком...
Если грезится плов и лукум,
предпочтенье опасным наукам
отдаёт твой бесхитростный ум.
Голод-вождь, агитатор, оратор...

Совершая набег на Арысь,
ты не жулик, а экспроприатор
по тылам окопавшихся крыс.
К этим людям, трусливым и жадным,
беспощаден и неумолим,
ты считаешь себя Жан-Вальжаном
или даже Котовским самим!..
Барахолка и верхняя полка,
поножовщина, «феня», картёж
превратят не в шакала, так в волка
и покатишься, и пропадёшь...

Время выветрит запах параши,
сменит масти в «очко» и в «буре»,
но останется в памяти нашей
главный туз в колониетской игре:
толстобрюхий, с короткою шеей,
хитромудрый, как царь Соломон,
тыловик, он не нюхал траншеи,
надзиратель по кличке «Закон».
Но зато он завёл тут обычай
отпускать в предрассветную рань
колонистов в Чимкент за добычей
и взимать с них законную дань.
Кастелянша — его королева
(мощный бюст и подтянутый зад!)
заводила себе кавалеров
среди этих надёжных ребят..
Ты завидовал тем, кто постарше,
кто «в законе», кто маху не даст..
Вечерами старинные марши
доносились из парка до нас.
Городские франтихи и франты
и вчерашние фронтовики —
кителя, крепдешины и банты,—
но для нас они все интенданты,
ненавистные тыловики..
В двух шагах от гранёной решётки,
в двух минутах от тяжких ворот
в шестиклнках мои одногодки
мне завидуют — дикий народ!
Видно, мир для них слишком огромен,
демон детства, ревнивец и льстец,
обещает им лагерный роман
«Ванька-смык — покоритель сердец...»
Распродав саксаула вязанку,
презирая беду и нужду,
пацанва затевает «орлянку»,
бьёт сопатки у нас на виду...

... Не для форса, не ради «клубнички»,
не затем, чтоб внести колорит,
вспоминаю я наши привычки,
приблатнённый и мусорный быт,
лишь когда раскрываешь кавычки,
избавляешься от обезлички,
и тогда уж — «никто не забыт»...

Там, в краю золотых абрикосов,
где на зависть соседним краям
жил поэт, математик, философ
и король звездочётов Хайям..
Там, заложник святого Корана,
с телескопом наперевес
незадачливый внук Тамерлана
шёл на приступ свободных небес..
Сновиденьями юности ранней
остаются в тебе навсегда
Гур-Эмира отвесные грани,
многоцветная Шахи-Зинда...

Этот город, войною нетронутый,
вековечный, глубинный, лепной
застоялся в душе, точно в омуте,
с минаретом, с арыком, с луной,
с ишаками, надрывно ревущими,
с кизьяками в метровой пыли
да с мечетями, в небе несущими
мусульманские шпильки свои.
Муэдзина фальцет над святынями,
над прохладой урючных садов
и над площадью, пахнущей дынями,
потной шерстью и гнилью плодов.
Там, блуждая глазами нетрезвыми,
над гармошкой склоняясь навзрыд,
проскрипит мне по сердцу протезами
престарелый солдат-инвалид...

День Победы проплыл над перронами,
от беды и от счастья слепой,
он завис над весенними кронами
и над пёстрой базарной толпой.
Прописался в Ташкенте и в Люберцах,
поселился в Москве и в Орле,—
всюду лепят землянки и любятся
за себя и за тех, кто в земле.
И, хотя трудоднями убогими
измеряют немеряный труд,
чуть не сны облагают налогами,

но сирень и тюльпаны цветут.
И, хотя ковыряем мотыгами
задубелой земли черноту,
но ночуем в лугах и на выгоне
вечерами играем в лапту...
И в помине пока ещё культа нет,
Сталин — песня, плакат или марш,
по-бульдожьки в каком-то там Фултоне
воет Черчилль (запомнился шарж) ...

В гимнастёрке, а то и в нательной,
в сапогах да в худых башмаках
дух Победы стал духом артельным,
собирающим пепел и прах.
Пусть ни шила ещё и ни мыла
и ни отчего даже угла,
но уже загудели стропила,
завзвонели топор и пила.
Не пылилась в чулане гармошка,
раздувая мехи, как меха,
хотя ей подпевала окрошка
из крапивы да из лопуха.
И душа, чуть прикрытая плотью,
не коптила, как ночью свеча,
мы носили простые лохмотья,
словно шубу с царёва плеча!

Для тебя ли соткали и вышили
холст судьбы? И на этом холсте
бледный Марс над вагонными крышами
и фонарь проводницы в хвосте.
Но когда от собачьего ящика
дотянулся глазами до звёзд,
забывай про утраты, как ящерка
забывает утраченный хвост.
И последняя в мире разлучница,
погребальный убор теребя,
поглядит-поглядит и разучится
раньше времени трогать тебя...

Я не камень в цветистом декоруме,
не узор на персидском ковре,
не аскет и не дервиш, которыми
воздвигаются очи горе...
И не шпили — гранёные рашпили
сквозь голодные вижу зрачки,
хохочу от бессилья и кашляю
над болванкой, зажатой в тиски.
Где-то там корпуса общежития

то ли с жизнью, а то ли с игрой,—
не заставишь сегодня события
рассчитаться на первый-второй.
Где-то там Комсомольское озеро,
где-то райские кущи в садах,
может, память разъела коррозия,
может, это в других городах?
Те же запахи, те же мелодии,
тот же снег, тот ж пух тополей
проплывают над детской колонией,
что и над ремеслухой твоей...

IX

А когда подуставшие гости
начинают позёвывать в горсть,
тем подлейте, а этим подбросьте...
Чу! Звонок... Уж не главный ли гость?
Ведь судьба все узлы развязала,
навела через годы мосты.
Нет, не он...
— Ты откуда?
— С вокзала...
Узнаёшь, это я, из Москвы!
Нет, не с ним, если небо с овчинку,
разгружали мы в Химках баржи,
распивали свою четвертинку
и делили свои миражи...

Может, где-то на сопках Маньчжурии,
может, в гиблой таёжной глуши
старый друг без еды и без курева
проживает остатки души.
Третьи сутки не видно напарника,
задержали на станции груз,
спички вышли, на сеть накомарника
налепился породистый гнус...
Был мой друг горняком и геологом,
а у них повелось искони
жизнь, как лодку, протаскивать волоком,
на болотные править огни.
Буреломами да перекатами
поле жизни держать под уздцы,
собирая восходы с закатами,
как в заплечный рюкзак образцы.
... Друг с последнею чёрстою коркою
прямо в Пятыне лезет углы,
мы, пресытившись сладким, пьём горькую,
от жратвы проседают столы...

Наши дамы, почти голубицами
 (каюсь — зря их назвал кобылицами)
 над семейным альбомом склонясь,
 с умиленно-овечьими лицами
 вспоминают и охают всласть...
 ... Фотографии старых приятелей.
 Групповой юбилейный портрет
 Дон-Кихотов, зубрил, прожигателей,
 но кого-то, здесь, кажется, нет.
 Проползли, пронеслись коридорами,
 позабросили книги и спорт,
 обросли именами, моторами,
 облысели у лунных реторт.
 Кто на Полюсе, кто в «Метрополисе»,
 асимметрия круглой земли
 да нехитрый закон Кориолиса
 тех свели, а других развели.
 Тот корпит без претензий на жречество,
 этот корни пустил в кабинет,—
 дорогое моё человечество!
 Но кого же здесь всё-таки нет?
 Кто остался за кадром, за зеркалом,
 не проявленный, как негатив,
 не измеренный общими мерками,
 не охвачен, не вписан в актив?
 Где-то шастает он по обочинам,
 то расхристанный, то озабоченный,
 упирается лбом в тупики,
 всем открытым дверям вопреки.
 Всё мне кажется — вот он покажется,
 зазеркалье покинув на миг,
 и окажет себя — и окажется
 неосвоенным, как материк.
 То судьбой, то мечтой увлекаемый
 на путях-перепутьях земных,
 кто-то должен бродить неприкаянно
 для спокойствия всех остальных...

Вологодский ли с долей сиротской
 или купянский с кучей родни
 под сосной, под родимой берёзкой
 отдыхают в тиши и в тени.
 Горд, как лорд или кроток, как инок,—
 скрупулёзно сочтём и зачтём,
 но сначала зароем в суглинок,
 закопаем в глухой чернозём.
 Ты теперь в своём теле Коперник,
 открыватель межзвёздных путей,
 потому что ты нам не соперник,—

обнимайся с судьбою, Антей...

Двери — настезь!
 Приятель московский,
 открывая объятья свои,
 мне с порога кричит по-ноздрёвски:
 — Я, брат, доктор! Директор НИИ!
 Вот он, бывший король преферанса:
 седина, эспаньолка, живот...
 если черти не снимут с баланса,
 академиком станет вот-вот!
 Похититель убогих стипендий,
 женолюб — сей учёнейший муж,
 на лице у него, как на стенде,
 вся коллекция скальпов и душ.
 Он ссужал нам из наших же денег,
 чтобы снова обыгрывать... он
 в этом деле давно академик,
 чёрный ворон над стаей ворон.
 Этот туз из московской колоды,
 обстоятельный шулер и рвач,
 стережёт меня все эти годы,
 словно первую жертву палач.
 То он в злобе на мир, то в экстазе
 объясняется миру в любви,
 таковы современные связи,
 что хоть Фрейда на помощь зови...
 Я его представляю застолью,
 приглушив отголоски страстей,
 он умеет быть перцем и солью
 для любого пошиба гостей.
 Он отыщет и метод, и способ,
 то елей применяя, то яд,
 не напрасно брюнет и философ
 на него так ревниво глядят.
 И солдатик бесцветные брови
 сводит, сидя в питейном раю:
 уж невеста его наготове —
 поправляет причёску свою...
 И хотя разведёнка Ирина
 прижимается к барду-дружку,
 как к соседнему дубу рябина,
 но глаза у неё начеку...

X

Муж хозяйки погиб в сорок пятом,
 сын Иван возвратился без ног,
 Тоська с Витькой да я вместо брата,
 голодуха, разруха, налог...

У хозяйки работа простая –
 вывозить на коровах навоз,
 трудодни втихомолку считая...
 Ваня – шорник, а я водовоз.
 Тоска с Витькой – тринадцать и десять –
 собирают кизяк да курай,
 злую глину ножонками месят –
 строим домик и лепим сарай.
 Подворовываем понемножку
 от беды да великой нужды –
 ремешок ли, гнилую картошку
 да бочонок казённой воды...
 Ближе к осени (дом не достроен,
 трудодень не оплачен пока)
 фининспектор, откормлен и строен,
 нас пытается взять за бока.
 Он стоит посредине подворья
 в галифе и защитном френче,
 и планшетка – вместилище горя –
 провисает на левом плече.
 Отодвинув нас в сторону грубо,
 начал сад вымерять, да не смог,
 потому что корявый обрубок
 обхватил голенища сапог...
 (Дело в том, что в безводную супесь
 зарывая картошки глазки,
 мы попутную делали глупость –
 посадили в саду черенки.)
 Бормоча, что случилась ошибка
 и ещё что-то там бормоча,
 он ушёл, одарив нас улыбкой
 недотёпистого палача...

Лик вождя всё грозней, всё исконней, –
 не хватает углов и гвоздей...
 А уж местные воры в законе
 пострашнее далёких вождей:
 обладатели синих пакетов
 (у Хозяина пряник и кнут!)
 правят бал сатаны и при этом
 пожинаят, хотя и не жнут...
 А народ под вождём, как под богом, –
 от узды не сойти с борозды,
 оскорблённый новейшим налогом
 вырубаеш под корень сады.
 ... Заскорузнут глухие пеньки,
 зарастут лопухом и бурьяном
 и упрячутся, как кулаки,
 по пустым и дырявым карманам...

Время – лекарь. Оно вместо пластыря.
 Но уже для подземного царствия
 доплетается времени сеть, –
 и десница державного пастыря
 разомкнётся и выронит плеть...
 А пока в ожиданье финала,
 в искупленье бессонных ночей
 то погром ленинградских журналов,
 то московское «дело врачей»...

А пока, как грибы шампиньоны
 из удобренной манией мглы:
 морганисты, фрейдисты, шпионы –
 отпущенья родные козлы...

Пахнет юрта кошмою и куртом,
 тянет влагой с заснеженных гор,
 в тишине догорает за юртой
 предрассветный чабанский костёр.
 Снеговыми хребтами зашторен,
 прямо в небе висит горизонт,
 доцветает шиповник и тёрн,
 кружит голову горный озон.
 Вновь судьба мой пастух, я подпасок,
 я брожу по горам, по стерне,
 сотни запахов, тысячи красок
 наплывут-перебродят во мне...
 ... Этот мир незамужних доярок,
 скрытых снов и открытых грехов
 так томителен, душен и ярк –
 поневоле дойдёшь до стихов.
 То ли с завистью к их ухажёрам,
 то ли с ревностью к их женихам,
 с тайной страстью и с тайным позором
 поклоняешься сладким грехам.
 ... Отойди, примиришь, пососедствуй,
 лёгким облачком в солнечный день
 перед тем, как уйти без последствий,
 наведи свою тень на плетень, –
 ибо в царство весёлого ситца
 беспризорных путей не найти,
 надо с неба на землю спуститься,
 чтоб душою до них дорастить...

И стоишь, одинокий и робкий,
 неприметная серая мышь,
 на краю танцевальной коробки
 самосадам дымишь и дымишь.

Твой соперник... какой-нибудь Лёша,
 грозной фиксой блистая впотьмах,
 проплывает в невиданных клёшах
 и «казбечину» нянчит в губах.
 ...Он её обнимает открыто,
 он небрежно роняет слова,
 и победно гремит «Риорита»,
 как фанфары его торжества...
 Достояться до «белого» танца,
 присоседившись к карагачу,
 и внезапно услышать: «Останься...
 Я тебя танцевать поучу...»
 Обжигаясь о талию, к платью
 прикасаться с опаской, и вдруг,
 оступившись, в невольном объёме
 обхватить свой спасательный круг!
 А когда, очумев от досады,
 примеряя в кармане кастет,
 на два слова поманит фиксатый,
 убедиться, что выхода нет,
 и мальчишескими кулаками
 молотить темноту наугад
 и гордиться потом синяками,
 словно ранами старый солдат.
 Возомнив о себе — небожитель! —
 завалиться в вагон полевой
 или в старый соломокопнитель,
 среди поля заросший травой.
 По-язычески спишь полуголым
 и, чуть солнце коснётся ресниц,
 загустевшим к утру солидолом
 заполняешь тавотницу-шприц.
 Зной, да ветер, да злая полова,
 так набьют и нажгут остюки,
 что не взвидишь дунганского плова
 и едва добредёшь до реки.
 Но, кидаешь ли в поле солому
 или грузишь зерно на току,
 ты к свиданью развеешь истому
 на бегу, на лету, на скаку...
 А когда полевые бригады
 у ночного сойдутся котла,
 светят звёзды, стрекочут цикады,
 ночь темна, да надежда светла!
 И однажды, теряя нескладность,
 со стыдом, со слезами, с тоской,
 ты насытишь телесную жадность
 и обрушишься в гордый покой...
 Или вдруг, под влиянием минуты,

ощущая и гордость, и боль,
 от наплыва неведомой смуты
 затоскуешь: «И это любовь?!»
 ... Запах пыли, махорки и пота,
 чад солярки и дух кизяка —
 это юность, любовь и работа
 мне аукают издавека...

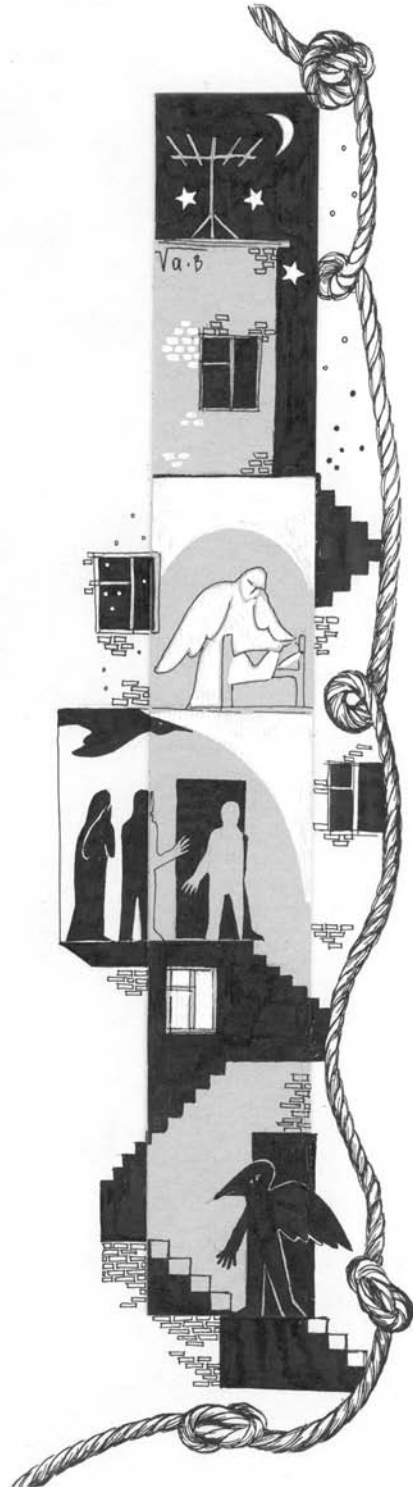
XI

Мой москвич, словно мультик рисованный,
 фаворит юбилея, москвич,
 произносит не слишком рискованный
 и вполне отшлифованный спич.
 Поднимает бокал за Платонова,
 за Булгакова, за Шукшина,
 говоря: «Объективность учёного —
 вот что важно во все времена...»
 Головою мотая по-бычы,
 он частенько косит на меня:
 заливай дорогой, я забывчив,
 заливайся, бокалом звеня.
 Да и дело-то было простое:
 кто заживал брюки, тот враг,
 аспирант и радетель устоев
 был грозой институтских стилияг.
 ... Надо всем и над вся зубоскаля
 и в охотку смакуя винцо,
 то он к слову помянет Паскаля,
 то для Кафки подыщет словцо...
 Боги... Йоги... Дворянские корни...
 Полутайны и тайны «Двора»,—
 что за мир, прихотливый и вздорный,
 что за масти и что за игра?!
 Новомодные бесы и ангелы,
 впрочем, сам он не ангел, не бес,
 он, учёный, в особенном ранге
 пребывает по воле небес.
 Он — связник между всеми орбитами,
 положение дел таково,
 что все карты окажутся битыми,
 если в прикупе нету его!..
 Но уж как ни мутил бы он воду,
 а войдёт в свою главную роль:
 из кармана достанет колоду,
 скажет: — Пульку, хозяин?..
 — Уволь!..

Пульки, пульки...
 Смешной, чужелицей,

нарастивший вопросов горбы,
 посредине великой столицы
 я вскочил на запятки судьбы.
 Трубным маршем, торжественной мессой
 в поднебесье гремели слова:
 «Гаудеамус», «зачёты», «профессор»,
 «общезитье», «студент» и «Москва»!
 Кто из нас не грешил верхоглядством,
 не был молод и не был открыт,
 не выплёскивал дружбы и братства
 в немудрёный студенческий быт?
 Что с того, что сумели не все мы
 ограничить своё бытие
 искусительным духом богемы,
 не вкушая от плоти её?!
 Но когда оглядишься, остынешь,
 будни быта и будни наук
 нелинейными и непростыми
 сторонами сужаются в круг.
 Стаи формул, лишённые смысла,
 очевидных корней и причин,
 допускающих мнимые числа
 даже в мире больших величин...

Новый курс и вчерашняя давка
 на невиданных похоронах,
 жизнь-корректор единственной правкой
 слово «страх» переправит на «крах».
 Вспоминаешь ли, друг мой единственный,
 как бродили с тобой до утра
 по Москве, взбудораженной истиной,
 о которой не знали вчера,
 по столице, невиданно-искренней,
 горевавшей, кричавшей «ура!».
 Как стояли у страшного здания,
 в зарешёченный глядя фасад,
 злые крики, свистки и рыдания
 от стены отражались стократ.
 Словно белые пальцы над чётками,
 луч луны зависал над решётками
 и тревожный притягивал взгляд.
 Это там, за тяжёлыми шторами,
 за тройными стальными затворами
 в чёрных сейфах, в дубовых столах
 притаились «маруси» и «вороны»,
 человеческий клевавшие прах.
 И в разгаре стихийного митинга,
 захлестнув нас ударной волной,
 кто-то горестно выдохнул: — Митенька!



Кто-то выстонал: — Саша, родной!
И какие-то местные жители,
горлопаны, шпана подшофе,
заорали: — Шпионы! Вредители!
... этот дом, этот гроб — там родители
похоронены в тесной графе...
Кто-то выдернул кол из штакетницы,
но другой — воплощённая власть —
тут же выстрелил вверх из ракетницы,
и понуро толпа разошлась...

Нет, недолго мы были в ударе:
съезд Двадцатый, Хрущёв, целина,
первый спутник, Фидель и Гагарин,
пострадавших людей имена!
Древо культа не выдрано с корнем,
новый вождь семи пядей во лбу
обзаводится собственной дворней,
возрождая всё те же табу.
Обещаний и лозунгов — рынок,
здравомыслия — аукцион,
тупорылый хрущёвский ботинок
колошматит трибуну ООН.
От трагедий летим к мелодраме,
от ракет до тупых топоров,
до распашки лугов с пустырями
да запрета крестьянских коров.
То Овечкин, то Яшин помеха,
Пастернак получает сполна,—
от державы до комнаты смеха
на качелях качалась страна...

XII

Разве можешь ты стать ротозеем,
немузейной судьбы ученик?
Пробежишь, пролетишь сквозь музеи,
сквозь страницы мудрёнейших книг.
По касательной, мимо, куда-то,
неизвестно, зачем и куда...
А в глухом переулке Арбата
поджидают любовь и беда.
Отыскалась, как в стоге иголка,
в многоликой и пёстрой толпе,
брат-священник и мать-богомолка,
не семья, а сплошное ЧП.
Полудетская робость и грубость
и надрывные слёзы сквозь смех,
тут же тонкость, но тут же и глупость,
и пронзающий святостью грех...

... Отойди, примиришь, пососедствуй,
отчурайся от узеньких плеч,
одинокой душе не по средствам
приручить, отогреть и сберечь...
Так мне думалось, так мне казалось,
сам, едва приручённый людьми,
разве мог я представить, что жалость
и сильнее, и горше любви?!
Были клятвы и были свиданья
на Донской и в Нескучном саду,
и проклятия и предсказания,
что кипеть нам обоим в аду...
Увезти бы, похитить по-горски,
да ведь жизнь — лотерейный билет,—
в многокупольном светлом Загорске
дым камильниц размыл её след.
Все пути в лабиринты науки
перекрыла потери стена,
что ж, судьбу не возьмёшь на поруки,
не изменишь её письма.
Цепь крепка, да разрознены звенья,
жизнь не сказка, где меч-кладенец,
разрубая узлы преткновенья,
приближает счастливый конец.
Зов судьбы или случая прихоть
проведут сквозь богему и транс...
Преферанс и бутылка — не выход,
привокзальные шлюхи — не шанс...
Да какой уж тут к чёрту анализ,
если разум с душой на лету
поделились, потом поконались
и с друг дружкой играют в лапту.
Ослеплённый вином и вином,
я увидел загадочный сон,
будто стонет-гудит подо мною
воркутинский дощатый перрон.
Что ж, была конура у собаки:
Бородинский, Донская, Фили,
там, где были посажены маки,
вдруг колючки в груди расцвели.
... Пятый угол наплыл и растаял,
возвращая мне слёзы и смех,
стаи формул и воронов стаи
напророчили тундру и снег.
Мне досадно идти теперь признаваться,
но обязан идти до конца:
по наивности (было мне двадцать)
я надеялся встретить отца...

Мне созвездья полярные снились,
но когда из промозглых глубин
в первый раз на поверхность я вылез —
я шагал в общежитье один.
Остальных увели конвоиры,
не успел я привыкнуть пока,
что шахтёры и их командиры
были все поголовно зека...
Опираясь о наледь каната,—
вдоль дорожки тянулся канат,—
я его обнимал, точно брата,
я к нему прижимался, как брат.
Был я счастлив, что всё получилось,
я гордился, что всё обошлось:
мне никто не оказывал милость,
не швырял милосердия кость,—
я проталкивал стойки креплений,
наживляя и снимал решетки,
ободрал о породу колени,
чуть не в глотку вогнал позвонки...
Но сперва я сидел на наряде,
зажимая в коленях кайло,
не по книге и не по тетради
постигая своё ремесло.
Густобровый начальник участка,
глухо кашляя в старый платок —
(ТБЦ?!) — приговаривал часто:
«Рештаки... вагонетки... куток...»
И тоскливо мне было, и больно,
но напрасно искал я ответ,
кто тут вольный, а кто подневольный,
никаких тебе внешних примет.
Ни надрыва, ни даже порыва,
чей-то кашель, зевота, смешок...
Полусумрачно-полуигриво...
И — едва уловимый душок...
Да и то: разгляди-ка, попробуй,
продерись сквозь скупые слова,
что за сердце таится под робой,
что за мысли таит голова?
Дух безверья, надежды и веры,
злойной мести? — суди, порицай,—
коммунист ли, каратель Бандеры,
вор в законе, бандит, полицей?...
Сели в клеть и — во чрево земное,
шли по штреку во мгле и в пыли
и хозяйство своё добычное,
мне казалось, случайно нашли.

Опускали на тросах комбайн
крутосклоном куда-то туда...
— Эй, чего застоялся, как барин?!
Это мне... Я вспотел от стыда...
— Новичок? — кто-то тощий и длинный
усмехается: — Дуй до горы!
— Это как это?..
— Кверху за глиной...
Да живее — отпалим шпурь.
Отпалили и без перебоя —
весь забой, как один человек,
уголёк наш волнами прибоя
плыл и падал в откаточный штрек.
... Я не мог отыскать поворота,
ветер с Карских ворот, ледяной,
вынуждал меня эти ворота
оставлять за усталой спиной.
Будто сила осмысленной злобы
напирала стихия пурги,
я шагал, зарываясь в сугробы,
падал, полз и не видел ни зги.
Я совсем обессилел... и с жизнью
я уже распростился и сник
и тогда я увидел капризный,
чуть мигающий в тундре ночник...
Как голодный, гонимый утробой
за последним на свете куском,
задыхаясь, я полз по сугробам,
примагниченный тем огоньком.
В стороне, заметённый метелью,
в ледяной, заполярной стране,
над младенческой колыбелью
он мерцал и подмигивал мне.
Оттирали меня, что есть мочи,
и, в себя приходя кое-как,
я услышал: — Нет! Тут, брат, не Сочи...
Тут спрямить невозможно никак.
К нам из горенки вышла хозяйка,
покачала, смеясь, головой:
— Вот те, паря, бельё, надевай-ка,
слава богу, живой-то, живо-ой!
За стеною заплакал ребёнок,
и она заспешила к нему,
видно, с запахом первых пелёнок
добрый дух поселился в дому.
— Без детей-то нельзя человеку...
Ну дак мы отмотали срока,
кое-как поскребли по сусекам
и на радость слепили сынка!

Он рассказывал без напряженья,
 что в семнадцать ушёл на войну,
 под Смоленском попал в окруженье,
 а потом оказался в плену.
 Он шутил, называл меня «кореш»,
 ну а я, как свалился с луны,
 всё глотал, но не сглатывал горечь —
 горечь спирта, беды и вины...
 ... Каплет кровля, царапает земник,
 дышит стойка и гнётся распил,
 комбайнёр — настоящий волшебник —
 вводит в русло сноровку и пыл.
 Не для денег, не ради почёта
 их обыденно-каторжный труд:
 сто процентов — не будет зачёта,
 сто двенадцать — день за три — зачтут.
 Бесконечные зоны и лавы,
 те же завтра, что были вчера,
 вагонетки, вагоны, составы
 на-гора, на-гора, на-гора...
 Беспросветные серые будни,
 не судьба, а дырявый сосуд,
 каждый день тут воистину Судный,
 время мчится, да сроки ползут...
 Колонист, беспризорник, бродяга,
 я не раз попадал в оборот,
 но не знал, что ворота ГУЛАГа
 начинаются с Карских ворот.
 Сатана ли с нечистою свитой,
 прославляя себя на века,
 порешил отогреть Ледовитый
 скудной плотью и духом зека?
 ... Вот и он отсидел по зачётам.
 — Говорят, там готовится съезд? —
 и рукою махнул: — Да чего там! —
 Ворон сдох, а ворона не съест...

XIII

Не года, а секунды считающий,
 неподвластный душе и уму,
 вечный Некто, во мне обитающий,
 не даёт мне побыть одному.
 Это он, воплотившийся в облике
 двойника, что напротив меня,
 издевается: — Ты, как на облаке,
 разомлел, будто рядом родня...
 Ты забыл, как поэмой растроганный,
 лысоватый нажрался до слёз,

а наутро в особые Органы
 полетел анонимный донос.
 Как прозаик с глазами бараньими
 превознёс твой рассказ до небес,
 а наутро на важном собрании
 раздраконил тебя и исчез?
 Твой москвич управляет колодою,
 как пиратскую шхуною Дрейк,
 твой солдатик, истерзанный модою,
 спит и видит развинченный брейк.
 Отчего не позвать и профессора,
 снизойдёт и зайдёт толстовед
 и с величием римского кесаря
 передаст от науки привет.
 Всё постыдное, мелкое, грязное,
 облачённое в сладкую ложь,
 ты смешал с алкоголем и, празднуя,
 свою душу продал ни за грош.
 Твоя совесть — старуха-уборщица,
 подтирает полы и не морщится,
 вымывая чужие плевки,
 кто оценит твоё всепрощение,
 ты всегда был козлом отпущения!»
 ... Зато сны мои были легки!

Все мы люди и все мы соседи,
 современники, братья, друзья,
 драга жизни и времени сети
 неизбежны для каждого «я».
 Холодильник, сервант, телевизор...
 Полный короб потех и утех,
 всем потопам бросающий вызов
 персональный бетонный ковчег.
 Нам хватает колёс и турусов,
 а когда оторвут от игры,
 с удовольствием празднуем трусов,
 с удовольствием катим с горы.
 Под сурдинку, в эзоповом стиле
 поминаем о шиле в мешке,
 о лекарственных ядах рептилий,
 о верблюде в игольном ушке.
 Нам теперь что страда, что эстрада...
 За какую нас дёрпали нить,
 чтобы всех в беспородное стадо
 обратить и вконец развратить?!
 Всё усушки вокруг до утруски,
 рукавом закуси и вперёд...
 По-геройски, по-свойски, по-русски! —
 кто не пьёт, тот плохой патриот...

Если плоть выжигают калёным,
то и души горят от клейма,
ни гордыней, ни смертным поклоном
не наполнить судьбы закрома...

Лунный свет на полу, как мозаика,
в прихотливом сплетенье теней,
капитальной фигура прозаика,
лица женщин бледней и смутней.
В бороде молодого художника
заблудился салатный листок,
и подруга его осторожненько
достаёт из корсажа платок.
Лысоватый, огурчиком хрумкая,—
он недаром народный поэт! -
не зевает и рюмку за рюмку
посылает в себя, как дуплет.
Трезвый Некто похож на лунатика,
а москвич — не отвлечь калачом —
всё к подруге хмельного солдата
прижимается тяжким плечом...
Ведь всегда есть одна между сёстрами —
неразборчива и горяча,
та, что дразнит ресничками острыми,
лёгкой блузкой, приснятой с плеча,
и словами, и мыслями праздными
поджигает застолье и зал,
пахнет ревностью, пахнет соблазнами,
зреет зависть, обида, скандал...
Но хозяйка мудра и внимательна,
словно снайпер спускает курок,
водружая на стол обязательный,
под конец припасённый пирог.
И над ним, как надстройка над базисом,
в ореоле высоких речей
зажигаются, светятся, гасятся
пятьдесят юбилейных свечей!

За окном предрассветное марево,
израсходовав лунный лимит,
ночь устала себя разбазаривать,
только комната смеха дымит...

XIV

Утомлённый вчерашней бессонницей,
щедрой Музой, гостями, собой,
я ложусь, голова моя клонится,
я лечу на свиданье с судьбой.
... Пол зеркальный и стены зеркальные
и зеркальный вокруг шепоток:
«Между молотом и наковальнею
всяк сверчок занимай свой шесток...»
Я хотел бы казаться невидимым,
я твержу себе: «Сон это, сон!»
Но меня вызывают в президиум,
за которым поют в унисон.
Зеркала, частоколы, слагбаумы...
Полусвет-полуцвет витражей...
Здесь людей избавляют от «зауми»,
от непрошенных снов-миражей.
Два хирурга с правами таможенников
и особый духовный судья
у поэтов, актёров, художников
изымают излишние «я».
Безболезненно и не без грации,
словно это всего лишь обряд,
совершаются здесь операции,
ибо ведают те, что творят...
Выхожу на высокий просцениум,
предъявляю свой дряхлый шесток,
замираю и жду с нетерпением —
вот судья приподнял молоток...

Октябрь 1986 – октябрь 1987 гг.

*Публикуется впервые. Подготовлено
Лидией Ивановной Перовской (2012 г.)*



МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ



В снегопад

Повесть

Глава первая

Зимы в наших краях долгие. Вот почему с такой надеждой, порой переходящей в нетерпеливую тоску, всякий раз ждёшь прихода весны. Как будто именно она, та, которая придёт в этот раз, и принесёт тебе ответы на все твои вопросы и исполнит, наконец, самые сокровенные желания. Вот так, за зимой весна, и проходит жизнь...

И эта зима была уже на исходе. Солнце, пробираясь от пойменных лугов на востоке к чёрной зубчатой полоске ельника на западе, каталось по окрестным полям и крышам построек, вольно размазывало по ледяному насту предзакатные апельсиновые отблески, плавило побуревшие ветви берёз, грело вытаявшие из снега жерди изгороди вокруг огорода и старые чёрные пни в лесу. Ослепительно белая накренившаяся набок шапка на стожке стала подтаивать, потекло по длинному сему вниз, так что к вечеру намерзали жёлтые, в руку толщиной сосульки, которые прирастали каждый вечер и были похожи уже на янтарные столбы. Стало припекать возле хлебов, и на стёжке там и тут вытаивали клоки обронённого зимой сена. А ночью по лесу и по лугам, занесённых снегами, всё ещё гулял мороз, и алмазные звёзды неподвижно и холодно стояли над оцепеневшей землёй и одинокой усадьбой.

Однажды в такой яркий полдень он увидел в поле человека. Там, вдоль гряды берёз, были поставлены вешки. Их и держался путник. Он шёл сюда.

— Да кто же это? — вслух подумал он и стал вглядываться в белую даль, сверкающую солнцем и нетронутыми снегами.

Вскоре глаза наполнились слезой. Ничего он там не разглядел. Не понял даже, мужчина или женщина идёт по стёжке к его усадьбе со стороны Ивановского Верха.

Но сердце уже подсказало: женщина...

Вот уже седьмую зиму зимовал он в забытой Богом и брошенной людьми деревне. Деревни-то как таковой уже и не было. Какая там деревня? Ни соседей, ни дорог. Так, глушь лесная. И он забился в эту глушь и жил в тишине и покое, стараясь как можно реже напоминать о себе людям, чтобы ни те ему не досаждали, ни он им. Достаточно он пожил среди людей. Хватит. И на себя среди них тоже насмотрелся. А тут, вот оно, что искал, чего желал: глушь да тишь — покой. И впрямь — кабан.

Постепенно стало заживать то, что, казалось ему, будет кровоточить всегда.

Жил хоть и на отшибе, но не в хижине. Дом этот, ещё довольно крепкий, со всеми хлевами и сараюшками, вместе с пасекой в шесть ульев, с погребом и огородом, с колодцем и рубленой ольховой банькой внизу, возле ручья, он купил всего-то за шесть тысяч тогдашних рублей, что равнялось хорошей месячной зарплате на овощной базе, где он проработал почти всю свою жизнь.

Жил он почти ни с кем не общаясь. И окрестные, изредка видевшие его возле магазина или на почте, дали ему прозвище — Кабан. А ему что? Кабан так Кабан. Значит, им так надо. Ну а ему — всё равно. Он понял, что людей не стоит разубеждать почти ни в чём. Особенно в том, в чём они уверены и чему хотят верить. Путь к вере — это тоже вера. Всё равно вера у каждого — своя. Главное, чтобы одна другой зубами в глотку не впивалась. Поверили и поверили. Пускай с тем и живут. Для кого-то это забава, для кого-то корысть. И на то, и на другое покушаться бессмысленно. Да и опасно. Это он тоже уяснил.

Раз в месяц он всё же ненадолго выбирался в село. Закупал в магазине хлеба, консервов, круп, соли и того, что было необходимо. Расплачивался почти всегда мёдом. Выставлял на прилавок несколько молочно-янтарных банок. Продавщица, молча улыбаясь, убирала их куда-то вниз, в свои неведомые закрома, и принималась стучать пухлым красным от холода пальцем в кнопки калькулятора. Машинка в руках продавщицы всегда показывала разные цифры, но всё равно выходило так, что он ещё и не добирал товара до нужной суммы. Он знал, что отдаёт мёд дёшево, что продавщица, скорее всего, уже приноровилась выгодно его пристраивать. Мёд с лесной пасеки — это мёд с лесной пасеки. Но предприимчивость продавщицы его только радовала: значит, с хлебом, тушёной и крупами он будет всегда. А она... Ей, молодой, тоже жить надо. Детей кормить, себя баловать. Может, ещё кого. Не одна ж она, такая видная и оборотистая, век векует.

— Запиши, — говорил он, застёгивая рюкзак. — В другой раз доберу.

— Взял бы водочки? — предлагала продавщица; предлагала вроде бы и спроста, а вроде бы и со своею какою-то мыслью — женщины, пойми их сразу...

— Водку я не пью. Ты же знаешь.

Продавщица продолжала вопросительно смотреть на него.

— Разве я когда-нибудь водку покупал? Не покупал.

— Самогонку, что ль, пьешь? А что, и правильно. На меду-то, небось, хорошая. А в эту невесть чего могут влить...

— Не знаю, не пробовал. Ни ту, ни другую.

— И где такие мужики водятся?! — игриво вздыхала продавщица; вот тут уж она становилась сама собой и тут она была понятной.



И он тоже осторожно, зная в таких случаях границу, улыбался и отвечал:

— В лесу, за Ивановским Верхом.

— Будем знать...

Тогда он и значения не придавал её последним словам, этому «будем знать». Сказала и сказала, мало ли вздора женщина наговорит под настроение?

Было ему уже далеко за пятьдесят. Но тяжести своих лет он ещё не чувствовал. Ещё бы работал и работал на своей овощной базе, делал своё не особо-таки утомительное дело, зарабатывал бы деньги, проворачивал бы без скрипа небольшие частные дела, с которых тоже имел свою регулярную копейку. Словом, жил бы привычно. Перемог бы как-нибудь и время, которое многие проклинали, и житейские неурядицы. Но люди опротивели. Вместе с этой проклятой копейкой. Квартиру он оставил дочери.

Сказал ей, чтобы его не разыскивала, что раз в год будет появляться сам — поправить могилку, покрасить оградку. С тех пор как погибла жена, люди ему стали неинтересны. А потом — и ещё хуже. Подрался с начальником. А как подрался... Драки-то особо и не было. Давить стал, вымогать, принуждать делать то, что было ему не по нутру. Он и схватил его однажды за горло. В буквальном смысле. И чуть не придушил. Хотя всё потом замирили, уладили по душам. И не стычка с начальником стала причиной его ухода. Как-то всё сошлось в одно, и не выдержала душа.

Пасека теперь, слава богу, и кормила, и поила. А два года назад он решил и завёл корову. Теперь у него были и молоко, и масло, и творог, и сыр. И стали немного скапливаться деньжата. Продавщица заказывала иногда и пять, и семь банок мёда. Особенно свежего. Расплачивалась аккуратно, сразу. Да и на почте девочки медок любили. То баночку им принеси, то две. На почте он получал несколько журналов по пчеловодству. Тратиться особо не тратился, так что кое-что начало скапливаться.

Раз осенью, в самую непогоду, пришли невесть по какой дороге трое.

— Здорово, Кабан.

— А вы кто будете? — сразу насторожился он, потому как заговорили они нагло и пришли явно не поздороваться.

— Слышь, Кабан, не трухай, мы тебя не тронем. Пару тыщ одолжи до полочки.

И — мы пошли.

— А где полочку получаете?

— Где получаем, не твоё дело.

— Ну, сейчас вынесу...

— Давай-давай, — нетерпеливо сказал один из пришедших, который всё время молчал, а теперь тоже осмелел.

Он пошёл в дом. А они закурили возле стожка. Закурили со значением. Один, мордастый, который держал разговор, долго и картинно водил над головой горящей зажигалкой, не по возрасту дураковато посмеивался, щеря изъеденные чифирём чёрные зубы. Кого-кого, а эту публику он хорошо знал по прежней жизни. С потёртыми справками, украшенными синими печатями лагерей, их частенько заносило на овощную базу. Там они на месяц-другой пристраивались то грузчиками, то карщиками, то истопниками-кочегарами, чтобы только перекантоваться и не попасть на глаза участковому. Иногда задерживались в сторожах и слесарях. Такие понимают только силу, и в человеке уважают лишь одно — величину клыка и способность применить его в любой момент.

Он вышел на крыльцо с ружьём, старенькой курковой одностволкой. Ружьё он нашёл в чулане, когда разбирал разную рухлядь. Приклад был разбит. Но ствол и бойковый механизм оказались в полной исправности. И долгими зимними вечерами, из сухого берёзового полена, ножом, стамеской и напильником, он вырезал и выточил такую ложу, что любой бы оружейник ахнул.

— Отойдите от стога!

Трое тут же нырнули за сарай, оттуда к бане и — только их и видели.

Он сунул в карман пару патронов и пошёл за ними. И не напрасно. В полукилометре, на вырубке, стоял трактор с заведённым мотором. На прицепе моток электрического провода. «Сняли! Ах, сволочи! Со столбов сняли! То-то утром свет погас...» Прячась за орешинами, он выскочил перед самым трактором, выстрелил вверх. Заряд прошёл над самой кабиной. Выбросил из патронника дымящуюся гильзу, сунул новый патрон и взвёл курок:

— Скидывайте провод! Зас-стрелю! Скидывайте! Живо!

Провод они свалили на землю. Поехали.

— Ну, Кабан, смотри, — уезжая, пригрозил ему мордастый.

Он в ответ вскинул одностволку. И мордастый исчез за железным бортом прицепа.

Люди и тут не давали ему покоя. Деньги. Вот та сила, которая притягивает людей друг к другу. Корысть. Брат на брата всегда, заметил он, поглядывает с корыстью: как бы того рабом сделать. Если не грубо, не силой, как вот эти шныри, то хитростью и лаской. Заставить, принудить, поставить в зависимость. А потом и пошло. Тот уступил за бесценок. Та под начальника легла, не поперхнулась. Того принудили отрабатывать всякой подлостью. Да пропадите вы все пропадом, думал он, глядя на тракторный след. И здесь от вас покоя нет...

С той поры он стал жить беспокойнее. Утром и вечером делал обходы. Иногда вставал ночью. Выходил на крыльцо или за сарай, на пасеку, прислушивался. Возле ручья за баней поселился филин. Ночами он ухал и стонал. И в душе человека рождалось беспокойство, которого он уже давно не знал. Он чувствовал, что живёт накануне чего-то, что неминуемо должно произойти и, быть может, именно это разрушит его новую, с таким трудом созданную здесь, в глуши, вдали от людского глаза и зависти, тихую, спокойную жизнь. Но он знал и другое. Просто так то, что он сумел здесь создать, а главное этот покой, он не уступит.

— Мне ничего от вас не надо, — шептал он, глядя за Ивановский Верх, где проходил большак в сторону большого села; там, в домах, хозяйственных постройках и конторе копошились по своим повседневным делам люди, строили планы и козни, любили и ненавидели друг друга, родню и соседей. — Живите вы, как хотите. Мне же ничего от вас не надо. Я же у вас и заваливающей банки консервов не прошу, ни в долг, ни так...

Он ждал беды и сокрушал себя одной и той же мыслью, которая пришла внезапно и оглушила его: то, от чего он убежал, бросив денежную работу на овощной базе, квартире и блага большого города, снова настигало его здесь. Он оброс хозяйством. Хозяйство приносило доходы, которые он уже не мог потреблять сам. Излишек превращался в деньги. И снова они стали завораживать его душу. Их вид, хруст новеньких купюр, тяжесть перетянутых тугой резинкой пачек, сложенных по достоинству: тысячные — отдельно, пятисотенные — отдельно, сотенные — отдельно. Неужели он так и не смог этого преодолеть? Ведь всё уже позади. Он перешагнул через то, что разрушило его семью и что он уже однажды проклял. А эти несколько пачек денег. Да чепуха всё это. Он даже не знал, сколько там, в каждой пачке. Есть и есть. Страховой фонд.

Когда денег стало много, ощущение приближающейся беды стало настолько сильным, что он вдруг понял: жизнь его снова отравлена. Он отвозил деньги дочери. В последний раз она их не взяла. И сама она, и муж её хорошо зарабатывали. А он, должно быть, выглядел неважно. Плоховато одетым, неухоженным. Дочери стало совестно брать у отца деньги, который сам жил неизвестно на что и как. Она попыталась завести разговор на эту тему, но он сразу прервал её. Сказал:

— Танюш, не надо. За меня не беспокойся. Я живу один. Работаю только на себя. Чтобы прожить. Ем здоровую пищу. Дышу чистым воздухом. Думаю. Мне так хорошо. Но не оттуда он ждал беды.

Глава вторая

Минувшим летом, в августе, только пошли грибы, забрела к нему на усадьбу женщина. Молодая, лет тридцати пяти. Незнакомая, в селе он её ни разу не видел. Он вышел к ней из коровника. Корова гуляла на лугу, за огородом, привязанная к берёзе. А он в хлеву поправлял пол. Выкинул старые, изношенные ещё в прежнем хозяйстве доски, и теперь стелил свежие лопцы, вытесанные из целиковых осиновых брёвен, чтобы хватило надолго.

— Здравствуй, добрый человек, — сказала она и так охватила зелёными густыми глазами, что он некоторое время стоял форменным истуканом, непонятно чего ожидая.

И только потом спохватился, понимая, что она не могла не заметить его смущения и тоже вроде смутилась.

— Здравствуй, — обрадовался он ей и сам удивился своей неожиданной радости и волнению. — Заблудилась, что ли?

— Да выходит, что да, — приветливо, немного устало ответила она, как отвечают знакомому человеку, и стащила с головы белый платок, повязанный по-бабьи, наглухо.

А он, глядя на этот платок, сразу отметил: так городские повязывать не умеют. Значит, здешняя. Знает, как уберечься от клещей, да и просто от лесного сора и паутины. И то, как она погода, отвернувшись по ветру, сильными движениями выхлопала этот свой платок, подтвердило его догадку. Здешняя.

Только что прошёл дождь. Короткий ливень с ленивой грозой. Грозовую тучу протянуло мимо, раскаты доносились издали, будто там кто-то большой ходил по старому ненужному железу, которого уже не жалко. А дождём накрыло всю окрестность, в том числе и усадьбу. Ливень случился так неожиданно, что даже куры не успели ударить под навес, где обычно в непогоду рылись в старой щепе и стружках, переворачивая их в поисках червячка уже в сотый раз. Там, под навесом, у него был дровник, а между столбами лежала широкая доска верстака. И теперь, мокрые до синевы и неопрятные, так что от них даже петух отворачивался, куры тщательно и торопливо чистились и насторожённо оглядывались на луговину, залитую большой лужей, которая уже начинала от краёв парить.

— Гроза началась, я и перепугалась. Места вроде знакомые, а побежала — лес всё гуще и страшнее. Насилу вышла. — Она улыбнулась, показывая ряд крепких, совсем ещё девичьих зубов.

Потом, когда он пригласил её в дом выпить горячего чаю и обсушиться и первый ушёл туда, чтобы хоть немного прибрать разбросанное, увидел в окно, как она, задержавшись у крыльца, обмывала в корыте, под капелью, босые ноги, заляпанные дорожной глиной, как снимала с юбки сосновые хвоинки и перевязывала платок теперь уже на другой манер, по-домашнему. Он жадно, задыхаясь от внезапного восторга, следил за движениями её красивого молодого тела и уже догадывался, чем всё это может закончиться.

Уже на закате он проводил её через Ивановский Верх на большак, к селу.

После дождя было душно. Земля, глубоко разогретая дневной жарой и на всю эту глубину распаренная дождём, пахла женщиной. И он шёл к усадьбе в распахнутой рубахе и дурел от этого запаха. Он вспоминал её запахи. И — как странно! — здесь, посреди поля, распханного дождём, он чувствовал их всюду. Каждая травинка, каждое семечко в этом выжженном солнцем, а теперь так же обильно политом дождём, поле пахла ею.

Он остановился. Посмотрел назад, за Ивановский Верх. Нет, не надо было больше туда смотреть. Оглядываться. И думать о ней не надо. Побыла и побыла — будто сон приснился. Забрела случайно. Мало ли что, такой молодой, в голову взбредёт. Может, мужика давно не знала. Вот и пришла. Точно... И у него от этой догадки зажгло внутри. Грозы она побоялась... Напугаешь такую. Побыла и ушла. Своё получила. Ну и хватит о ней думать.

Но не думать о ней он не мог. Что бы ни делал, чем бы ни были заняты его руки, мысли всё равно улетали туда, в тот полдень после тёплого дождя. И он вспоминал

и вспоминал, будто пытаюсь воскресить всё сначала. И то, как она, немного поддёрнув юбку, обмывала ноги под капелью, и то, как вошла в дом, и то, что было потом.

... Он торопливо налил в электрический самовар свежей воды. Насыпал конфет и сушек из кульков в глубокую чистую тарелку.

Она вошла.

— Сейчас будем чай пить, — сказал он и усмехнулся, следя за тем, как осторожно она переступила порог и оглядывала переднюю комнату, служившую ему кухней и мастерской одновременно: — Что, боишься?

— Нет, — тихо сказала она таким тоном, что он сразу понял: не боится. И в глазах не одно только любопытство, ой не одно...

— Так-таки и не боишься? Я тут один живу. А кругом — лес.

— А чего мужика бояться? — И — почти что с вызовом, не отрывая от него взгляда, усмехнулась уголками губ: — Мужика бояться — в лес не ходить.

— Правда что, — рассеянно, думая совершенно о другом, ответил он.

Какой там чай?

После последних её слов в глазах так и поплыл туман. Внутри всё пошло волной. Должно быть, и она испытывала то же. Но он всё же останавливал себя: нет-нет, пусть всё и идёт волной, как пошло, пусть всё по её воле, по согласию, пусть первая шагнёт...

— Тебе надо переодеться.

— Да, было бы неплохо. А есть что-нибудь подходящее?

— Посмотри, там, за шторкой.

— Ты же один живёшь. Без женщины.

— Один, — согласился он.

— Откуда же у тебя для меня сухая одежда?

— Моё пока надень.

Она кивнула, вздохнула и подошла к нему. Сказала:

— Вот ты и переоденешь меня. Или боишься?

— Да что ж мне тебя бояться. Я тебе радуюсь. Ты ж ко мне — как с неба...

Он смотрел на неё, на то, как занялись румянцем её щёки, как раскрылись и вздрагивали её влажные губы. Что-то из прошлого, которое, казалось, ушло уже безвозвратно, полузабытого и несказанно дорогого, напомнили ему её полные влажные губы, сдержанная, подрагивающая улыбка, которой, казалось, она хотела защитить, закрыть от посторонних глаз свой внезапный стыд и свою смелость.

Не было тут посторонних глаз.

Он тискал пуговицы неловкими одеревеневшими пальцами, стаскивал через голову мокрую, шуршащую шёлковую рубашку, пахнущую её молодым телом и дождём, и в нем ответно поднималась забытая сила. И пошла, нарастая, та могучая волна, пахнущая и дождём, и её волосами, и влажноватой кожей, и чем-то случайным, незначительным, что потом помнится дольше всего. Волна уже захватила, опрокинула их, перехватывая дыхание то прерывистым чужим смехом, то чужим стоном. Казалось, стая птиц, охваченная неким единым порывом, крича и стелая в своём восторге разбуженного инстинкта, ворвалась в тихий доселе дом и перевернула вверх дном здесь всё: и тишину, и покой.

После чая она прибрала постель и, словно в благодарность, принялась подметать пол и смахивать паутину в углах, которую он с некоторых пор перестал замечать. Ему стало неловко смотреть на неё и он вышел во двор. Хотя смотреть на неё хотелось. Хотелось видеть, как она ходит по комнате, как наклоняется над подоконником и с улыбкой оглядывается на него через плечо.

Вот было бы так всегда, каждый день начинался бы с нею и с нею заканчивался, подумал он, стоя возле хлева и глядя в поле, за Ивановский Верх, куда она скоро уйдёт, в свою жизнь, о которой она ничего не сказала и о которой он сам ничего не хотел знать. Уйдёт, как только захочет. И унесёт весь этот мир, который только-только родился. Уляжется волна... Улетят птицы... Всё — проходит. Всё — исчезает. И особенно быстро то, чем владел как чужим. Незаслуженно.

Он ни о чём не расспрашивал её. Нет уж, встретились и разошлись... Всё равно ничего не может быть. Кто она? Что она? Её дело. Она пусть и решает, как ей поступить. Пусть на всё будет её воля. И божья. Воли моей она покуда ещё не заступает. Вот и пусть всё идёт по тому пути, который ей ведом. А может, и она сама тоже — как в потёмках?

Красивая, ухоженная, такая не может быть одной, в следующее мгновение подумал он. Так выглядит женщина, рядом с которой есть мужчина. Сейчас придёт домой, принесёт свою корзину и вечером ляжет с мужем. Как ни в чём ни бывало.

Нет, тут же вздохнул он, мужчины у неё не было давно. Уж это в женщинах он понимал.

До наступления зимы, пока не было следа, она приходила к нему ещё дважды. А как выпал снег — как отрезало. Какое-то время он мучился. В последнюю их встречу он предложил ей деньги. Она рассмеялась:

— Я что, проституткой к тебе прихожу? Нет, я прихожу и ухожу свободной женщиной. Вот так! Или ты думаешь, что не можешь так нравиться женщинам? Без денег да подарков.

— Нравиться?

Он пожал плечами. Такие вопросы всегда сбивали его с толку.

— Да, нравиться. Совсем ты одичал в лесу. Ведь может же мужчина нравиться женщине так, что она, как девочка-школьница, бежит к нему за несколько километров. По бездорожью. Через лес.

— Может быть.

— Ты уже не радуешься мне?

— Радуюсь. Как же не радоваться. Ты такая молодая. Красивая. Добрая.

Он говорил, а она смотрела на него своими зелёными, как весеннее молодое болото, глазами. Ей нравились такие минуты. Может быть, думал он, за ними она и приходила.

— А дети у свободной женщины есть? — вернул он её к прежнему разговору.

Она усмехнулась какой-то новой усмешкой, сразу напомнив ему, что он знает её не всю, что самого главного о ней он не знает, а значит, не знает её вовсе.

— Ну, есть и дети, — ответила она не сразу. — Двое.

— В школу ходят?

— Ходят.

— Вот и купи им тёплые ботинки на зиму. Детей надо беречь. И одевать тепло. А то будут болеть.

— Какой ты странный человек.

— Чем же я странный? Обыкновенный человек. Хотя, может, и правда, что немного одичал в своём лесу.

— Странный. Очень странный. С тобою не хочется расставаться. Хочется быть рядом.

Боже мой, ведь это было признание в любви. Нет, пожилые люди так не сходятся. Да и не сходились они. *Сошлись* говорят о тех, кто сходитя для того, чтобы жить вместе, как муж и жена, одной семьёй, душа в душу, как он это всегда представлял

и чего у него в жизни не получилось. Неужели она говорила именно об этом? Но ведь это было невозможно. По многим причинам.

Деньги он положил в карман её спортивной куртки и застегнул молнию, чтобы, одеваясь, она невзначай их не выронила. Потом, дома, найдёт. И на что их потратить тоже найдёт. Когда в доме дети, деньги всегда нужны. А ему они точно ни к чему.

С тех пор она не приходила. И он долгое время думал, что, возможно, из-за денег она и не приходит к нему больше. Думал, добро сделал, а вышло наоборот. Деньги всегда всё разрушают. Во всяком случае в его жизни всё было именно так. Стоит им появиться, как всё рушится. Но и без денег нельзя. Когда их нет, жизнь тоже превращается в мучение. Начинаешь зависеть от мелких обстоятельств, которые унижают и опустошают. Пропадает ощущение свободы, которое ценил выше всего на свете. Безденежье превращает человека в раба больше, чем большие деньги, которых некуда девать. Это он тоже знал.

Нет-нет, он не оплачивал её любовь. Не платил ей за её ласки, за её покорность, за её запахи и шёпот. Он дал деньги от чистого сердца. Она это должна была понять. От чистого сердца. Мало ли, может, есть какая-то срочная нужда. Вот пусть и избавится от своей нужды при помощи моих денег. Дети, в конце концов, всегда требуют больших расходов. Даже маленькие. Особенно теперь, когда о детях должны заботиться только родители. Ему почему-то казалось, что у неё маленькие дети.

Конечно, детей, если она не одна, должен содержать отец. Но о муже она помалкивала. Словно его и не было.

Но и о детях она сказала только после того, как он спросил. Должно быть, спроси он её о муже, она тоже сказала бы правду. Но спрашивать о муже он её не хотел. Словно боялся, что что-то у них сразу разрушится. Что-то очень важное и хрупкое, без чего они потом не смогут так легко смотреть друг другу в глаза и так вольно, без оглядки, ложиться рядом.

Потом... Он всегда жил с запасом. Вот и тогда подумал о *потом*. Загадал его. А зачем? Кто теперь так живёт? Теперь не надо думать о том, что будет завтра. Ну зачем с нею думать о том, что будет завтра? Разве можно с такой женщиной что-либо загадывать? Тем более, что и она ничего не загадывает наперёд. Может, именно потому-то ей и легко так. Здесь. С ним. В лесу. Как в сказке. Он вспомнил её глаза. Да, она была здесь как в сказке. Ей всё нравилось. Она на всё смотрела с любопытством. И он тоже смотрел на неё, как на сказочное существо. И сам себе тоже удивлялся.

Господи, думал он, да было ли это со мной! Могло ли вообще такое случиться? И — зачем? Есть ли во всём этом какой-либо смысл?

Он вздохнул. Ложился на диван и пытался замереть.

Разве должен быть какой-то другой смысл, когда женщина приходит к мужчине? Не самый ли главный это смысл и есть? Но почему этому, главному, всегда что-то мешает?

Он закрывал глаза: и она появлялась в его заросшем гусиной травой дворе, смотрела пристально в глаза, потом, легко поддёргнув мокрую юбку, обмывала ноги под капелью в железной бочке...

Он не знал, что думать. А не думать о ней как-то не получалось.

Зима прошла без неё.

Когда он ходил в село, жадно смотрел по сторонам, заглядывал в окна домов, которые прежде проходил с равнодушным сердцем. А вдруг где мелькнёт её лицо? Нет, не мелькнуло. Словно она и не отсюда вовсе приходила к нему. Не из этого села. Или она действительно приблизилась ему в его одиночестве. Может, действительно зря он это затеял — жить одному. Может, уже сходит с ума? И не всегда помнит себя?

Однажды он смотрел американский фильм. Психологический триллер. Так там как раз показывали нечто подобное. Если её действительно никогда не существовало... Раздвоение личности.

Да нет. Он вполне здоров. Какое к чёрту раздвоение личности? С чего ему раздваиваться? А то, что разговаривает с другом — это совсем другое.

Она жила в селе. Конечно же, она жила в этом селе. Где-то здесь, думал он. И всё в нём ходило ходуном, волновалось, тосковало.

Так, с пустым сердцем и ещё большими сомнениями, усталый, он и возвращался в свой лес. Проходя по дороге, в проулках иногда слышал: «Кабан пошёл... Знать, опять мёд приносил».

Мёд он действительно приносил. И уносил обратно несколько хрустящих пяти-сотенных, которые, придя домой, положит в жестяную банку из-под чая. Банку ту он хранил на полке, заваленной инструментами. Он знал, что так деньги не хранят. Но именно так их можно сохранить вернее, если за ними придут. В инструментах искать не будут. А если и будут... Банок таких было несколько. В них лежали гвозди и шурупы. И только в одной, самой невзрачной, — деньги. А под кроватью, всегда наготове, лежало ружьё с патроном в патроннике. Патрон был заряжен картечью. Оставалось только взвести курок.

Лучшая дробь — это картечь, вспомнил он любимое выражение друга детства и школьной юности Генки Тёмина по прозвищу Тёмич.

Тёмич остался в Афганистане. На одном из перевалов. Его бензовоз рухнул в ущелье. Взрыв. Пожар. Потом, когда спустились туда через несколько дней, чтобы забрать тело, ничего среди обгорелых обломков машин не нашли. Может, звери растащили. А может, расклевали птицы. Других привозили, хоронили на городских и сельских кладбищах по всей России. А Тёмича не привезли. Спускался в то ущелье и он...

Из всех, кого он знал в прошлом, Тёмич был самым близким ему человеком. Он, как ему порой казалось, и вообще был единственным, с кем можно было мысленно поговорить. Даже спросить о чём-то. Как поступить. Как решить. Потому что он знал, что сказал бы по этому поводу его друг Тёмич. Иногда он даже слышал его голос.

У Тёмича был дед, глухой столетний старик. А может, это был прадед? Слишком старый для деда. Скорее всего, всё же прадед. Конечно, прадед. Деда Тёмича, по отцовской линии, убили на войне. На той, на главной, на Отечественной. Точно-точно, вспомнил он, Тёмич как-то приносил в школу фотографию. Молодой красавец в солдатской гимнастёрке с лейтенантскими погонами и двумя, не то тремя орденами. А глухой древний дед Пахом был прадедом. И этот дед Пахом хранил старое-престарое шомпольное ружьё. Висело оно у него на лосином роге над топчаном, на котором последние годы старик и жил день и ночь, иногда лишь, по надобности, выбираясь на двор да посидеть на скамеечке под топодем. Тёмич смеялся, снимая с рога шомполку: «Дед Пахом с ним на французов ходил». Старик в ответ улыбался. Может, понимал по губам, что говорили они о его ружьё. А может, просто радовался, что они, молодые, разговаривают с ним, о ком все давно уже позабыли.

Как хорошо, должно быть, на свете жить, вздохнул он, когда о тебе все забыли. Настолько забыли, что даже и не сожалеют о том, что ты существовал. Как будто тебя и не было никогда. И ты, Тёмич, вовремя погиб, подумал он о друге.

— Я ведь знаю твой характер. Ты бы не смог здесь жить. Да, прости, не смог бы. А какое у нас тобой было ружьё! Помнишь? Как мы с тобой из него ворон сшибали!

Он хорошо помнил это ружьё. Ложа во всю длину ствола. Никакого цевья. Шомпол крепился снизу, как у винтовки или карабина. Замок солдатского образца. При-

клад, окованный сверху металлической воронёной накладкой. Однажды они с Тёмичем отсыпали дымного пороха, набрали пакли, чтобы забивать её в ствол вместо пыжей, наделали из свинца дроби и пошли в лес. Ворону они сбивали со ста шагов. Главное, не спешить и хорошенько прицелиться.

Когда он нашёл в чулане одностволку, сразу вспомнил Тёмича и их походы на воронью охоту. Однажды Тёмич по ошибке, заторопившись, засыпал две мерки пороха. Отдача была такой, что его сбilo с ног и из носа потекла кровь. Они испугались, думали, что разорвало ствол. Но ружьё оказалось в порядке, ствол даже не раздуло.

Глава третья

Женщина. По заметённой стёжке, держась вешек, шла женщина.

К нему шла она.

Он сглотнул комок, запершивший в горле, схватил лыжи, воткнутые в снег рядом с калиткой, и побежал навстречу.

Она шла и, то и дело оступаясь, падала на колени и, должно быть, совсем выбилась из сил. На ней была жёлтая, уже знакомая ему куртка, вязаная шапочка и спортивные шаровары, заправленные в замшевые, поношенные сапожки. Она раскраснелась, расстегнула куртку, распустила длинный шарф, который одним концом тащился по снегу. Он разглядывал её, жадно любуясь всем: и одеждой, и движениями, и усталой улыбкой, и тем, что она молчала, как чужая, хотя улыбка уже говорила о многом. О том, к примеру, как она рада, что снова здесь и видит его живым и здоровым, и что он, тоже радостный, вышел встретить её.

— Пришла?

Он остановился перед ней в нерешительности, ещё не зная, с чем она пришла. А она так и прыгнула к нему в руки.

— Ой, уморилась! Пока добралась до твоей берлоги. Ой, моченьки моей больше нету! — Слова и смех так и полились из неё долгожданным молодым ручьём.

Боже, смятённо думал он. За что это мне? За что? Я же не достоин и взгляда этой женщины. Что же это происходит? Неужто во всём этом нет никакого умысла, кроме божия? Кроме их влечения друг к другу?

— Вставай на лыжи. Так идти легче. — И он высвободил валенки из лыжных ремней, подумал: радостная пришла, с добром, как всегда.

Она пошла на его широких охотничьих лыжах умело, быстро. Так и убегала от него и время от времени оглядывалась, останавливалась и ждала. А он бежал следом, едва поспевая, и снова любовался ею. Казалось, так бы и бежал за нею, за этой нечаянной в его жизни женщиной, на край всех дорог и путей. Куда угодно. Только чтобы поле это, белое, золотое от солнца, с апельсиновой коркой наледи на холмах и взгорьях, никогда не кончалось. И — чтобы не встретилось им в этом поле никого. Он хорошо знал людей. И то, что даже взгляд чужого, всего лишь взгляд, мог разрушить всё. Не надо никого.

Но следующее мгновение вдруг пронзило его острой холодной мыслью: а разве сам он не загляделся на чужое? И не только загляделся, а уже и взял. Взял и пользуется. Если она, эта женщина, чья-то жена, то кто он ей? И вообще: кто он здесь, в этом поле? С нею рядом — кто?

Сумерки стали затекать в его жилище через обмётанные морозом незашторенные окна, расплываться по углам сизоватым туманцем, а она всё лежала рядом с ним, тихо дыша и изредка перекладывая то руку, то ногу, устраиваясь поудобнее.

— Можно, я у тебя поживу? — вдруг спросила она.

И сумерки сразу стали понятными и не такими беспокойными. Но он всё же не знал, что ей ответить. Сперва, в первое мгновение, он обрадовался. Всю ночь она будет рядом — молодая, жаркая, послушная каждому его желанию. И утром он проснётся рядом с нею. И всё повторится.

Ясная ты моя, зачем же ты пришла ко мне? Неужто просто по женскому своему умыслу?

Он открыл глаза и увидел её полную щёку без морщин, розовую, как у ребёнка, и мочку уха с недорогой золотой серёжкой.

У его жены было много золота. Всё осталось дочери. Целая шкатулка. Несколько горстей. Дорогие серьги и кольца. И с изумрудами, и с бриллиантами, и с агатами, и с рубинами. Он дарил ей к каждому дню рождения, к каждому Новому году, к каждому дню свадьбы. Деньги у него водились всегда, даже в самые трудные времена, и на эти подарки он не выкраивал. Деньги, как и женщины, к нему приходили сами. Он это знал и с некоторым пор этого боялся.

— Что-нибудь случилось? — спросил он так, чтобы она не почувствовала его насторожённости.

— Нет. Просто у меня появилось несколько свободных дней, которые я хочу провести так, как хочется мне. А что? Ты испугался? Ты боишься меня? — спросила вдруг она, словно угадывая его мысли.

Странно они общались. Ни он не знал её имени, ни она — его. И не нуждались в этом.

— Дети у бабушки. И я на целых три дня — вольная птица!

— Оставайся, — сказал он и погладил её плечи, полноватые и белые, как и вся она.

Ясная ты моя... Пожить? У меня? Что ж тут у меня хорошего? Лес да поле. Корова да куры.

Он закрыл глаза и подумал: если сейчас сбросить с неё одеяло, она вся будет сиять. До того белая и нежная у неё кожа. До того хорошо она сложена. И даже некоторая полнота ничуть не портила её. Наоборот, она была так хороша, что каждое прикосновение к ней рождали в нём сладкий забытый восторг и смутную тревогу. Он до сих пор не мог поверить в то, что происходит. Ведь и в молодые годы у него не было такой женщины.

Он не был в своей прошлой жизни однолюбом. Ещё в школе случилась любовь, которую, наверное, и можно назвать первой. Во всяком случае, когда он что-нибудь слышал о первой любви, то всегда вспоминал ту девочку из десятого «А» класса. Как её звали? Валея. Валя, Валенька, Валюша... Он учился в девятом, она — на год старше. Жили в интернате за десять километров от родной деревни. Раз в месяц — школьный вечер с танцами под проигрыватель. Тогда в моде были гибкие пластинки, которые продавались в любом магазине культтоваров. 10 коп. штука. Две песни на одной стороне и две песни на другой. Ободзинский, Магомаев, Лили Иванова. Робея, с пересыхающим горлом, он приглашал её на танец и чувствовал, как варом обжигает затылок и спину, которых касались её руки. Хорошо, что Валя была постарше его и поопытнее. Тёмич всегда шарился из какого-нибудь тёмного угла, делал дурацкие жесты, а потом интересовался: «Ну, как она? Ты её хоть прижал?» И смеялся, и одобритительно хлопал по плечу: «А у Валея есть за что потрогать...» Он опрокидывал его кулаком в грудь. А Тёмич вставал и смеялся. Никогда в жизни он ни с кем не делился разговорами на эту тему. Как не делился ни с кем и своими женщинами. С Валея они встречались за школой, на стадионе, где вечером не было никого, кроме школьного коня Гамаюна. Гамаюн был старый-престарый

одр, оставленный в тамошних краях во время войны, в сорок третьем году, когда наши войска наступали на Вязьму и освободили село и окрестные деревни. Конь был ранен в ногу и, кажется, контужен. После войны он лет двадцать добросовестно служил школе, как тяговая сила, в её немалом хозяйстве. Но в то время Гамаюна уже не запрягали. На бойню его тоже не брали. Никому он уже был не нужен. Летом пасся в школьном саду или на стадионе. А зиму стоял в конюшне, доживал свой век, как старый слуга при добром барине. Так вот Гамаюн и был единственным свидетелем их встреч. Валя приносила коню леденцы. И вскоре он стал приветствовать их взмахами головы и восторженным храпом. С Валею они целовались так, что немели губы. Потом, через несколько лет, когда он уже отслужил в армии и работал на заводе, встретил её совершенно случайно в одной из командировок в чужом городе, куда возил чертежи реконструкции какого-то станка. Он жил в гостинице. Снял отдельный номер, выйдя, конечно же, из отведённого лимита выданных ему командировочных. Валя пришла к нему. Уверенная и ещё более опытная. Так у него в жизни складывалось почти всегда: женщина сама делала первый шаг. Другой встречи, после той, гостиничной ночи, так и не произошло. Хотя она потом несколько раз звонила ему по межгороду. И он ей тоже звонил. Что-то загадывали. Искали какой-то возможности или случая встретиться снова, но так больше и не встретились. Только зря разрушили школьную сказку. Зачем? Не надо возвращаться туда, где когда-то был счастлив. Старая истина. Почему они пренебрегли ею? Хотели взять от жизни большего? Но ведь зачастую этого сделать невозможно. Пусть бы остались в памяти жадные, взасос, поцелуи до одурения, до того, что и у неё, и у него начинали стучать зубы. Пусть бы вспоминался пустынный стадион со скамеечкой, нагретой ими, конь в темноте, хрумкающий травой, а не гостиничные простыни, плохо отглаженные и пахнущие хлоркой, как в больнице.

Нет, с горечью вспоминал он школьное, навсегда утраченное и невозвратное, человеку надо всё разрушить. Свести всё к одному, к мятым простыням, пахнущим невесть чем, и разрушить.

А потом была лаборантка из цеха. С нею он познакомился во время какой-то турпоездки. Она любила петь под гитару. Обожала компании у костра. Почти каждые выходные сломя голову мчались то в один город, то в другой. У неё везде были друзья, знакомые. Такие же одержимые. Джинсовые мальчики и девочки, пол которых зачастую сразу нельзя было определить по внешности. У всех любимым предметом в руках была гитара. С той любвеобильной лаборанткой они уединялись везде, где только могли. Им казалось, что они крадут друг друга у судьбы, и делали это с азартом и изобретательностью, так что холодило кровь. Он уволился с завода. И турпоездки, слава богу, прекратились. Уже тогда ему не особенно нравилось, когда слишком много людей мелькают перед глазами и исчезают навсегда.

Вскоре появилась продавщица из обувного отдела универмага. Зашёл купить новые ботинки. Ничего подходящего подобрать не смог. Да и выбора не было. Какой выбор в обувном магазине в областном центре в начале семидесятых? И тут продавщица сказала ему, что на следующей неделе к ним должны завезти новую партию товара. Дала телефон, чтобы позвонивал. Ниже номера телефона написала своё имя. Смотрел он, смотрел на ту бумажку и вечером позвонил. Пригласил в кино. Билеты купил заранее. Смотрели тогда то ли «Кавказскую пленницу», то ли «Бриллиантовую руку». Фильм весёлый, смешной. На выходе из кинозала старшущи продавали букетики лесных фиалок. Стоял июнь. Только что прошёл дождь. И он купил ей фиалки. Она так обрадовалась, что сразу поцеловала его. Звали её, кажется, Галей. Приехала она из деревни. Снимала комнату в частном доме в старых городских кварталах.

Мечтала поступить в пединститут, куда уже дважды сдавала экзамены и дважды не добирала проходного балла. Галя была очень хозяйственная, домовитая. Вскоре, ещё и обещанный товар в магазин не завезли, она пригласила его к себе на квартиру, в гости. После этого он бывал у неё часто. Галя всегда вначале кормила его или окрошкой, или котлетами. Вот уж была бы хорошая жена. Да не судьба. Однажды за нею приехал отец. Через месяц он получил короткое, в несколько строк, письмо со знакомым почерком: выхожу замуж, в город больше не приеду, прощай... На конверте стоял штемпель почтового отделения её родного села. У Гали в комнате у окна стояла пружинная кровать. Казалось, они так ей надоели, что она под ними не просто скрипела, а визжала с хриплым придыханием. И от этого визга даже мыши затихали в полночный час за толстыми, в несколько слоёв, обоями.

Но всё это были девочки.

Женщин же было всего две. На одной из них он вскоре женился.

Свет в доме они не включали. Так и лежали в темноте, объятые теплом жарко натопленной печи. Раскалённая плита долго малиново посвечивала в углу, матово озаряя край стола и рёбра никелированного самовара. Посапывал, то и дело выхлестывая из носика несколько капель, чёрный чайник на кирпичах, которые тоже раскалились, побелели. Но вскоре плита начала тускнеть. И в доме стало совсем темно. Так бывало только в непогодь, когда не светили ни звёзды, ни Млечный Путь, ни луна. Перестал посапывать чайник. Только плита всё ещё разносила свой дух — смесь окалины и чая, крепко заваренного травами.

Может, время ушло уже за полночь, когда забрехал во дворе Разбой, и он, быстро одевшись и сверху накинув телогрейку, вышел на улицу.

Снег падал тихо, без ветра. Слышно было, как снежинки, летя, сталкивались, задевали ветви рябин и мягко шуршали. Даже, если прислушаться, кажется, позванивали.

Разбой со звоном таскал по снегу цепь. Пёс сразу почувствовал присутствие хозяина, хотя тот и вышел тихо, и некоторое время неподвижно стоял в тёмном простенке под стрехой. Слушал и всматривался в ночь. Но Разбой об этом знал, потому что так хозяин делал всегда. И так, неподвижно, тот мог простоять и полчаса, и час.

Что-то было не так. Разбой взвизгнул, натянул цепь, брехнул злобно в сторону сараев, словно указывая ему: там. На усадьбе явно был кто-то посторонний. Или хори играют, или лиса пришла, подумал он, вслушиваясь в шуршание снега и чувствуя, как остывает под пальцем скоба спускового механизма ружья, стволом опущенного вниз.

Он знал, что у многих зверей и зверушек в это время начинались брачные игры, гон. У хорей, к примеру, или у куниц. За ночь парочка натаптывала столько дорог, что, кажется, корова и за лето столько не находит. Играя, забегают и к нему. И по сараям пролетят, и вокруг кладушек дров, и под крыльцо заглянут.

Скрипнул снег. Не калитка — снег. Ветра ведь не было. Кто-то пришёл к нему на усадьбу. Пришёл и стоял где-то там, куда снова рванулся Разбой. Хрипя на тесном ошейнике, пёс залаял с такой яростью, что, казалось, спусти его сейчас с цепи, он и медведя разорвёт.

Надо ждать. Замереть и ждать. Ружьё заряжено картечью. Ждать. Он умел терпеливо ждать. Этим качеством он отличался с детства.

И терпение его вскоре увенчалось: из-за сарая вышел человек, осторожно прошёл мимо собачьей будки, держась поодаль от заливавшегося в злобном неистовом лае Разбоя.

Теперь самое главное убедиться, что он пришёл один. Один не страшен. Для этого снова надо было ждать. Неподвижно стоять в укромной, надёжной тени простенка,

следить за незнакомцем и слушать, наблюдать, не мелькнёт ли ещё кто-нибудь, не скрипнет ли снег где-то ещё.

Других звуков ночь не таила. Человек, пришедший сюда, был один.

— Стой! — Сказал он негромко и взвёл курок.

— Убери пушку, брат, — ответила темень; снег глушил звуки, но люди хорошо слышали друг друга. — У меня, как видишь, тоже ружьё есть.

— Я тебе не брат. Что тебе надо?

— Подожди отказываться, — сказал незнакомец, не скрывая усмешки, которая что-то таила, какую-то угрозу. — Может, и брат. Да ещё какой! Хотя ты мне и не нужен. Век бы я тебя... Я свою бабу ищу.

Разбой рвал цепь и не понимал, почему медлит хозяин.

Люди молчали. Наконец, чужой спросил:

— Она здесь?

— Нет, — ответил он и тут же спохватился: я что, боюсь его, что говорю неправду?

— Она здесь, — сказал незнакомец; в голосе и интонации его была спокойная уверенность, как будто он долго искал, искал, а теперь нашёл того, кого искал, и был этим удовлетворён. — Я видел её след. След повернул сюда.

Он, тоже спокойно, молчал. Не надо торопиться разговаривать с чужим, тем более, что чужой сам ещё не выговорился. Пусть скажет всё.

И тот снова заговорил:

— Ну что, как будем делить её? А то, что она здесь, я просто уверен.

Чепуха, подумал он, след он не мог видеть, потому что ещё с вечера все следы завалило снегом. А правду говорить нельзя. Ради неё.

— Уходи. Твоего тут ничего нет.

— А я говорю, она здесь. Хочешь, на спор, я палец свой отстрелю? А? И — мы посмотрим. — Человек указал пальцем на дом. — Но если она здесь, то я отстрелю и твой палец. Но не один, а два.

Он молча качнул ружьём.

— Убери ружьё. А то я нервный...

— Уходи. Я живу один. Мне никто не нужен.

— Не нужен, говоришь? И баба не нужна? Как это мужик без бабы может жить?

— Уходи.

— Без неё я не уйду. Я знаю, что она здесь. Лучше давай по-хорошему всё решим. Без стрельбы.

Он молчал.

— Послушай, Кабан, — не выдержал молчания незнакомец, — пусть она выйдет по-хорошему и идёт домой. Она — моя женщина. Я с нею жил до тебя. Почти год. Я знаю, у неё характер. Как забьёт что в голову, то... Пусть выйдет. Я хочу поговорить с ней. Пальцем не трону.

Незнакомец умолял. Вскоре он опустил голову и замолчал. И вдруг закричал зло:

— Ты что, не слышишь меня? Она — моя! Она от меня два аборта сделала! Да я её, суку!..

— Убери руку с ружья, — предупредил он незнакомца; видимо, в его голосе тот почувствовал такое, что сразу пришёл в себя.

— Ты же старый. Слышишь, Кабан. Ну что тебе надо? Надоела спокойная жизнь? Свежатинки захотелось? Уезжал бы ты отсюда. Тебя здесь все ненавидят. Или ровню себе найди. Вон сколько баб одиноких. Только позови... А? Ну, хочешь, я тебе приведу? Любую приведу. Только скажи. Ну, давай договоримся по-хорошему? Такую сучку приведу, что ноги тебе будет мыть. А? И по хозяйству помогать. У тебя же хозяйство вон какое! Как помещик живёшь. Тебе же батрачка нужна!

Он молчал. Дуло его одностволки покачивалось на уровне живота незнакомца. Тот это видел. И, должно быть, именно это его пока и удерживало.

— Ладно, Кабан, я уйду. Но, попомни моё слово, тебе её не видать. И эта ваша ночь — последняя. А она за неё ещё ответит.

Незнакомец переступил с ноги на ногу, будто решая, какой дорогой уходить, и шагнул на тропу, уводившую к вешкам, на Ивановский Верх.

Немного выждав, он пошёл за ним. Надо было проводить его.

— Ухожу, ухожу! — Незнакомец засмеялся; он смеялся с какой-то затаённой злой силой, которую должен был почувствовать и тот, кто шёл следом.

И тот почувствовал её. Внутри у него поднялась горькая, беспокойная волна и на мгновение перегородила дыхание. Хотелось броситься следом за идущим впереди, догнать его в несколько прыжков, смять, придавить, чтобы не слышать больше ни его угроз, ни претензий на ту, которая сейчас спала в его доме и которую он уже не мог отдать никому.

Вскоре он увидел, как незнакомец встал на лыжи. Лыжи его были спрятаны под берёзой возле стёжки.

— Завтра утром свидимся, Кабан! Так что подумай. Время ещё есть.

Он долго стоял на стёжке, слушал удаляющиеся поскрипывание лыж. Звуки становились всё глуше и тише и, наконец, вовсе пропали в шорохе снегопада.

Он вернулся к дому и включил фонарь на столбе. Жёлтый свет слабенькой электрической лампочки заполнил двор, осветил крыши дома и хлевов, беспорядочные следы на рыхлом снегу. Глядя на следы, он удивился, как много они натоптали. А ему казалось, что он, да и незнакомец тоже, всё время стояли на одном месте.

— Вот какие хреновые дела, Тёмич, — тихо окликнул он давно погибшего друга. — Что ты мне посоветуешь? Как я должен поступить? Тут стрельбой дело не решишь...

Снег шуршал и шуршал вверху, в ветвях берёз и ракит, звонил в свои вековые колокольца. Разбой тоже присмирел, успокоившись и уже не чувствуя в воздухе запаха чужого, улёгся в будке и прикрыл глаза. Но время от времени он их открывал и, по-человечьи дёргая бровями, вопросительно и насторожённо смотрел на хозяина. Тишину наполнял снег.

— Что ж ты молчишь, друг?

В армию они уходили вместе. Да и потом какое-то время оказались рядом. В их сельсовете набралось одиннадцать человек одного призыва. И председатель колхоза, бывший фронтовик-бронбойщик, которого в народе звали дядя Коля Курская Дуга, распорядился устроить коллективные проводы, в столовой. За колхозный же счёт. Вот уж повеселились тогда! До утра! А утром, не выспавшихся, с осоловелыми глазами, их под руки загрузили в кузов колхозной «летучки», чтобы отвезти в райцентр, на пункт сбора. Тёмич, видать махнувший лишнюю стопку и не рассчитавший своих сил и стойкости, сразу повалился в солому и тут же уснул. Потом, когда поехали на станцию, километрах в пяти от деревни, его вдруг начало мутить. Открыли заднюю дверцу. И он держал своего друга за ноги и за брючный ремень, упёршись ногами в металлические уголки проёма, чтобы не выпасть на дорогу вместе с ним. «Тёмич! Гад ты такой! Я тебя сейчас брошу!» — орал он на него, побелевшими пальцами из последних сил держа его за штаны и ремень, из которых он, обмякший и в одно мгновение похудевший, то и дело выползал, как червяк. «Друг, не бросай! Не бросай меня, друг!» — испуганно отозвался тогда Тёмич, видимо, всерьёз восприняв его угрозу. Потом, на станции, он отмывал и отпаивал друга возле водоразборной колонки. Прапорщик из военкомата построил новобранцев на перроне. Их набралось

из сёл и деревень человек сто. Рота! Проверял прибывших по списку. Только они двое не успели встать в строй. Прапорщик закончил поверку, подошёл к ним и громко выкрикнул их фамилии. И тут Тёмича ещё раз, теперь уже в последний, стошнило. Годы спустя, когда судьба сводила его с кем-нибудь из ста, стоявших в то утро в строю на перроне возле железнодорожной станции, и они вдруг вспоминали о своих погибших, Тёмича вспоминали в первую очередь. Его запомнили все. «А, это тот, который чуть не облевал прапора...»

Всё-таки лучшее, что посылает человеку бог и судьба, это — друг. Иногда это бывает и женщина. Вот тогда человек счастлив по-настоящему. Но такое случается редко. Почти не случается. Жена. Чаще всего рядом оказывается жена. Но жена всегда излишне требовательна. А если ещё и несправедлива... Друг же тебя всегда может принять таким, какой ты есть. И каким стал. И всегда сумеет понять. Не всегда, быть может, помочь. Но это не всегда и нужно. Понимание — это, зачастую, больше, чем помощь.

Из одиннадцати человек, призванных из их сельсовета, трое попали в ГСВГ — Группу советских войск в Германии, двое в Монголию, двое в Афганистан. Остальные तो куда: на Украину, на Кавказ, в Казахстан и Забайкалье. В те годы в соседней деревне не служили. Так что в России до Урала не остался никто из них.

В Афган попали они вдвоём. Как всегда, им везло больше... Тёмич — через полгода после призыва. Он — через год. Тёмич служил в автомобильном батальоне. Он — в отдельной десантной роте. Её и формировали как отдельную, по усиленному штату — вместе с офицерами и прапорщиками-сверхсрочниками почти двести человек. В роту дополнительно входили два взвода: пулемётный и миномётный. Кроме того, что в каждом отделении был свой пулемётчик и гранатомётчик. Да плюс сапёрная группа. Бросали с места на место. То сопровождение, то зачистка. Хуже всего было в сопровождении. Не знаешь, когда и откуда прилетит пуля или граната.

Тёмича он отыскал вскоре по прибытии. Служили-то рядом. Несколько раз довелось свидеться. У Тёмича была, конечно, служба смертника. Когда они увиделись в последний раз, тот показал ему свою медаль «За боевые заслуги». «Видишь, — сказал он. — Я теперь герой. В Союзе все девки — мои. Теперь ты мне будешь от них записочки носить». Они рассмеялись. Вспомнили школу и то, как Тёмич на переменах носил ему от Вали записки. «Помнишь? Я ж, как верный голубь, летал между десятым «А» и девятым «Б» Ты это, друг, не забывай.» Он его редко называл по имени, всегда: «Друг». И больше никого он не окликал этим словом. «А медаль мне, знаешь, за что дали? Это ведь только вы, десантура, подвиги совершаете. Вон вы как оружием обвешаны. А у нас как... Всё просто: десять рейсов через этот чёртов перевал и — получи заслуженную медальку! У меня уже семнадцать рейсов. Два раза попал под обстрел. У меня гробовая машина — «наливник». Лучшая цель для «духов». За «наливники» им платят почти как за подбитый танк. Поэтому «духи» сразу вычисляют нас в колонне и стараются сразу же попасть из гранатомёта или базуки. А что такое — кумулятивная граната в «наливник», в котором несколько тонн бензина или авиационного керосина... В лучшем случае — пожар. И тогда есть ещё несколько секунд отбежать подальше и лечь за камни. Хотя это бесполезно. Взрывом доплеснёт... Чаще всего вначале всё же взрыв, от которого слетает в ущелье три-четыре соседние машины. Во время обстрела от нас, «наливников», машины шарахаются во все стороны, как от прокажённых. С базы в колонне тоже, как правило, ставят молодых салаг. Которых не жалко. Комбат мне уже сказал: «Рядовой Тёмин, сделаешь ещё три рейса, получишь «За отвагу» и отправлю я тебя на базу в Союз. Будешь инструктором». У нас там, под Душанбе, база. Так что скоро заделаюсь начальством. Видишь, какая кра-

сивая? — Тёмич положил медаль на свою грязную, пахнущую солярой ладонь и покачал ею, будто пробуя на вес. — А тебе, друг, чтобы такую получить, надо, наверно, кучу «духов» завалить? А я, честно сказать, их ещё ни разу и не видел. Так, издали. Палили по ним почти в слепую. Отбивались. Мелькали вверху, за камнями. И так два раза. Наши пули — туда. Их — к нам. Потом ушли. Мы своих убитых потащили. Они — своих.»

Через несколько дней, во время очередного рейса, колонну, в которой ехал и Тёмич, обстреляла крупная банда. В «наливник» Тёмича попали сразу несколько гранат.

Их роту потом прислали на зачистку района. Он уже знал, где упал бензовоз Тёмича. Через несколько дней, как только они устроились на перевале, заняв круговую оборону и заминировав все подступы, кроме тропы, он уговорил ротного отпустить его на поиски друга. «Никого ты там уже не найдёшь, сержант, — сказал ему капитан. — Сколько дней прошло?» — «Больше недели». — «Бесполезно. В школе, говоришь, вместе учились?» — «Да, в одном классе». — «Тогда иди. Тогда надо. Чтобы не думать потом...» Они пошли вчетвером. Так приказал капитан: сапёр, пулемётчик и один бывший спортсмен-альпинист. Долго шли по козьей тропе. Потом, когда тропа оборвалась, он надел альпинистское снаряжение, и его медленно спустили вниз, к ручью.

В ущелье дул пронизывающий ветер. Его раскачивало так, что несколько раз он ударился об отвесную скалу, рассёк руку. У него навсегда остался шрам на запястье. Не перевязал вовремя, не обработал как следует ту царапину и она потом месяц гноилась, выболев глубоко, чуть ли не до кости.

Тёмича внизу он не нашёл. На камнях возле ручья валялись остовы нескольких машин и коробка БТРа. Ржавые, выгоревшие, искорёженные, с глубокими сквозными лунками пулевых пробоин. Трудно было представить, что когда-то это были машины, на которых ездили люди. «Наливник» Тёмича лежал немного в стороне. Он ещё был свеженький. И отличался от остальных на этом мрачном кладбище разбитой техники даже цветом. Чёрная, ещё не успевшая покрыться рыжим камуфляжем ржавчины гряда сплющенного металла. «Наливник», по всему виду, продолжал гореть даже внизу. Чёрная копоть выгоревшей соляры круглым маслянистым пятном покрывала окрестные камни. Шасси лежало отдельно. Цистерна — отдельно. В цистерне несколько вогнутых входных отверстий с кулак. Отверстия с обеих сторон. Значит, вели огонь с двух склонов одновременно. Люки сорваны. Видимо, взрывом.

Он обшарил кругом всё. Заглянул за каждый камешек. Обошёл кладбище разбитой техники несколько раз, зная, что сюда больше не попадёт уже никогда. Ему уже кричали сверху, нетерпеливо дёргали за верёвку и матерились. Время, отпущенное ему для поисков, истекло. Ничего и никого он не нашёл. Прав оказался капитан. Брезент, свёрнутый в тугую трубку, болтался на второй верёвке. Его раскачивало ветром и било о скалу. Брезент не понадобился. Тёмича он не нашёл. Ни останков, ни обгорелых костей. Обгорелые трупы водителей и танкистов и то, что от них иногда оставалось в выгоревших дотла БТРах, он не раз видел на дорогах. Здесь он не нашёл даже этого.

Он пристегнул карабины, подёргал за верёвку. И когда уже поднялся по скале вверх метров на шесть-семь, в узкой расщелине увидел чехол бритвенного прибора. Он сразу его узнал. Это была бритва Тёмича. «Стоп! Трави по малу!» — крикнул он вверх и начал раскачиваться, чтобы зацепиться хотя бы ногой за отвесный уступ и затем подтянуться к расщелине. Вскоре он добрался до неё, мушкой автомата зацепил чехол и подтащил его к краю. Свою бритву Тёмич хранил в машине, в бардачке рядом с медицинской аптечкой и разной шофёрской чепухой, без которой в дороге не обойтись. В чехле, сверху,

должна лежать медаль «За боевые заслуги». Во время последней встречи Тёмич вытащил её именно оттуда и туда же потом положил. «Почему не носишь?» — спросил он тогда друга. И Тёмич ответил: «Да у нас в батальоне как-то не принято. Да и руки у меня, видишь, грязные. Измажу всю. Пусть будет новенькая. До дембеля».

Наверху, когда его подняли и освободили от снаряжения, он дрожащими руками расстегнул молнию чехла. Никакой бритвы там не оказалось. Пачка сигарет. Сигареты самые обыкновенные, солдатские, дешёвая «Прима». Несколько купюр афганей и советских «трояков». Письма. И медаль.

Сигареты он потом, когда вернулись, отдал десанникам. Всем разделил поровну, только пулемётчику досталось на одну сигарету больше. Так получилось. Никто не обиделся. Пулемётчикам принято было уступать.

Письма... В основном это были его письма, которые он посылал Тёмичу ещё из Союза, когда их отдельную роту муштровали на полигоне под Самаркандом, готовя к маршу за перевал.

Через несколько месяцев он вернулся домой. Первое, что он сделал, зашёл к родителям Тёмича. Дед Пахом уже умер. Одна шомполка от него осталась на ржавом гвозде за печкой. Мать, отец и две сестры. Весть о том, что он вернулся домой, уже облетела деревню. И его ждали в этом доме тоже. Ох, как трудно было рассказывать о том, как он искал их сына и брата, а своего друга на том кладбище ржавого железа. Легче было ещё раз спуститься туда и оттуда, издали, чтобы не смотреть в глаза и не слышать их вздохов и всхлипов, прокричать им, что Тёмича больше нет, что он погиб, но он его не нашёл. В извещении им написали, что пропал без вести. Всё правильно: если тела не обнаружено и не освидетельствовано как положено, что оно принадлежит такому-то, военнослужащий считается пропавшим без вести. О медали он ничего не сказал. Он испугался, что, если отдаст им медаль, то от друга у него ничего не останется. Письма свои он зачем-то сжёг. Перед тем, как сжечь, он перечитал их. Одно за другим. Каждую строчку и каждое слово он взвесил на своих весах и пришёл к выводу, что всё — пустое. В них не было друга.

И теперь, вспоминая Тёмича и разговаривая с ним, он подумал, что когда-нибудь расскажет о нём и ей. Когда-нибудь...

Глава четвёртая

Всю ночь на холоде не простоишь. Надо было возвращаться в дом. Там было тепло. Там, в жаркой постели, ждала его женщина, которую он теперь не уступит никому.

Кто был он ей?

И кто был тот, который только что ушёл по тропе через Ивановский Верх к большаку?

И кто была она, эта женщина, для каждого из них? Наверное, он был самым случайным и ненужным во всей этой истории. В том числе и для неё. То, что он услышал от незнакомца, пусть даже и не совсем правда, и — не вся правда. Пусть это правда всего лишь одного человека. И этот человек тоже, быть может, по-своему загнан в угол. И правда его осложнена многим. В том числе и неправдой. Но это были чужие сложности, в которых ему не оставалось места. Нет, в следующее мгновение стиснул он зубы, она пришла сюда сама, и ей решать, что и как. Пусть решает женщина. Пусть решит она.

Но эта мысль успокоила его лишь в первые мгновения.

Он накинул на петлю тяжёлый крючок. Разделся и подошёл к кровати. Одеядо было откинута, и женщина, он это сразу понял, лежала перед ним в позе последнего ожидания. Он это почувствовал в крошечной темени по её дыханию. Он коснулся её

согнутого колена, бархатистой прохладной кожи и почувствовал дрожь этого её ожидания. Через минуту он овладел ею, и ему показалось, что такого полного счастья он не испытывал ещё никогда в своей жизни ни с одной женщиной. Она стонала и закидывала голову, стискивая зубы и дрожа всем телом, стараясь подобрать всю его силу, не пропустить ни одного движения, не уронить ничего. Она отдавалась с такой жадностью, с таким самозабвением, что казалась безумной и, участвуя в этом безумии, можно было и самому сойти с ума.

Нет, подумал он ошалело, я не отдам её. Никому я её не отдам. И будь ты ей хоть кто, не отдам. Пока она сама...

Засыпая, он подумал о Тёмиче. Как всегда в трудные минуты, рядом не хватало человека, который мог бы сказать тебе правду о тебе самом. Чтобы знать, как поступить в следующее мгновение. Он сказал:

— Друг. Приснись хоть раз.

Ни разу Тёмич ему не приснился. Ни там, в Афгане, ни после. Никогда. И он почувствовал, как закрытые глаза наполняются слезой. По ком была эта внезапная слеза? Чью печаль она притекла утолить? Чьи горести утешить? Его? Но он никогда не знал слёз и, если жизнь обваливалась на него всеми своими невзгодами и отнимала самое дорогое, он переживал это иначе. А может, это слеза друга холодила его дрожащие веки? Может, Тёмич тем самым и подавал ему некий знак, который он должен теперь разгадать. Ты ж подскажи.

— Подскажи, что тебе стоит... — прошептал он.

Друг не приснился ему и в эту ночь.

Утром, уже рассвело, он встал и быстро оделся.

— Не ходи куда.

— Так ведь уже день.

— Ну и что? Кто тебя куда гонит? Ты же здесь — свободный человек. Сам себе князь. Или я тебе уже наскучила?

Он постоял немного, будто в раздумье, и вернулся к ней. Так вот что её сюда, ко мне, влечёт — свобода. Живи как живётся. Вот чего ей не хватало там, в селе, среди людей. Он разделся. Лёг. И вдруг сказал ей:

— А может, ему денег дать?

— Ты что! С какой это стати? — Она вскочила на колени и посмотрела на него испуганно. — Он мне никто! Понятно?

— Он сказал, что жил с тобою целый год.

— Ну и что? Я ему не жена. А что было, то прошло.

Она откинулась на подушки, вздохнула, сказала:

— У него с головой не всё в порядке. Психованный. Сделал плётку, знаешь, как у казаков или цыган. Сунул её за голенище и по квартире расхаживает. А сам, вижу, на меня смотрит. Я спросила: зачем, мол, тебе плётка? А он: для тебя. Я думала, пошутил. А раз возьми и ударь меня той плёткой... Да так исхлестал, зараза. Месяц в баню не ходила, раздеться стыдно было.

— За что же он тебя?

— Да так... Померещилось ему спяну, что я на другого глянула. На свадьбе гуляли. Танцевать меня один пригласил, приезжий. А домой пришли, схватил плётку и давай стегать. Дурак полумумный.

— За это ты его и прогнала?

— За это не прогоняют. — Она усмехнулась, задумалась, будто вспоминая что-то. — Прогнала я его потом, уже после этого.

Путаники мы, путаники, думал он, слушая её. Всё-то мы в жизни своей позапутали, узлами завязали да задёрнули сгоряча. Вот и тебя, девонька, слушаю и понять не могу: что тебе от меня-то надобно? А что надобно, следом за этой мыслью пришла другая: пришла, ушла, побывала, как на даче, и снова — на работу, к детям, в свою привычную повседневность. Э, нет, у бабы только почин может быть таким, а подпусти поближе, на свой лад всё кроить начнёт. Это уже проверено.

— Ты слушаешь меня? Эй! — окликнула она, почувствовав непроницаемую тишину его мыслей.

— Слушаю. Кого ж мне ещё слушать, кроме тебя. — И он обнял её за прохладные мраморные плечи, притянул к себе.

Нет, не было у него ещё такой женщины.

Когда, уже после техникума, работал на овощной базе, познакомился с той, которая вскоре стала его женой. Она вела бухгалтерию всей базы. Второй человек после начальника. Уже побывала замужем. Развелась. Имела квартиру в хорошем районе, машину. Тогда это было редкостью — женщина за рулём. Он знал, что жениться на такой — либо идти под её волю, либо терпеливо жить, закрыв глаза. Красивая. Эффектная. Умело подчёркивала свои внешние данные одеждой и косметикой. Это потом всё превратилось в абсурд. А вначале их совместную жизнь они строили с жадным азартом. Им вполне хватало друг друга. У неё были чёрные глаза. Не карие, а действительно чёрные, жгучие. Они блестели даже в ночи. Как у кошки. Ни грамма лишнего веса. Смуглая восточная кожа, которая казалась загорелой даже зимой. Спала всегда нагишом — никаких ночнушек и пеньюаров. Когда они легли в первый раз, она нащупала на нём трусы, оттянула резинку и сказала: «Ты бы ещё в валенки обул». Они долго смеялись. Потом, иногда, она окликала его: «Ты что, опять в валенках?» В ней было много от той женщины, о которой он мечтал и которую, быть может, наивно создал в своём воображении. В первую очередь внешность. Лёгкость в общении. Блеск остроумия. Умение казаться беспечной. И была, была в их жизни пора, когда и она его любила той бережной беспокойной любовью, которую умеет сохранять женщина, не переступившая через соблазн плоти. Он это чувствовал. И сразу почувствовал, когда это исчезло. Она стала другой. Он ещё ничего не знал, но уже почувствовал, что у неё был другой мужчина.

Она хотела ребёнка, но долго не могла забеременеть. Из-за этого и развелась с первым мужем. Начали ездить по врачам, по клиникам. К знахарям и знахаркам. И вскоре она долгожданно понесла. Родилась девочка. А потом, уже потом, когда начались бесконечные скандалы, когда она начала приносить домой деньги в целлофановых пакетах, когда начались пьянки и разгул напропалую, она, может, чтобы побольнее досадить ему, протестовавшему против всего этого, сказала, что он просто неудачник, не мужчина даже, и что даже свою дочь она родила не от него. А может, и правда. Он видел, какой она возвращалась со своих корпоративных вечеринок. Сказал ей однажды, пытаясь вывести на откровение, чтобы поговорить, наконец, спокойно и серьёзно, без взаимной ожесточённости: «Что происходит? Оглянись. Бесконечные оргии. Как перед концом света». — «А он действительно кончается, — сказала она, и голос её, всегда уверенный, задрожал. — Мы на краю. Ты что, ещё ничего не понял?» Вот это и было её откровением. А он просто не понял её. Ни сразу, ни потом. Не сообразил. Не поверил в то, что она видит глубже.

Он действительно ничего не понял. Ведь у них всё было. Достаточно было наладить отношения. Или по-хорошему расстаться. Развода она не хотела. Однажды, когда они уже спали в разных комнатах, он намекнул ей на это. Она ответила: «Я тогда повешусь». — «Но мы ведь не живём вместе! Мы уже не нуждаемся друг в друге!

Зачем это продолжать?» — «Ты ничего не понимаешь. Всё скоро устроится.» — И начала плакать.

Спустя год он увёз её в платную клинику, где лечили наркоманов и алкоголиков. Всё оказалось очень дорого и бесполезно. Врачи сразу не обнадеживали. Да и сам он уже перечитал много всяких брошюр и статей на эту тему: женский алкоголизм лечится труднее. Клиника ей помогла продержаться не больше полугода. Вера во всемогущество медицины... Какое-то время они жили общей иллюзией, надеждой, которая вскоре оказалась ложной. Но вначале был всплеск. Счастье возвращения. Она вернулась на работу. А он покинул свой диван в гостиной и перебрался на широкую кровать в спальню. И они, как когда-то, в другой жизни, спали нагишом и, казалось, счастье вновь вернулось к ним. Но вскоре она сорвалась. «Ты сама не хочешь нормальной жизни», — сказал он ей. «Хочу, — твердила она заплетающимся языком. — Я хочу нормальной жизни. Хочу тебя. Иди ко мне. Ты же любишь меня?» Перед ним сидела чужая женщина. От прежнего обаяния и блеска не осталось и следа. Пьяная тётка... Алкашка... Он хватался за голову и вдруг спохватывался, что ведь это и была его жизнь. Вот она, которая сейчас, растрёпанная, с отёчным лицом, сидела перед ним, и есть та красавица с чёрными жгучими глазами и гладко зачёсанными волосами, всегда пахнущая лучшими духами. Проклятая, проклятая тварь, в бешенстве думал он, ты уничижила всё.

Но была дочь, Танечка, о которой надо было заботиться и которая нуждалась в их любви. Он водил её в детский сад, вечером забирал домой. Потом началась школа. Танечка привыкла к тому, что папа всегда рядом, а мама где-то зарабатывает деньги. Хотя и у него зарплата была не меньше. Официальная. Что же касалась «конвертов» и левых денег, то, конечно же, у неё выходило значительно больше. Эти левые бешеные деньги и вскружили ей голову. Танечка заканчивала школу, когда всё началось. Потом она поступила в институт, вышла замуж за однокурсника. Она редко приезжала домой. Должно быть, стеснялась матери.

Деньги вскоре кончились. Капельницы уже не помогали. Она начала уносить из дому вещи. Убегала в город в тапочках и халате и возвращались в таком состоянии, что её нельзя было оставить одну. Странно, что она не притронулась к драгоценностям, к своему золоту, которым очень дорожила. «Пусть всё останется доченьке.»

Он знал, что во всём, что произошло с их семейной жизнью, есть и его вина. В таких случаях говорят: не проявил твёрдости... Смотрел сквозь пальцы на её загулы. На поздние возвращения. Ведь с этого всё началось. Решил: лучше нервное молчание, чем бурная истерика. Вначале она действительно молчала, чувствуя себя виноватой. А потом... Хотя, как он вычитал в одной брошюре, для алкоголика, в отличие от пьяницы, распушенность является симптомом, а не причиной заболевания.

А потом позвонили из милиции: на шоссе Серпухов — Подольск, врезавшись в дорожное ограждение, опрокинулась машина такой-то модели, госномер такой-то, водитель-женщина скончалась на месте аварии, требуется опознать погибшую... Ведь он спрятал ключи от машины и от гаража. Как она нашла? Как поставила отсоединённый аккумулятор? Кого-нибудь попросила. Помогли. В косметичке, перепачканной кровью, он нашёл записку. Видимо, она писала ему и Танечке: «Устала преодолевать собственный страх». Что-то ещё, что было тщательно зачёркнуто.

А что такое — проявить твёрдость? Установить режим? Увозить в конце рабочего дня домой? Не держать дома ни грамма спиртного? Не ходить в гости и не принимать гостей с бутылкой вина на столе? И так — изо дня в день? Или поучить ремнём? Как, бывало, в деревне? У них это называлось так: поучить бабу вокруг дома. Но ремень, как инструмент воспитания, действует на человека до определённого возраста.

та. Поучить вокруг дома — это совсем другое. А тут... Вокруг дома — это когда муж гоняет жену действительно вокруг дома, с ремнём или, чаще всего, чересседельником, и приговаривает, за что именно он её гоняет, а она, опозоренная, убегает от него, отбредиваясь, как может. Та, которая похитрей, сразу кидалась в ноги, под чересседельник, и виноватилась. Во-первых, может, простит, пусть даже и перепояшет пару раз. Во-вторых, обойдётся без огласки, без позора. Об этом он тоже думал. Представлял, как хлестает ремнём, загнав в угол где-нибудь в спальне или на кухне свою смуглую красавицу, которую когда-то боготворил... Нет, ремнём можно убедить дочь, которая поздно стала возвращаться с улицы с запахом сигаретного дыма изо рта, чтобы она больше этого не делала. Но не жену, которая, вернувшись за полночь, в прихожей, нелепо цепляясь каблуками туфель, надевает принесённые домой в кармане трусики...

Его жена. Его красавица, которую он не смог удержать. Она очень любила себя. Наверное, женщине это простительно. «Я — другая. Да, я не такая, как все. Ты просто не можешь, или не хочешь этого понять, — говорила она, хлопая на него почти невинными глазами. — Вся проблема не во мне. В тебе! Да, именно в тебе! В тебе, мой дорогой! Но я тебе прощаю. Иди ко мне.»

Но всё-то началось значительно раньше. И он знал, когда. Он же почувствовал. Но замер. Словно испугался. Был ошарашен. И даже в какой-то миг не поверил. Как не верит обычно любой мужчина, когда ему говорят, что его жена ему неверна.

Он не знал тех мужчин, которые были с нею. Они не уводили её от него. Просто проводили время в приятной компании с красивой женщиной, знающей толк в любви. Был в ней этот горячечный бешеный азарт, который сводил с ума и требовал продолжения. Даже ему всегда казалось, что она не вполне удовлетворена. Утомить её было невозможно. Она всегда отвечала более энергично, умело перехватывая инициативу. Она всегда брала верх. Как будто в этом и была её суть.

Пока она могла привлечь, она привлекала. Видимо, это и стало смыслом её последних лет. А потом, когда она поняла, что всё ушло, лишь водка могла продлить её иллюзию полёта. «Ты чувствуешь, как мы летим!» — говорила она ему иногда в их счастливые мгновения. Иллюзия вскоре переросла в обычную зависимость.

Красавица. Она это знала. Знала, что настолько хороша, что может заставить любого мужчину поухаживать за ней. Она чувствовала свою силу. Но с годами сила стала слабеть. Видимо, она воспринимала это как трагедию. Однажды на рассвете, сдёрнув простыню и разглядывая себя и его при смутном свете потускневшего уличного фонаря, она сказала: «Мы что, скоро станем старыми и морщинистыми? Но как мы будем делать это?» Она всегда внимательно разглядывала себя перед зеркалом, отыскивала следы своего возраста и ужасалась. «Ты так не стареешь, как я», — упрекала она его. А он не замечал ни своих, ни её лет. Но всегда чувствовал другое. Он видел в ней другие перемены. Почему он молчал? Почему не предпринял что-то решительное сразу? Что могло бы положить конец всему ещё тогда, ещё, так сказать, на начальной стадии!

После похорон появились какие-то родственники по её линии, которых он никогда не видел и о которых она никогда ему не рассказывала. Они наперебой, шумно, делили вещи покойной. Говорили, что так полагается. Поделив всё, что можно, стали упрекать его в случившемся. Когда он, измученный бессонницей и хлопотами, выпил подряд несколько рюмок и стал согласно кивать им, они начали настаивать на нелепых требованиях в пользу каких-то племянников и племянниц. Он уже слышал такие слова, как «нотариус», «дарственная». И, обняв свой последний оплот на земле — дочь, Танечку, пьяно и грозно заревел вдруг: «Во-он! Прочь отсюда все!» И этот его рёв опрокинул всё, что тут пытались строить за его спиной и спиной его дочери суетливые, крикливые родственники.

Через несколько дней он действительно пошёл к нотариусу и оформил всё на дочь.

А когда наступила весна, в нём, как в старом одиноком цыгане, взвыл вдруг древний бродяжий дух. Он знал, что побороть его уже нельзя. Да и незачем. Он знал себя.

Он оставил всё, что имел, и уехал туда, где, как ему казалось, можно надёжно спрятаться от прошлого. Где о нём и его алкоголичке и гулёне жене, а в недавнем прошлом жгучей красавице, никто не знает, и где он мог бы жить сам собой. Как трава: солнышка хватит на всех, а дождик прошёл — то-то и слава богу. А большего от жизни он не ожидал.

Все сказки рассказаны... Все пути пройдены...

Но все ли? Он встрепенулся. Открыл глаза. А та, которая лежала теперь с ним рядом? Не послала ли ему судьба, за всё его терпение и за все унижения, позднюю и последнюю награду?

Глава пятая

Они лежали, прижавшись друг к другу. Над кроватью висел коврик. Так себе, чепуха с оленями. Она открыла глаза, некоторое время рассматривала его и потом расмеялась. Сказала:

- У мамы в деревне точно такой же. Я выросла под таким ковриком.
- Чепуха. Кустарщина. В старом сундуке нашёл.
- Мне нравится.

Она разглядывала его жилище, должно быть, пытаясь разглядеть его самого. Жилище человека внимательному глазу многое может рассказать.

- А чьи это медали? Твои? А почему они одинаковые?

Он какое-то время молчал. Она почувствовала, что не следует его торопить. И что других слов пока произносить не надо.

В рамочке на куске шинельного сукна висели три медали «За боевые заслуги». На чердаке он нашёл старую, проеденную мышами шинель, выкроил из неё цельный кусок, выстирал его, выгладил, натянул на фанерку и обрамил узкими дощечками, аккуратно запилив их «на усок». И приколот на сукно в эту рамку две медали. Свою и друга. Подвига он не совершил. Но медаль всё же получил. За участие в нескольких удачных операциях. Правда, однажды спас человека. Но это был афганец, старик и, видимо, «дух». Старик подорвался на mine, на тропе к роднику. Тропу на ночь минировали десантники. Утром мины снимали. Вечером снова ставили. Старик подорвался днём. Сапёры потом говорили, что мина — итальянская. Именно такие применяли «духи». Поставил и забыл. И сам на неё наступил, когда возвращался от ручья. Часовой больше никого внизу на тропе не видел, только старика, который там появлялся каждый день. Он нашёл его на тропе, когда пошёл набрать воды. Перевязал его перебитые ноги и понёс в деревню. В деревне была больница. Когда возвращался, спиной чувствовал, как на него из всех щелей смотрят десятки насторожённых глаз. Ждать можно было чего угодно. В том числе и выстрела. Но в деревне знали: если здесь погибнет десантник, рота, которая расположилась на перевале, сравняет всё с землёй и расстреляет всех мужчин из тех домов, где найдут хотя бы один патрон. Их капитана «духи» знали хорошо.

Но медаль ему дали не за старика. За старика им потом на перевал принесли трёх баранов. Пригнали своим ходом, живых. Попировали. Эх, попировали! Как братва радовалась приварку, который свалился, как снег на голову! И сутки он был героем. Медалью такое не оценишь.

Но и медали бывают разными.

Однажды к ним в роту из Кабула привезли на УАЗике журналиста. Подняли по тревоге второй взвод и сказали, что надо подняться в горы. На карте указали точку. Маршрут оказался знакомым. Журналист шёл с ними. Всех предупредили: если что, выносить в первую очередь его. Потом капитан пояснил: журналист — сын какого-то известного московского «гуза», который крутится в высоких кругах, чуть ли не в ЦК, в международном отделе или что-то вроде того. Ладно, чёрт с ним, что он такой цыпа. Пошли. Навьючились, как всегда, по полной программе. Сапёры шли впереди, двумя группами по два человека, двигались в шахматном порядке. Меры предосторожности — усиленные. Не дай бог что с тем журналёнком случится. Капитан пообещал за него всем «бошки поотрывать». Поднялись в гору благополучно. Заварили там чай. Посидели, подождали, пока солнце уйдёт за гребень гор, чтобы не пекло так в спину, и начали спуск. Хотя дело было, конечно же, не в солнце: с соседних гор иногда постреливал снайпер. Оживал он именно на закате, огонь вёл из-под солнца, чтобы с противоположного склона его нельзя было обнаружить. Делал два-три выстрела и исчезал. Его-то они и боялись. В небе всё время патрулировал вертолёт, увешанный ракетами. Обычно, когда такая группа уходила в горы, «вертушка» прилетала только по вызову. Вызывать её пришлось и в этот раз. На спуске внезапно сработала противопехотная пластиковая мина. То ли ребята действительно пропустили её, когда поднимались. Шли, как всегда, след в след. То ли «духи» их группу всё же засекли и успели поставить мину, зная, что возвращаться они будут тем же маршрутом, по той же тропе.

На мину наступил санинструктор Сашка Гречкин. Ему раздробило ступню. Сам себя перевязывал. А журналист уже хромал. Он стёр себе ноги новыми, только что со склада, «берцовками» ещё когда шли вверх. Запомнилось его лицо. Сашку поддерживали ребята, и он сделал себе укол и начал бинтовать свою изуродованную взрывом ногу, скрипя зубами от боли и матерясь. Журналист тем временем сделал несколько снимков и вдруг побледнел и сел на камень. Вскоре прилетела «вертушка» и забрала Сашку Гречкина и журналиста. Ноги тот действительно стёр в кровь, и уже не мог идти без посторонней помощи. Тащить его после ранения Сашки никто не хотел. Глупым был рейд, ненужным. Показуха для московского репортёра. Ротный называл такое блядством.

На следующий же день журналисту, перед строем десантной роты, приехавший из Кабула полковник вручил медаль. При этом церемонию вручения водитель полковника фотографировал «Никоном» журналиста. Когда зачитали приказ по дивизии о награждении, рота окаменела. И в этой тишине вдруг кто-то в первом взводе, во втором ряду, громко, с выразительным раскатом, испустил газы. Даже полковник вздрогнул и побагровел. Капитан стиснул зубы и выругался, при этом изо всех сил прикусывая губы, чтобы не рассмеяться.

Да, разные бывают медали. Хотя тот журналёнок со стёртыми пятками увёз домой точно такую же, какую получил за свои десять рейсов его друг Тёмич.

Рассказывали потом, что в роту пришёл пакет из Москвы на имя капитана. Журналист прислал свой репортаж. Глянцевый журнал с цветными фотографиями. На фотографиях — второй взвод. Первого взвода, который так торжественно отсалютовал по поводу боевых заслуг журналиста, на фотографиях не оказалось. Отомстил им москвич. На обложке — портрет ротного. Капитан получился хорошо. Суровое, мужественное лицо настоящего воина. Журналёнок оказался хорошим фотографом. Этого не отнять. А вот текст... Одно название чего стоило: «Десант в бою». Все знали, что никакого боя в тот день не было. Так, на экскурсию сходили по-глупому. Сашку Гречкина только покалечили. Он тоже был на фотографии. Но это ещё не всё. В пись-

ме журналист просил ротного выхлопотать ему справку из санчасти, где обрабатывали его стёртые мослы, что он, такой-то, такого-то числа, в таком-то районе при выполнении боевого задания группой, в которую он был официально включён, ранен осколками мины. Капитан всё, в том числе и глянцевого журнала со своим портретом, засунул в пакет и отнёс в туалет. У капитана тоже была такая медаль. Он её получил после первого своего боя, ещё год назад, когда попал в Афган взводным после военного училища. Пулю в ноги и медаль.

Третью он нашёл здесь, неподалёку, рядом с усадьбой. Позапрошлым летом.

Когда расчищал усадьбу и обкашивал потом свои владения. Возле ручья на берегу, над обрывом, остались старые окопы. Трактора туда не заезжали, так что место это никогда не рапахивалось. Вот и остался кусок траншеи с боковыми щелями и отводом в тыл, в овраг, к ручью. Позиция для обороны хорошая: овраг давал возможность и подойти сюда скрытно, и уйти незамеченным. Справа была открыта так называемая «подкова» — окоп для расчёта станкового пулемёта.

В половодье ручей разливался до бора, который высокой стеной чернел на той стороне Ивановского Верха, так, что, казалось, сюда вернулась древняя доисторическая река. До усадьбы полые воды не доходили. Не заливало и окопы. Когда паводок стал спадать, отступая в материнское русло, а мёрзлая земля начала оттаивать, кусок берега треснул вдоль и начал медленно отходить, в день по сантиметру. Трещина проходила по краю траншеи и через пулемётную «подкову». Он заметил, что, видимо, берег и раньше потихоньку обваливался, обнажая корни, и в нём, в образовавшемся песчаном обрыве, свили свои гнёзда-печурки ласточки.

В ту весну берег рухнул вслед за отступающей водой. Пулемётный окоп разломило пополам, и под обрыв вместе со стреляными гильзами осыпались человеческие кости. Когда вода совсем унялась, вернувшись в свои нижние берега, заросшие ольхами и дикой смородиной, он спустился вниз и собрал кости. И прикопал их тут же, сверху положив проржавевшую до дыр каску. Во время очередного похода за хлебом и крупами, зашёл в местную администрацию и рассказал: так, мол, и так, нашёл останки солдата, вымыло водой, надо похоронить. В селе возле школы стоял обелиск со звездой. Под ним могильный холмик. Вот туда, думал он, и положить бы того пулемётчика. Но кости на берегу ручья пролежали до середины лета. Однажды, после ливневых дождей, когда ручей выхлестнуло из берегов, смыло и песчаный холмик под каской. Каску унесло. Но кости остались. Их немного растащило вдоль обрыва, но они остались здесь. Вот тогда-то и вымыло медаль.

Он нашёл её немного поодаль. Выковырнул из уплотнённого отступившей водой песка. Колодка, орденская лента и булавка тут же рассыпались, а медаль с запаённым колечком светилась тусклым боевым серебром, как будто её только что отлили.

Он подождал ещё с месяц. Никто за солдатскими останками не приехал. И вдруг он понял, что это знак судьбы, что так и надо: друга он не смог найти и похоронить, и теперь он должен похоронить другого солдата, который умер, быть может, такой же смертью. Он сделал небольшой гробик, меньше детского, куда аккуратно сложил всё оставшееся от пулемётчика: кости, полуистлевшие ботинки, пряжку с куском ремня, несколько пуговиц, горсть стреляных гильз. Отступил шагов десять от обрыва и под кустом бузины между двумя валунами выкопал могилку. Насыпал бугорок, подрезал его с боков, прихлопал. Стал думать: что делать с медалью и что поставить на могиле — звезду или крест?

Ни звезды и ни креста. Простой, пирамидкой соструганный дубовый столбик.

А с медалью, третьей, вышла вот такая история. На оборотной её стороне был выбит номер. Им в Афгане давали без номеров. На обороте — чисто. А эти, соро-

ковых годов, все были номерные. Он послал письмо в военный архив в Подольск. И спустя некоторое время пришёл ответ, из которого он узнал, что медаль, найденная им у ручья, принадлежала красноармейцу Ивану Кузьмичу Антипенкову, 1921 года рождения, русскому, призванному Дорогобужским РВК Смоленской области 30 июля 1941 г. К письму была приложена выписка из наградного листа, из которого следовало, что Иван Кузьмич, рядовой 8-й штрафной роты такой-то дивизии, вызвался добровольцем захватить «языка», при этом возглавил группу из пяти человек, и ночью группа ворвалась в передовую траншею противника, разведчики забросали гранатами блиндаж, при этом рядовой Антипенков лично захватил в плен немца, который оказался обер-фельдфебелем отдельного сапёрного батальона и при допросе дал важные показания об устройстве минных полей и танковых ловушек, указал расположение противотанковых и пехотных орудий. Он послал письмо на родину пулемётчика, в Дорогобуж. Но родственники Ивана Кузьмича Антипенкова не откликнулись. Может, никого уже не осталось. Может, все переехали куда. Может, не в те руки попало письмо. А может, забыли своего земляка в Дорогобуже.

Теперь он рассказывал ей эту историю. Она слушала его и иногда спрашивала о непонятном.

— А кто такой обер...

— Обер-фельдфебель. По-нашему это — старшина. Мог быть командиром взвода. Во взводе тридцать человек. Большой начальник.

— А разве штрафников награждали? Это же осуждённые. Я фильм смотрела.

— В фильме могут показать всё что угодно. Особенно сейчас. А это — документы. Главные свидетели.

Колодку и новую орденскую ленту он купил в военторге в городе, когда однажды ездил за эмалированными ведрами и запчастями для сепаратора. И теперь медали, все три, в ряд, висели над его рабочим столом, похожим на верстак, на котором были разложены различные инструменты и заготовки.

— А за что тебе медаль дали?

— Так, ни за что, — ответил он.

— Просто так награды не дают.

— Ты права. Мне её дали, знаешь, за что? За то, что я остался жив. Это — правда. О мёртвых люди быстро забывают. Кто, например, помнит об этом Иване Кузьмиче Антипенкове? А ведь он жизнь положил за эту землю. Кто об этом сейчас думает? Зачем эта память людям? От неё только тяжесть на душе. Может, потому и не ответили мне из Дорогобужа.

— Но ты же вспомнил о нём? Восстановил его имя. А теперь и я об этом знаю.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Ты очень добрая. Зачем ты меня утешаешь?

— А зачем ты так мучаешь себя? — И вдруг переспросила: — Какого, ты говоришь, он года рождения солдат?

— Кто?

— Ну, этот, Иван Кузьмич Антипенков, которого ты нашёл?

— Двадцать первого.

— Значит, когда он погиб, ему было двадцать два года. Совсем молоденький.

Он подумал, что по годам пулемётчик вполне мог быть его сыном. А она сказала:

— А ты вот скажи, зачем люди воюют?

Он ничего не мог ответить ей и только вздохнул. Она больше не спрашивала.

Через час он вышел во двор. Снег всё ещё порхал большими шапками, кружился, будто подыскивая, куда бы упасть. Сквозь пелену снегопада просвечивало солнце. День обещался солнечным. Слегка морозило. Вдоль забора лежал наполовину запошённый хоринный след. Пускай бродит, подумал он, мышей повыведет. Мыши в эту зиму одолели. В хлеву, рядом с коровой, с осени сложил он сено, так всё снизу перетёрли на труху, ходов понаделали. Туда, к коровьему хлеву, и вёл хоринный след. Ещё было натоптано поодаль. Но это были человечьи следы. И он подумал, что остались они с ночи. На всякий случай он взял лыжи и обошёл вокруг усадьбы. Сходил к ручью, на обрыв, обошёл могилу пулемётчика. Пробежал краем поля. Свернул вдоль изгороди. Нигде ничего подозрительного не обнаружил.

— Ушёл, — решил он. — Ну и ладно.

Он научился разговаривать сам с собою, чтобы не разучиться разговаривать во все. Даже журналы читал вслух. Разговаривать же с собою было легко. Самому себе не надо было долго объяснять, сказал два-три слова, согласился — сделал. А чего не понимал, о том и рассуждать не следовало.

— Ушёл.

Другое дело были разговоры с Тёмичем. С Тёмичем можно было разговаривать мысленно. И слушать то, что скажет он. А можно было ждать его ответа и не дожидаться... А потом вдруг неожиданно услышать его голос, окрик или усмешку.

Лыжи хорошо скользили по сухому снегу, оставляли глянцевоый неровный след, который теперь, на солнце, поблёскивал, будто живой. Солнце уже поднималось. Ленивое и пока ещё не яркое, оно, дымясь, стояло над лесами и его одинокой усадьбой немного приплюснутым и багровым диском, будто только что вынутым из углей. Но с каждой минутой оно яснило, сбрасывало, как роговицу, свою окалину, становилось чище и ярче и, наконец, преодолев сизую морозную полосу горизонта, вошло в свою совершенную форму круга и ослепительно завладело всем пространством.

Он наблюдал за этими превращениями. Вдыхал свежий морозный воздух. Окружающий его мир был прекрасен. Теперь он наполнялся и новым смыслом, от которого все краски казались ярче и гуще, а линии обретали ту завершённую и полноту гармонии, которую способен воспринимать и понимать человек в лишь самые лучшие минуты своей жизни. В душе человека поднимался восторг, и с этим внезапным восторгом он поспешил к ней.

Глава шестая

Тот, кто приходил ночью, не ушёл.

Он перевалил через Ивановский Верх, сделал большую дугу вдоль опушки леса, не доходя до большака. Сперва шёл в сторону села, а потом, возле ручья, резко повернул влево и стал возвращаться к усадьбе.

Назад гнала его какая-то злобная тоска. Эта тоска была настолько сильной, что порою она овладевала всем им. Она погнала его в эту ночь, в снегопад, сюда, на хутор Кабана, этого нелюдимого и непонятно зачем здесь появившегося лесного жителя, о котором почти все бабы в селе что-нибудь да говорили, и никогда не говорили плохое. Любая из них, думал он, задыхаясь в своей злобной тоске, готова была бежать на хутор, к этому нелюдному чужаку. А уж она... Раз побывала, уже не отвадишь. Он это сразу понял, что тогда, в грозу, она была здесь, на хуторе. Её видели соседи. Люди сказали, что видели, как Кабан полем провожал её. Влипла оса в мёд... Уж чем таким он их привлекает? Он сильнее и сильнее распалял себя этими мыслями, которые были невыносимы, но без которых он давно бы повернул к большаку, потому что

именно они, жуткие, невыносимые мысли, придавали ему силы. Воспалённая фантазия рисовала её тело, которым он совсем недавно владел и которое теперь она с тою же страстью отдавала другому.

Он обошёл усадьбу. Закурил. И вскоре обнаружил, что опять вышел в поле, на свой след. Снег не прекращался. Но след он увидел сразу. Он пошёл по своей лыжне. Снежинки иногда с шипением падали на уголёк его сигареты. Идти по своему следу было намного легче, и на этот раз он быстрее добежал до усадьбы. И остановился. Снял с плеча ружьё, потрогал пальцем рубчатую бородку предохранителя. Надо было ждать. Ждать. Сколько бы ни пришлось. Ждать. Кабанов надо бить с засидки, подумал он и злорадно усмехнулся своему удачному сравнению. Вот и посмотрим, один ты тут ночуешь или прячешь кого. Ворюга. Ты же украл у меня её! Украл! А теперь утаиваешь. Укрываешь, как ворованную вещь.

Он прошёл вдоль стёжки, по дну дренажного кювета, тянувшегося от сараев. Понарыл тут, расхозяйствовался, сволочуга... Ну ничего, зато так не виден будет его след. Мысль его работала лихорадочно и ясно, подсказывая самые точные и правильные решения.

Лыжи он спрятал под сеном. Так надёжнее. Потому что Кабан видел, где он спрятал их в прошлый раз. Иначе может найти. Он — хитрый.

Обошёл стожок с другой стороны, осторожно, чтобы не учуяла собака, вырыл нору, пролез в неё между двумя толстыми сосульками, подобрал клоки сена и завалил ими себя. Положил на колени ружьё. Всё. Осталось только ждать. В стогу он не замёрзнет. К тому же ему было чем согреться. Словно знал наперёд. И погода он достал из-за пазухи бутылку водки, отвинтил пробку и сделал несколько решительных глотков. «Соточка. Будя», — определил он и почувствовал, как желанное и спасительное тепло стало расходиться в нём, занимать всё тело, успокаивая даже его погибельную тоску. «Побежала, родная, по жилушкам...»

В сене было тепло. Но всё же не так тепло, как в кровати. А они там — в кровати. При печке. Греются, сволочи... Тоска снова возвращалась. Она, как серая, холодная метель, заметала его душу, выстуживала последнее тепло, выдувала остатки покоя. Хотелось встать, подойти к дому и высадить ногой дверь, не такая уж она у него и крепкая. И вытащить её, пригревшуюся там, под чужим одеялом, выволочь за волосы. На мороз. На снег. Ведь здесь, здесь она! Он видел на большаке её след. След повернул на вешки. Зря он тогда вернулся в село. Надо было сразу идти за нею. Зря он ждал её дома. Не вернулась. Не для того пошла. Детей подкинула старухе, а сама...

Он представил её, лежащую в объятиях этого лесного старика. Она отдавалась всегда с таким азартным неистовством и таким страстным желанием дойти до последнего, что и он сам, всегда умевший себя контролировать, поддавался её отваге и летел вместе с нею в такую пропасть, из которой, казалось, уже нельзя будет выбраться никогда.

Так оно и вышло. Оплела. Втянула в себя, как в воронку. Вот зачем он здесь? На другую бы давно плюнул и ушёл. В тепло. А там, глядишь и другая найдётся. Нет, не мог он уйти. Не мог. Куда он пойдёт без неё? Воронка уже сомкнулась над его головой. Теперь только и осталось, что падать в глубину.

Эта женщина была похуже наркотика. Наркотики он пробовал. Раза два-три. Не понравилось.

Ну что я ей плохого сделал? Любил. Когда водились деньги, всё покупал. И ей, и детям. Ни в чём отказа не было. Это потом денег не стало. Рухнул совхоз, забрали трактор, не стало работы, калым прекратился.

Он, в который уж раз, стал вспоминать, с каких же пор, с какого дня и случая всё изменилось в их отношениях. Когда сломалась их любовь. Он помнил всё.

У него были и другие женщины. И помоложе её, и постарше. Но такая была одна. Он и сам не раз пытался бросить её, чувствуя, что не осилить ему эту ношу. Но не мог. Уходил, пил, гулял напропалую. А потом снова возвращался. Просил прощения, стоял на коленях, умолял, целовал ноги. Да, и такое было — целовал её ноги. Как пёс. Лишь бы простила. И она прощала его. А ночью отдавалась с таким неистовым восторгом, что, казалось, и облачка их размолвки не оставалось.

Курить в стогу было нельзя. И не потому, что — опасно, что деревенский человек никогда на сене не закурит. Чёрт с ним, с огнём. Он бы с наслаждением подпалил эту проклятую усадьбу со всех четырёх сторон. Но что будет потом? Ещё не факт, что те, кого он тут стерёт, сгорят в том огне. Выбегут, и что тогда с ними делать? А его следы в поле? А продавщица? Бутылку водки он покупал уже не в магазине, пришёл к продавщице на дом. Магазин она давно закрыла и сидела дома возле тёплой печи, грела спину и смотрела какой-то свой сериал. Увидела его на пороге, спросила с усмешечкой: «Что, трубы горят?» — «Душа горит», — ответил он. Она внимательно посмотрела ему в глаза и всё-то, конечно, поняла. От бабы ничего в душе не спрячешь. Да и для кого в селе была секретом их затянувшаяся война? Бились — кто кого... «Душа горит, а сердце плачет...» — с издевательской фальшивиной пропела продавщица. Да, всё село уже смеялось над ним. Он явно проигрывал в этой войне. Все его позиции рушились. Одна за другой.

Если закурить, собака тут же почует его. Хорошо ещё, что снег идёт и идёт. Собака лежит в конуре. Он где-то слышал, что у собак в непогоду болят животы.

Ружьё ему досталось от брата. Брат умер от радиации. Получил дозу в Чернобыле. Недолго и пожил. Приехал его хоронить, а жена и говорит: мол, брат завещал тебе своё ружьё. Ружьё хорошее, «ижёвка» двенадцатого калибра. Кабана картечью с пятидесяти шагов — как два пальца... Ружьё, в случае чего, надёжное. И осечки никогда не было. Ни разу не случалось. На охоту он ходил частенько. То друзья из города приедут, то начальство из района. Когда кто-нибудь выбрасывал «пробитый» после осечки патрон, он подбирал его. Его боёк пробивал любой капсюль. Так что память о брате осталась хорошая. И всякий раз, делая удачный выстрел или просто доставая из чехла ружьё, чтобы почистить его и смазать, он с благодарностью и жалостью вспоминал брата. «И не пожил совсем, братуха. Сорок два года...»

И всё же чертовски хотелось закурить. Он снова достал бутылку. На этот раз он отпил чуть поменьше. Хватит. До утра ещё ждать и ждать. Если много выпить, можно уснуть и замёрзнуть. Нет, такой радости он ей не доставит. И пожрать тоже хотелось. Целый день — во рту ни маковки, ни росинки. А если закурить — это сразу и вместо жратвы. Чувство голода он всегда умел подавить сигаретой. Это у него получалось.

А что я смогу сделать, если увижу здесь и её, вдруг подумал он, и эта внезапная мысль на мгновение его оглушила. Ну и захотела она к нему ходить... В конце концов кто я ей? Хахаль случайный. Захотела — пошла. А Кабан здесь, в этой песне, и вовсе гость случайный. Баба подвернулась. И не мужняя жена, а так, почти что в поле ветер. Сошлись, схлестнулись... Кто перед кем ответчик? А никто. Если так, то кого он тут караулит? Кого? И вдруг он вздрогнул от внезапного ответа: себя, себя он караулит. Себя не пропустить...

А ведь был момент, когда она расписаться с ним хотела. Сама звала. А он придержал за чем-то: «Подожди». И она больше об этом не заговаривала. У неё тоже — характер. Ну ничего, ничего, хоть мы институтов и не заканчивали...

И он снова вздохнул, теперь уже с прежней решительной злой тоской. Ждать. Ждать и ждать.

Хорёк пробежал вдоль забора, сунулся было к собачьей будке, но оттуда злобно зарычал пёс, видимо, почуяв зверька во сне. Хорёк отпрянул и неслышно скользнул к хлеву, слился с темнью бревенчатой стены. Тоже один смегает. И тоже на охоту пошёл, подумал он, поглаживая рубчатую бородку ружейного предохранителя.

Ружьё он зарядил патроном с крупной картечью. И охотником он всегда был удачливым.

Он начал задрёмывать, когда стало рассветать. С трудом поднял отяжелевшие веки. Снег всё ещё шёл. Сизовато-белым, пушистым засыпало всё вокруг, даже крыльцо. И на крылечной лавке лежала шапка сантиметров в тридцать толщиной. Эх, с прежней тоской подумал он, в такое утро...

Вскоре снег сделался розовым. Это означало, что там, с той стороны стожка, всходило солнце.

Тело его закоченело. И он хотел уже вытянуть ноги и расправить их. Но тут глухо стукнула дверь. Загремела цепь. Собака выскочила из будки навстречу хозяину, завиляла хвостом. Собака его не учуяла. Ловко он спрятался.

Кабан стоял на крыльце. Он прислушивался, осматривал свой двор. Сошёл вниз. Что-то кинул собаке. Выключил на столбе тусклую, теперь уже бесполезную лампочку.

Подожду и, если её здесь нет, по-тихому уйду, подумал он, поглаживая холодным окоченевшим пальцем ружейный приклад. А если... Раздеть бы её, суку образованную, да голую — вокруг дома... Плёткой... Плётку-то зря не взял. И он вспомнил, как она хотела сжечь в печи его плётку. Сука она и есть сука. Таковую только плёткой и держать.

Но тут же он вспомнил её и другую. И его тоска по ней окрасилась вдруг совершенно другим цветом, и он почувствовал к ней, такой непокорной и теперь уже почти чужой, такую неодолимую нежность, что невольно скрипнул зубами и вздохнул дрожащим горлом, изо всех сил сдерживая рвущийся оттуда, изнутри, стон.

Кабан взял возле сарая лыжи и прошёл совсем рядом. Он был с ружьём. И куда он пошёл? В лес? Зачем? Он же не охотник. Незачем это ему. Пошёл проверить его след? Удостовериться, действительно ли он ушёл? Так ведь он ночью шёл за ним, провожал почти до самого большака...

Слышно было, как Кабан встал на лыжи. Заскрипел снег. Звуки удалялись и удалялись, пока совсем не истаяли в глухой, заваленной снегами тишине утра.

Хорошо, что собаку не отвязал. Учужала бы сразу. А хату-то не закрыл. Даже клямку не накинул. Значит, там кто-то есть. Значит, и она там. На ночь осталась. Загуляла, сучка образованная. Детей спровадила...

А может, зайти? Пока его нет. Вот и проведаю подругу, про себя усмехнулся он. Голенькая, небось, лежит, и раздевать не надо... Пока Кабан где-то ходит... Нет, собака сразу всполошится, и Кабан тут же вернётся. А у него — ружьё. И я не знаю, с какой стороны он подойдёт. Это он тут — дома, а я...

Мысли путались, перебивали, перехватывали одна другую. Приходили то страшные, то дрожащие какие-то. И о ней, и о Кабана, и о себе самом. Он то жалел и себя, и её, и тогда ему хотелось встать и уйти домой, в село, и рассказать там всем, какая же она сука, что легла под старика. И чёрт с нею! Не сошёлся же на ней свет клином! Баб вон сколько! И он не самый последний человек в округе. Да и в райцентр можно перебраться. Там одиноких, которых некому пожалеть, ещё больше. Уж там, в райцентре,

он развернётся. Глядишь, и с квартирой подвернётся, и помоложе этой. Бабы, если так подумать, все красивые. Что по ней страдать? Да пошла она...

Но тут же накатывало, захватывало другой волной, захлёстывало всего с ног до головы, как приступом, и он обречённо понимал: нет, сошёлся, видать, сошёлся его свет на ней, на этой самой суче...

Сзади, за стожком, заскрипел снег: Кабан возвращался. Быстро прошёл мимо стожка, направился к крыльцу. Ружьё, старенькая одностволка с самодельным прикладом, покрытым пенотексом, торчало у него подмышкой. На лыжах он стоял хорошо, шёл ходко, и пар валил у него изо рта. Крепкий. И не скажешь, что ему уже шестой десяток пошёл. Бабы вон какие молодые липнут. А что ему тут, на усадьбе? Здоровый чистый воздух. Вода не из труб, не ржавая, а родниковая, живая вода. Мёд жрёт сколько хочет. Нагулял силу. Куда ему её девать? Сейчас слух пройдёт, и все бабы из села начнут сюда бегать. И он вспомнил историю про кузнеца Павлушу. Это была история их села. История так история. Почти вся здешняя жизнь на ней стояла.

Жил-был у них в селе кузнец Павлуша. Его он помнил уже стариком. Но был Павлуша и молод. А дело случилось после войны. Павлуша вернулся домой без ноги. Но мужик и без ноги — мужик. Тем более, что с фронта домой вернулись немногие. Зато остались, через двор, молодки по двадцать-тридцать лет. Вот и стали они похаживать к Павлуше в кузницу, к горячему его горну. Одной ухват поправить, другой — сковородник, у третьей клец из бороны выпал... Много работы появилось у Павлуши. Никому он не отказывал. А бабоньки даже очередь организовали. И много ребят от того одноногого кузнеца понарожали. И всех их в детстве звали Павлушатами. И сам он, сидевший теперь в стогу и карауливший своё утёкшее сквозь окоченевшие пальцы счастье, тоже в детстве носил это обидное, как ему казалось, прозвище. И он слыл Павлушонком. Незаконнорождённым байстрюком. Ублюдком.

Эх, уехать бы отсюда. И чтобы больше глаза мои её не видели. Ни её, ни этих дорог, ни этого снега. Уехать ото всего, что ему порядком опостылело. В том числе и от обидного прозвища, которое нет-нет, да и срывалось с чьих-нибудь пьяных или злых губ.

Но в этот миг снова стукнула дверь, и на крыльцо вышли двое. Кабан и она.

Он встряхнул плечами, освобождаясь от оцепенения нерешительности и какого-то внутреннего озноба, появившегося в нём вовсе не от холода, сбросил к ногам сено, мешавшее ему, передвинул до упора ребристую бородку предохранителя и вскинул ружьё. Всё, назад уйти они уже не смогут. Слишком далеко отошли от крыльца. Побегут — картечь догонит. Теперь они, оба, целиком в его власти. И ему тоже нет назад пути.

Она шла впереди. Жёлтая куртка ярким пятном светилась на снегу. Кабан — следом. И вот остановились как вкопанные. Не ждали они его здесь, не ждали. Прохлопал ты свою судьбу, Кабан, прохлопал...

Пёс залился бешеным хриплым лаем, бросался к стожку, выкатывал белки налившихся кровью глаз.

Но и человек, вставший из своей засады и дождавшийся-таки своего часа, минуты своего торжества, был не менее страшен.

Первым надо валить Кабана, мелькнуло у него мгновенное решение. У Кабана ружьё. Если первой — её, Кабан успеет выстрелить.

Горячая упругая волна подхватила его, и он почувствовал необычайную лёгкость во всём теле и то, как руки твёрдо держат ружьё и как послушно дыхание и ровно стучит сердце. Его подхватил тот жестокий ветер, который он знал в себе с детства, когда дрался или лазил в соседский сад за яблоками.

— Не дури! Дурило! — услышал он спокойный голос Кабана и, чтобы не слышать его голоса, чтобы не омрачал он больше его торжество, поймал на ленточку ствола его широкую распахнутую грудь, белый клинышек нательной рубахи, и нажал на спуск. Кабана отбросило к ступенькам крыльца. Всё произошло, как в американском кино. Ну вот... Ты думал, что ты — волк. А волк-то — я. Хотя я и Павлушонок.

Она сразу охнула, присела, закричала и на четвереньках некрасиво поползла к Кабану.

Он снова нажал на спуск, но вместо рывка выстрела услышал мягкий щелчок бойка. Осечка! Не может быть! Осечка! Он переломил ружьё, выхватил дрожащими пальцами стреляную гильзу и «пробитый» патрон, тут же перекинул его в соседний патронник, а в нижний ствол сунул последний, третий патрон, который он машинально захватил из дому, когда уходил сюда. Он сделал это с такой быстротой и ловкостью, как будто ему грозила опасность или добыча могла вот-вот уйти, промедли он ещё хотя бы мгновение. Вскинул ружьё. Выстрел! Ну, вот и всё...

Собака рвалась на цепи, бросалась к стрелявшему, переворачивалась в воздухе, сдерживаемая надёжным ошейником, хрипела и задыхалась в своём бешеном лае. Казалось, она поняла свою оплошность и теперь тоже хотела умереть.

Пристрелить, что ли, и эту тварь? Ишь, злая какая. Верная. Нет, таких не стреляют. Её-то — за что? Она пусть живёт.

Мысли сразу стали неподвижными. Руки отяжелели. Двигался он медленно, как во сне.

Подойти? Посмотреть? А зачем? Вдруг, кто живой? Не добивать же. Да и нечем. Они своё получили. Последний патрон...

Последний патрон был «пробитым». Но он-то знал, что патрон хороший, что другой осечки не будет, потому что он переложил его в другой ствол, под другой боёк. Верхний боёк бил ту же и сильнее пробивал капсюль. Он знал своё ружьё. Брат оставил ему хороший подарок.

Он сбросил валенок, снял шерстяной носок, зажал ещё тёплые стволы зубами и нащупал пальцем ноги курок. Он надавил и, услышав щелчок и гул освобождённой пружины, понял, что снова осечка и он ещё жив. Надо было что-то делать. Он открыл ружьё, вынул патрон, повернул его по часовой стрелке, снова толкнул его пальцем на место и снова повторил всё, что уже было.

Смотреть на лежавших у крыльца он не то чтобы не хотел, а не мог. Боялся, что вдруг увидит, что кто-то из них ещё жив. И он понял, что надо торопиться. Он снова сунул ногу в валенок, подобрал валявшееся в снегу ружьё Кабана. Курок был взведён. Огляделся. Увидел торчавший в верстаке гвоздь, накиннул на него скобу спуска и, держа ствол на уровне груди, изо всех сил дёрнул ружьё на себя.

Третьего выстрела не слышал никто, кроме Разбоя. Собака билась в снегу, давясь на ошейнике, прыгала свечой вверх, заскакивала на будку и кидалась сверху к крыльцу. Но цепь не рвалась, и кожаный ошейник держал крепче хозяйской руки.

Глава седьмая

Он очнулся в больничной палате на доске, подложенной под его забинтованное тело вместо матраса. Одна рука была в гипсе. Она лежала неподвижно. Но левой он мог шевелить. Он поднёс ладонь к глазам и посмотрел на свои дрожащие жёлтые пальцы.

— Что, охрять? — послышалось из угла палаты, где стояла другая кровать и, видимо, на ней кто-то лежал. — Два дня лежал недвижимый. Операцию, слышь, сам доктор Петров делал. Заходил уже, проводывал. Но ты ещё спал.

Что это? Кто говорит? Где я? Что со мной? И следующее мгновение его отбросило в прошлое, в то утро, когда он был особенно счастлив.

... Она просила, чтобы он подольше побыл с нею, что ещё успеется встать, что впереди целый день. А он спокойно возразил ей, сказав, что в хозяйстве всему должно быть своё время.

— Четыре картечины из тебя выковырнули! — опять услышал он голос соседа и его покашливание. — Видел я эти штуковины. Каждая — настоящая пуля! Так что пять жизней в тебе, мужик. Четыре — наповал, а пятая при тебе, неубитая, осталась. Может, поесть хочешь? Я сестру-то, слышь, позову. Коли надо.

— Нет, — сказал он и не узнал своего голоса, — не хочу.

Он смотрел в потолок, белый, как снег, и сразу вспомнил всё остальное.

— Тебя, слышь, Кабаном, что ль, кличут? — спросил сосед.

— Меня.

— А-а, слыхал я про тебя. Ещё, слышь, года три тому баба одна из села вашего рассказывала. Что поселился, мол, за Ивановским Верхом в брошенной деревне человек. Плохого про тебя ничего такого не сказала. Смирный, говорит, работающий, должно, говорит, от горя какого-нибудь к нам в глушь забился. Бабы, они ж какие... Всё им выведать надо. А если чего не знают или не понимают, додумают по-своему.

Голос соседа дрожал под потолком, прерывался на мгновение и снова выныривал из тишины полузабытья. Видимо, действовали лекарства. Он ещё не мог определить и до конца понять, что же с ним произошло и в каком он состоянии. Даже память становилась зыбкой и порою рвалась. Судя по тому, что сказал сосед, что — четыре картечины...

— Ну, думаю, поселился и поселился. Значит, захотелось так человеку жить. Одному побыть. На природе. Сейчас же как? Никто никого не неволит. Живи как сумеешь! Только, слышь, другого не тревожь. А бабы есть бабы. Им до всего дознаться надо. А по мне — живёт и живёт себе человек.

Да, да, именно так он и хотел жить. Как трава... Как трава... А придёт срок, как трава, засохнуть и уйти незаметно.

...В то утро она, как и прежде всегда перед уходом, убралась в комнатах. И вдруг сказала: «Я останусь ещё на денёк? А? Что молчишь?» — «Оставайся», — обрадовался он.

Он ни о чём её никогда не просил. И каждое движение её навстречу ему принимал как дар судьбы. Как будто чувствовал всю хрупкость происходящего.

«А на ночь оставишь?» — засмеялась она, играя ямочками на щеках, которые так и хотелось сразу поймать и прижать губами. «Оставляю, если захочешь». — «Если захочу? А если я ещё что-нибудь захочу?» — «Всё, что захочешь». — «Да! Тогда я хочу ещё одну ночь». Так, смеясь, они и вышли на крыльцо. Она сказала, что сама накормит корову, что хочет посмотреть всё его хозяйство и понять его смысл. Она сказала, что ей нравится то, как он здесь живёт, весь этот уклад, тишина, заброшенность и одиночество, но во всём этом должен быть ещё какой-то смысл, на первый взгляд незаметный. Так сказала она. А что тут было понимать? Вот сядут погода чай пить, он ей всё, как сможет, и растолкует. Весь смысл. Ему таиться нечего. Молодая. Она ещё только познаёт мир. Ещё многое ей в нём удивительного. Вот и дожить бы жизнь с такой и встретить старость. Захочет ли только она? Не наскучит ли он ей немного погодя? Ведь старость уже не за горами.

— Бабу, слышь ты, только впусти в свою жизнь. Она — как падкое растение. Сразу всем и завладевает. Во все стороны мигом разрастается. Не стеблем, так корнем. Эх, у меня на целине тоже была одна... Бригадирка. Кожа белая, как сметана. — Сосед

угромно засмеялся. Он вспоминал и ему, похоже, было всё равно, слушают его или нет. — Бывают же такие. Всю жизнь вспоминаю.

... За ночь снегом завалило весь двор. Снег, конечно же, надо было убирать. Иначе, когда начнёт таять, придётся прыгать по доскам, по воде, по грязи. Снег он уберёт. Но — потом. Пока она здесь, никакими хозяйственными делами, кроме тех, которые отложить нельзя, он заниматься не станет. Успеется. Когда она здесь, жизнь в его деревне наполнялась другим смыслом.

От сараев мимо стожка тянулся его размашистый след. Солнце поднялось уже выше берёз, плавило тёмно-вишнёвые, уже приготовившиеся к весне ветви, и лунки следов и лыжные колеи окрасились сиренево-розовым. Он посмотрел за ручей. Там, на деревьях, среди ослепительного сияния снегов и молодого неба, что-то чернело. На дальних берёзах сидели тетерева, кормились, склёвывали почки. Он хотел было указать ей на тетеревов, чтобы и она полюбовалась ими. «Смотри, — хотел он сказать ей, — сидят, как на картине». С детства, кажется, из учебника «Родная речь», ему запомнилась репродукция той картины: зимний лес и тетерева, чёрные косачи на белых берёзах.

— А картечины на твоей тумбочке лежали. Доктор Петров принёс. Сказал: очнёшься — отдайте ему на память. Крупные, может, как вон мои таблетки. А вчера, слышь, мильтон приходил, следовательно, так он и забрал твой трохвей. Я ему: что ж ты делаешь, это ж не твоё, говорю! У человека, говорю, из организьма эти самые свинцовые штуковины вытащили. А он даже у доктора Петрова не спросился. Ценный, слышь, вещдок, говорит. Самовольный такой лейтенант. Ну что? Как ты? Может, надо чего?

— Где она? Она... — Он поднял руку. — Жива?

— Э-э, брат ты мой... Да ты ж, слышь, ничего не знаешь.

... И только он поднял руку, Разбой кубарем выкатился из будки и рванулся в сторону стожка. Снег разноцветными брызгами слетел с натянутой цепи. И тут же из сена встал человек и оттуда полыхнуло. Он сразу всё понял. Но мгновения не хватило, чтобы оттолкнуть в сторону её, шедшую впереди. Его тут же ударило в грудь и отбросило к крыльцу. Он ещё мгновение что-то видел, кажется, её, повернувшуюся к нему, и белые тёплые снега поглотили его, летящего вниз, вниз, вниз...

— Жива. Доктор Петров, слышь, сам тебя зашивал. Он у нас тут многим жизни вернул. Когда тебя сюда принесли, он так и сказал: если до вечера не умрёт, будет жить. Вот я тебя и стерёг. И вечер, слышь, ты пережил. А медсёстры наши, брат ты мой, видать, пробку отвинтили... А ты что думал? Пьют! Это раньше строго было. Чтобы в отделении, на службе, рюмку поднять — ни-ни! Вот, третёводни, санитарка бак с кашей принесла и повалилась. Народ собрался в столовой, обеда ждут. А она лежит, пьяней вина, храпит — и хоть бы тебе что!

— Сколько?... Сколько выстрелов?

— А, ты вон про что. Три выстрела было. Так следователь сказал. Но патронов у него было, видать, все четыре. Три нашли. Но один вроде как осечку дал. Целым остался. Одну гильзу вроде как не нашли. Ищут. Или, может, ты его положил? Кто вас знает. Ну, это и не моё дело. Забудь, что глупость спросил. Когда из-за бабы... Ей-то, видишь ты, картечина в грудь попала, лёгкое пробила. Чуть кровью не изошла. Вы ж там долго пролежали. Снегом вас засыпало. Только вечером вас нашли. Охотники. Услыхали, слышь, собака разрывается... И как вы не замёрзли? Четыре картечины! И картечь — во! Точно, с таблетку! Ей-то всего одна. Волчья картечь. Ружьё его нашли. Этого охладно.

— Ружьё? — переспросил он.

— Ну да. Двухцволку. Из которой он и вас положил, и сам себя угробил. Три выстрела. Но одну гильзу ещё ищут.

Гильзу? Ищут? Какую гильзу? А где его ружьё? Неужели его не нашли?

Он помнил только первый выстрел. Не уберёт... Жива. В грудь. Лёгкое пробило.

— А вот я своей старухе другой раз и говорю: человек не всегда знает, кто он есть на самом деле. Кто в нём сидит. И лучше его, того, другого, не тревожить. А она только посмеивается. Думает, что это мне вроде как ветром через щель, мол, задувает... Ну что тут поделаешь? Почти пятьдесят годов прожили. Душа в душу. А понять меня не может. В бабе какой изъян? В её душе материализма много. А ты что ж это, плачешь, что ли? И поплачь, поплачь. На том свете, считай, побывал. Теперь сто лет жить будешь. А она, видишь какое дело, говорят, беременная. Это я от медсестёр слыхал. Тут же как? Всё всем известно. Вся врачебная тайна.

Что он такое буровит, думал он. И почему он ничего толком не говорит о ней? Беременная... И почему ружьё только одно?

— Где она сейчас?

— Как где? — ответил сосед. — Тут, на втором этаже. В гинекологии.

— В гинекологии? Почему её положили туда?

— Операцию сделали, картечину вытащили и туда перенесли. А зачем, почём же мне знать? Медсестры вон говорят, что твоя подруга беременная. Так что молись, брат ты мой. За двоих теперь молись.

— Хотел бы помолиться, — сказал он, отдыхая после каждого слова. — Да ничего не знаю. Ни одной молитвы.

— Тогда так молись. Говори такие слова, чтобы до Бога дошли.

— Не знаю я таких слов. В словах давно нет смысла. Лучше помолчать. И терпеть.

— Тогда терпи. И молча всё же помолись. Попроси Бога самыми простыми словами, чтобы сохранил в ней, в молодке твоей, дитёнка.

— Молча помолюсь, — согласился он.

— Ты, парень, следовательно, когда он придёт, ничего лишнего на себя не наговаривай. Им что? Лишь бы крутануть кого. Помалкивай. Контуженым придуришь.

Однажды утром, после врачебного осмотра и перевязки, в палату тихо вошёл молодой милиционер в халате, накинутом поверх формы. Поздоровался и улыбнулся чужой улыбкой, которая не обещала ничего хорошего.

— А я к вам, — сказал он. — Как вы себя чувствуете?

— Спасибо. Гораздо лучше, чем три дня назад, — ответил он, но на улыбку следователя отвечать не стал. Милиционеру улыбаться — последнее дело.

— Три дня назад вы ничего не чувствовали, — снова улыбнулся следователь, но теперь в его улыбке мелькнуло что-то человеческое.

Сосед тихонько поскрёб в ящике прикроватной тумбочки, потряс спичками, покряхтел, покашлял и вышел в коридор, вроде как покурить.

— У меня к вам несколько вопросов, — сказал следователь. — Как вы понимаете, заведено уголовное дело. Труп есть, значит, должно быть и уголовное дело. Закон есть закон. Так что надо кое-что уточнить. Общая картина вроде бы ясна. Но детали кое-какие всё же требуют уточнения. Тем более, что к гражданке... как её... фамилию запамятовал... Ну да и не важно. Так вот к ней врачи строго-настрого запретили входить.

— Спрашивайте, — сказал он.

— Первое: есть ли у вас разрешение на хранение огнестрельного оружия? И второй вопрос: кто из вас стрелял первым?

— Разрешение? Какое разрешение? Ни разрешения, ни оружия у меня нет. Вы же сами, видимо, уже всё проверили и справки необходимые навели.

— Странно. А жители окрестного села говорят, что есть у вас ружьё. Видели вас с ружьём. А в картотеке отдела внутренних дел оно действительно не значится... Хорошо. Ружья у вас нет. Так и запишем. Ружья мы при вас действительно не нашли. В доме тоже. Тогда ответьте на второй мой вопрос.

— А какой был второй вопрос?

— Неужели не запомнили?

— Да вы мне лучше по одному задавайте.

— Кто из вас первым стрелял?

— Из чего ж я мог стрелять, если ружьё было у него?

— Ну да. — И следовательно потёр нос.

— Послушай, сынок, — сказал он торопливо, — ты меня за дурака-то не считай.

И теперь ответь на мой вопрос: она действительно беременна?

Следователь улыбнулся.

— Да, беременна. А вы разве не знали?

— Тогда вытаскивай меня отсюда любыми судьбами.

— Как это?

— А так. Ты её детей кормить не будешь. А у неё ещё двое, кроме того, которого ещё, видать, спасти надо. Спрашивай да записывай. Я всё подпишу. Только дуростей не спрашивай. Понял теперь меня? Под статью, говорю, не подпихивай меня. Тебе от нашего горя корысти немного будет.

— Да я вас прекрасно понимаю, — следователь. — Нет у меня задачи вас сажать. Не за что. Ружья второго нет. Только вот гильзы одной не хватает. Не нашли. Наши, видать, где-нибудь затоптали. Ладно, может, ещё найдём. Ко мне ещё будут вопросы?

— Есть и ещё один, товарищ лейтенант. Кто нас нашёл? Кому мы жизнью обязаны? Туда же не проехать...

— Тоже теперь проблема. — Следователь застегнул папку, посмотрел в окно. — Как в стихотворении про Дядю Стёпу: ищут пожарные, ищет милиция... Говорят, охотники какие-то. Лично мне о них выяснить пока не удалось почти ничего. Тоже ваша помощь потребуется. Местные, правда, кое-что рассказали. Вывезли вас на санках. Но как вы в них, вдвоём, поместились, ума не приложу. Может, по одному вас вывозили? Никто точно не знает. Но факт тот, что вывезли и на попутной машине отправили в больницу и доставили прямо сюда, в хирургическое отделение. Даже доктора Петрова из дому они вызывали. Они. Охотники те. У меня к вам просьба. Если они появятся, то как-нибудь постарайтесь, чтобы оставили хотя бы свои телефоны или адреса. Описание внешности их у нас имеется. И фамилии даже есть. Они назвали свои фамилии. Но таких в нашем районе не имеется. Один среднего роста, худощавый. Другой повыше. И тому, и другому лет по двадцать. Одежда какая-то странная. Один в афганке, в куртке. Другой вообще в шинели и в пилотке. Охотники...

— А фамилии... — встрепетулся он и не почувствовал боли.

— Фамилия одного Тимин или Тёмин. Другого — Антипов или Антипенко. Эти фамилии вам знакомы? Вы знаете их?

Он вдруг понял, что произошло. Хотя верить в это было невозможно. Он понял, что о ружье можно было умолчать. Действительно прикинуться контуженым. Он и умолчал. Ему стало понятно, почему оно исчезло. Его ружьё и стреляная гильза. И знал, что, если он сейчас скажет следователю «нет», произойдёт непоправимое: он просто-напросто откажется от своего друга, от Тёмича. И от того, другого, который тоже помог ему выжить. И ему, и его женщине, которая носит под сердцем его дитя.

— Антипенков, — сказал он. — Иван Кузьмич Антипенков.

— Так, хорошо, сейчас запишу, — забормотал следователь, расстёгивая свою папку. — Как вы сказали? Антипенков?

— Да, Иван Кузьмич Антипенков.

— Кто он? Где его можно найти?

— Кто он? — Он какое-то время молчал, как будто собираясь с силами. — Он из Дорогобужа. Есть такой городок в Смоленской области.

— Да-да, знаю, слышал. Райцентр вроде нашего.

— Но оттуда он давно выехал.

— Когда и куда?

— В сорок первом году, на фронт. Пулемётчик. Восьмой штрафной роты. Номер дивизии не помню. А другой — мой друг. Генка Тёмин. Отдельный автобат. Знаю только полевую почту. Вы записываете?

— Записываю, — недоумённо ответил следователь и внимательно посмотрел на него.

Следовательский опыт у лейтенанта был невелик. Но он знал, что человек, которому он сейчас задавал вопросы, говорит правду. И это была правда человека, который пережил смерть и теперь, под воздействием медикаментов, радуется, что выжил. Он подождал, когда раненый, наконец, успокоился, перестал шевелить губами и уснул.

— Ну вот, — усмехнулся он сам себе, подумал о том, что завтра доложит начальнику, что с охотниками надо ещё разбираться, и тихо застегнул папку. — Пойду и я в свою штрафную роту. — И подумал, глядя на прозрачную, всю насквозь пронизанную солнечным светом, радостную каплю за окном: скорее бы весна.





ДЕБЮТ В «АРГАМАКЕ»

ОЛЕГ ЛОНШАКОВ

РОДИНА У КАЖДОГО СВОЯ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Мне в городе твоём немного тесновато,
но то, что мы вдвоём, разглаживает ширь.
Нечаянной любви мы развернули ватман.
А дальше: акварель, гуашь, карандаши...

Мы взрослые уже, но в живописи — дети.
Наивен наш пейзаж, в нём мастерства — на грош:
мы двое на траве, над нами солнце светит,
а с правой стороны накрапывает дождь.

Такой вот реализм — разорван на две части.
То счастье, то печаль. То радость, то тоска.
Я в городе твоём не так бываю часто.
Я редко счастлив был, зато — наверняка.

Я в городе твоём. Вокруг бушует ливень.
Как хорошо, что я запомнил адрес твой.
Пусть ватман, а не холст. И пусть пейзаж наивен.
Когда рисуешь жизнь, при чём здесь мастерство?

* * *

По эту сторону окна
поэту грезилась весна.

Он много вёсен сочинил,
он много перевёл чернил.

Порой овации срывал,
но вот окна — не открывал.

Он думал — всё поймёт и так,
он думал за окном — пустяк...

Там жизнь: прекрасна и страшна,
там настоящая весна.

ДОН ЖУАН

Разве я похож на Дон Жуана?
Да какой я, к чёрту, Дон Жуан...
Не по мне скучает донна Анна.
Не по мне коварство и обман.

Я романтик, звёздами влекомый.
Вас, как идеал, боготворю.
Так я каждой девушке знакомой
или незнакомой говорю...

И они распахивают двери,
душу мне и тело отдают,
потому что мне нельзя не верить,
ведь я каждой правду говорю.

* * *

Человек. Собака. Лето.
Человеку не спалось,
размышлял о жизни этой:
что-то в ней не удалось?

Он поэтом был. Наверно,
в спорах с близкими ему
вёл себя высокомерно,
сам не зная, почему.

И не мучился вином,
но, поднявши взгляд к луне,
понял вдруг, что под луною
он с собакой — наравне.

Ведь стихи его не слышат
ни собака, ни луна.
Он гулять с собакой вышел,
но гуляет с ним она.

Значит, всё начать сначала?
Где-то в жизни был не прав?
А собака сочиняла
под луною новый «гав».

Так до самого рассвета
и не вместе, и не врозь:
человек, собака, лето.
Человеку не спалось.

ОРГАН В ПИЦУНДЕ

В Пицунде будешь, в древний храм
под вечер приходи...
Ты странный вздох услышишь там,
потом ещё один,
потом ещё, но только вдруг,
ты не заметишь, как
переплетутся вздохи в звук,
пришедший сквозь века.
И, словно наступил рассвет,
проснётся древний храм...

Сидит сутулый человек
у клавиш где-то там.
Но он почти не виден вам,
играя свой концерт.
А, может, это дышит храм,
а человека нет...

* * *

Вчера — четверг, сегодня — пятница.
Вчера — поэт, сегодня — пьяница.
Вчера был рад всему без повода,
сегодня — ощущение холода.
Так наступают, неужели,
мои семь пятниц на неделе.
Стучусь к тебе — закрыты двери.
Мне остаётся только верить:
придёт суббота, как спасение,
а после будет Воскресение.

* * *

Податлива, молчалива...
Ты глина, но станешь вазой
в руках его терпеливых
когда-нибудь, но не сразу.

И с ярко-кричащим рисунком,
без памяти и без веры,
ты станешь вдруг тонкой и хрупкой
изюминкой интерьера.

Закончится всё внезапно:
неловким движением вазу
уронит он с полки на пол.
Когда-нибудь, но не сразу.

Посмотрит, оценит взглядом:
«А может быть, склеить части?»
А после подумает: «Надо ли?»
И тихо шепнёт: «На счастье».

* * *

Вот бессмысленный мой перекрёсток.
И откуда он только возник?
Если прямо – допрос перекрёстный,
а направо – сразу тупик.

А налево – крест деревянный,
мелом надпись: «Конец пути».
И стою я весёлый и пьяный.
И мне некуда дальше идти.

Может, я и не всё понимаю,
может, я и не чувствую суть,
но, приветствуя, шляпу снимаю
перед теми, кто знает путь.

Всё идут они, шаг наращивая,
всё стремятся куда-то успеть.
И, увидев меня, стоящего, –
кто плюёт, кто кидает медь.

* * *

Никуда не рвался в этом мире.
Повод был, но только мне милей
родина в трёхкомнатной квартире,
под окошком пара тополей.

Вырвались, разъехались другие,
вспоминают родину в тоске.
Мне хотелось тоже ностальгии
где-нибудь у моря на песке.

Но когда бессмысленно срубили
под окошком утром тополя,
у меня был приступ ностальгии.
Родина у каждого своя.

* * *

Собака лежала
у запертой двери,
вплотную прижалась
к светящейся щели.
Шумела вода,
вырываясь, из душа.
Так было всегда,
если близился ужин.
И ждать ей осталось
как будто недолго,
но запах металла
сбивал её с толку.
Нечаянный запах
с какой-то начинкой
из крови и страха,
немного с горчинкой.
Откуда он взялся
тот запах металла?
Собака про многое
в жизни не знала:
что смысла искать в ней
не стоит пытаться.
Что проще уйти иногда,
чем остаться.
Что рядышком в жизни
любовь и измена.
Что кровь – это жидкость,
текущая в венах.
Что в мире есть преданность,
но есть и предательство.
Ей было неведомо
и то обстоятельство,
что запах металла -
от лезвия бритвы.

И вдруг зазвучала
собачья молитва.
Всё выше и чаще
над шумом воды
звенело скулящее
чувство беды...

Его не спасут,
обнаружив нескоро.
Потом понесут
по пустым коридорам.
Уже безвозвратно
он с нею расстанется.
Лишь бурые пятна
да запах останется.
Тот запах холодный,
почти незнакомый.
Собака голодной
останется дома.
И выть напролёт
будет дни и недели.
А после умрёт
у него на постели...

Так в жизни бывает:
приводит, поверьте,
предательство — к смерти
и преданность — к смерти.

* * *

Ты проснёшься, а меня не будет.
Просто так проснёшься, невзначай,
или это день тебя разбудит,
прикоснувшись кисточкой луча.

Ты проснёшься и увидишь небо,
что в окно свисает и дрожит.
И весь мир покажется нелепым,
и весь мир покажется чужим.

В этом мире некого бояться.
Только слёзы на твоих глазах
от того, что не к кому прижаться,
некому об этом рассказать.

Я ушёл, но обо всём об этом
сможем мы с тобой поговорить.
Милая, не плачь, я рядом где-то,
я всего лишь вышел покурить.

* * *

Опять темно, опять моё окно
единственное с темнотой не дружит
и падает на дно огромной лужи.
Я там — за ним. Я падаю на дно.

А мне комфортно там, где не тревожит
меня никто, при этом мне светло.
Прошу тебя, нечаянный прохожий,
Не наступи на хрупкое стекло.

* * *

Я очень часто поджигал мосты.
И уходил. И думал, не вернусь я.
Но каждый раз, едва мне снилась ты,
я снова восстанавливал мосты.
И каждый раз всё крепче были брусья.

Конечно, ты меня приворожить
могла. И это ты умела.
Хотелось взгляда, тела и души...
Но больше, всё равно, хотелось тела.

Любовь — прикосновение душ и тел,
которым оторваться друг от друга
никак нельзя, а я, дурак, хотел
зачем-то выбраться из замкнутого круга:
пытался, пробовал. Но так и не сумел.



СВЕТЛАНА ПОПОВА

Я ШАГАЮ В ВЕСНУ

* * *

Мне трудно прятать крылья за спиной.
Взлететь, упасть, застрявши в проводах?
Но крылья мне подарены Невой
На память о просоленных ветрах.

Мне страшно сделать ими даже взмах
И просто невозможно опустить!
Закованной в гранитных берегах
Скажи, Нева, невыносимо жить?!

Васильевской стрелой оставлен шрам –
Не скроешь за холодную водой –
Раздвоена, разбита пополам,
Как пара крыльев за моей спиной.

Ты прячешься за мрамор и гранит.
Я прячусь в повседневность серых дней.
Но рана незажившая болит
И тянет к небу, ввысь ещё сильнее!..

Прости, Нева, но как-нибудь потом
Вернусь к тебе, печальная, опять,
И надышавшись ветром и дождём
Я всё-таки попробую летать...

2011

* * *

Ладонями вееди
Мой силуэт в проёме
Оконного холста.

За гранью стёкол-льдин
В твоём заснувшем доме
Ночует темнота.

Смотри, не разбуди
Царящую дремоту
Движением руки.

И взгляд не отводи.
На лестничном пролёте
Ещё звучат шаги

Моих босых ступней.
Сто восемнадцать к небу
Ступеней за спиной,

Пороги трёх дверей,
И только тень нелепо
Лежит передо мной.

Над нами этажи
И в ореоле света
Застывшая луна.

Дыханье удержи.
Два тёмных силуэта
У самого окна...

2011

* * *

*Луна – лунатику.
М. Цветаева.*

Опять глаза бессонные
Смотрят ввысь.
Проёмами оконными
Поклянись,

Пускай пройдёт бесчисленно
Много лет,

Ловить мы будем мысленно
Хвост комет,

Как лунный шар наполнится –
Каждый раз! –
Смотреть в окно с бессонницей,
Как сейчас...

Пусть ночь лениво тянется.
Лунный свет
Квадратами разляжется
На паркет.

Луна – глаза совиные –
Словно яд!
Оконной крестовиной
Мир распят.

Но снова в ночь безумную,
Как в бреду,
К тебе – дорогой лунной –
Я иду.

2011

ВЕСЕННЕЕ

Задыхаясь весной с выхлопными,
Согреваясь теплом,
Я на стёклах пишу твоё имя
И стираю потом.

Отражениям в солнечных лужах
Улыбаюсь в ответ.
А по ним меж окурками кружит
Утонувший пакет.

Пробудившись весной, без умолка
Сердце – слышу – стучит.
И тебя долгожданнее только
В пыльных окнах лучи.

По исписанным матом перилам
На высоком мосту
Я пройду, удержусь, мне по силам.
Я шагаю в весну.

2011

* * *

Заслезилась по стёклам капли,
Задождали по лужам тучи.
Может быть, это кот заплакал,
Злой хозяин его замучил.

В небе ломаных молний знаки,
Шумный ветер в окошко дует.
Может быть, рассветелись раки
На горах перед самой бурей.

И в четверг заструится дождик!
Он, как воздух, всем людям нужен.
Побежит босиком сапожник,
Как ребёнок, по тёплым лужам!

2010

АДАМ И ЕВА

Ты знаешь, сегодня такой душный день,
И хочется фруктов...
Я в полдень бродила по саду, где тень,
В беспамятстве будто.

Ходила меж яблонь, не видя дорог,
Не думая, где я.
Присела на землю и прямо у ног
Заметила змея.

Он что-то шептал мне про свет и про
тьму...
Что точно – забыла,
Пока мимо сада к тебе одному,
Мой милый, спешила.

Смотри, это яблоко отдал мне змей,
Сползая в ложбину,
Сказал, что на свете нет фрукта вкусней.
Бери половину.

Так хочется сделать хотя бы надкус,
Попробовать сока...
Давай же узнаем у яблока вкус –
Кусай с того бока!..

2008

* * *

Мне кажется, **всё** сказано давно.
И то, что я сейчас пишу — сказали.
Всё движется по замкнутой спирали.
А повторять чужое — не умно.

Зачем листок чернилами опять
Мараю, если все слова избиты,
Воспеты мысли, истины открыты —
Осталось только вспомнить и принять?

Понять, что у всего есть свой лимит,
Избавить мир от новых повторений.
Но нет! И через пару поколений
Вот этот стих поэт вдруг сочинит.

2008

МОЁ ВДОХНОВЕНЬЕ

Чья-то муза приходит в венках
С золотою изящною лирою,
А к кому-то летит в облаках
Белокурою и белокрылою.

Для меня — как взъерошенный зверь,
Вольный, гордый, с глазами бездонными.
Он когтями царапает дверь,
Он приходит ночами бессонными

Серым волком ложится у ног,
Смотрит в душу моё вдохновение,
И под взглядом его на листок
Опускается стихотворение.

2008



АЛЕКСЕЙ КАРЕЛИН

ОДНА ИСТОРИЯ

Рассказ

Это случилось в некотором городе на любой улице тридцатого февраля будущего года. Степан Павлович спешил на работу. Настроение — гадкое, а тут ещё опаздываешь. Ночью снег подтаял, утром ударил мороз. Приходилось идти короткими шажками. Вдобавок к гололёду дико ревел ветер. Покрасневшие ладони не показывались из карманов пальто, тем труднее было сохранять равновесие на особо скользких участках. Шляпу Степан Павлович надвинул на самые глаза, поэтому не заметил вовремя встречного пешехода.

— Извините, — прозвучало рядом.

Степан Павлович вздрогнул, остановился. Перед ним стоял парень лет двадцати пяти, круглолицый, с весёлыми маленькими глазами.

— Здравствуйте, у вас есть минутка? — спросил он.

Ни минутки, ни полминутки, ни даже секунды Степан Павлович не имел: вот-вот начнётся лекция у программистов, его лекция.

— Вообще-то я...

Но парень слушать не стал, перебил:

— Видите ли, я в сложной ситуации. Вечером автобус, я в Смоленске живу, а денег на билет не хватает. Вот, хожу — стреляю. Могли бы вы помочь? Хоть чем-нибудь: полтинник, сотка? Не хватает трёх сотен, но... сколько сможете.

Степан Павлович растерялся. Парень выглядел добрым и общительным, порядочно одет, но...

— Дайте мне свой номер телефона. Как приеду в Смоленск, положу вам на счёт. Мне на самом деле нужны деньги.

Степан Павлович сбился с мысли.

— Да, но у меня нет таких денег.

— Сколько можете. Пожалуйста. Вы ведь видите: я нормальный, не алкаш какой-нибудь. Здесь учусь, в университете.

— Да? — обрадовался Степан Павлович. — Я тоже. В смысле преподаю. Физику. Вы на каком курсе?

— Четвёртом.

— Увы, физику там уже не изучают.

— Я дам вам свой телефон, если не верите. Как приеду, верну долг. Если забуду, напомните. Но я не забуду.

Степан Павлович, будучи человеком интеллигентным, не мог просто отшить парня. Отдавать же деньги не хотелось, терзали сомнения. Что-то настораживало, но собеседник постоянно тараторил, мешал думать.

— Я только что к мужчине подходил, — продолжал щебетать парень. — Может, видели? Машина здесь стояла. Обругал меня. Не очень отзывчивые у нас люди. Я всё понимаю. Незнакомый человек... Но что делать? На вокзале ночевать?

Степан Павлович замялся. Надо было выбираться из неловкого положения, но как сложно сказать «нет». Вдруг человеку и вправду нужна помощь? Что он подумает о Степане Павловиче? Жлоб, негодяй, параноик... Лекция, скоро лекция.

Степан Павлович завертел головой, словно ожидал совета от прохожих. Решать надо немедленно. Который час? Осталось пять минут!

— Возможно, вы спешите? Вам туда? Пойдёмте. Меня Игорь, кстати, зовут.

Пожали руки, двинулись вперёд. Парень доверительно, как другу, начал описывать казус: как случилось, что он оказался без денег. Степан Павлович слушал внимательно, его натура не могла иначе, даже если опасалась подвоха и спешила на работу. Вместе посмеялись над глупой развязкой. Да, бывает же.

Вот и университет.

Парень взглянул на Степана Павловича с такой надеждой!

— Ладно, — не выдержал Степан Павлович. — Давайте свой номер. Вот сотня.

— Спасибо! Есть ещё добрые люди. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вы просто представить себе не можете...

Степан Павлович закивал, натужно улыбаясь. Душа рвалась отобрать сотню, пока не поздно. Разболелась голова.

— Извините, меня ждут. У меня лекция...

— Да-да, идите. Не смею больше вас задерживать. Спасибо вам огромное.

— И всё-таки телефончик, пожалуйста.

— Да, конечно, записывайте.

Степан Павлович внёс контакт в адресную книгу и нажал на «вызов». Действительно, в кармане парня заиграла мелодия — не обманул.

— Запишите и вы мой, — уже веселее сказал Степан Павлович. — Что высветился.

— Ага.

— Ну всё, удачи вам.

— И вам. Спасибо ещё раз.

Распрощались. Слава Богу!

Степан Павлович поднялся по ступеням ко входу, оглянулся. Какое же всё вокруг серое, блёклое. Даже небо. Тревога вернулась. Догнать, вернуть, отнять! Ветер зло рванул пальто. Степан Павлович поёжился, нырнул в тепло.

Всю лекцию Степан Павлович был рассеянным. Беспокоил вопрос: правильно ли поступил, не обманул ли? Разве до Смоленска такой дорогой билет? Разве можно так потерять деньги? Больно киношная история.

Вечером, дома, Степан Павлович чуть ли не каждый час проверял баланс на телефонном счёту. Деньги не приходили. Степан Павлович впал в депрессию. Если сначала он мерил спальню шагами, то к полуночи напало оцепенение, полное бессилие.

Степан Павлович лёг на диван. Что делать, что делать? Есть же его номер! А вдруг молодой человек ещё не доехал до Смоленска? Ведь он не сказал, во сколько автобус. Идея!

Степан Павлович позвонил в справочную автовокзала. Там ему сказали время отбытия интересующего рейса, время прибытия на конечный пункт и стоимость билета. Онемевшими губами Степан Павлович прошептал «спасибо», повесил трубку и уставился в потолок.

Автобус должен был прибыть в Смоленск около часа назад. Но был ли в нём молодой человек? Билет стоил чуть меньше двухсот рублей, тогда как парень говорил, что ему не хватает трёхсот.

Нет, нет. Он не врал. Просто, наверное, поехал поездом. Вот там, да, несомненно, билет стоит больше тысячи. Но почему деньги не пришли ещё на телефон? Поезд быстрее автобуса. Позвонить молодому человеку? И что сказать: почему вы не вернули долг? Это некрасиво, грубо. Вдруг молодой человек устал с дороги и решил расписаться завтра? А если он потерял номер телефона Степана Павловича? Бывает же такое, что контакт пропадает. Или не бывает...

Степан Павлович схватил мобильный. Пусть молодой человек думает, что хочет. Что Степан Павлович — скряга, трясётся за каждую копейку. Пусть! Пусть обижается, но Степан Павлович должен знать, не забыли ли о нём. Нет, он боится не за деньги, а за... честь, если можно так выразиться. Его беспокоило, обманули или нет, он — дурак или добрый человек, мир совсем уж плох или ещё можно кому-то доверять?

«Абонент временно не доступен». Неужели у парня телефон разрядился? Или всё-таки обвёл вокруг пальца? Час ночи...

Возникло острое желание с кем-нибудь поговорить, обсудить создавшееся положение.

— Алё, сын?

— Пап, время видел? Что стряслось?

Разбудил. Степан Павлович пристыженно втянул голову в плечи. Из-за какой-то мелочи нарушил отдых сына. Может, не говорить ничего? Извиниться, и всё? Так всё равно уже поднял. А без этого разговора Степан Павлович глаз не сомкнёт.

— Лёш, прости старика. Нужен твой совет.

Алексей выслушал молча. Степан Павлович даже испугался: не уснул ли.

— Алло, ты меня слышишь?

— Да, да, продолжай, — устало ответил Алексей.

Ему завтра рано вставать, работа тяжёлая, но он не возмущается. Понимает, что нужен. Или просто не хочет обидеть старика?

Как только Степан Павлович закончил рассказ, Алексей вздохнул и сказал:

— Ну, пап, ты даёшь. Развели тебя, как мальчика. Парень этот ещё в центре города промышлял. Полиция стала гонять, вот он и перебрался в другой район. Ты бы подумал: как он, не местный, ехал на сессию и не позаботился о том, чтобы вернуться домой. Говоришь, праздновали сдачу экзаменов? Да брось. Неужели он такой дурак все деньги растратить. А билет? Зачем ему на поезде ехать, если на автобусе гораздо меньше платить, а у него критическая ситуация. Ты слишком доверчив, па. Мир не такой, каким был в твоей молодости. Пора бы уже понять.

С каждым словом Степан Павлович словно терял в росте. Попытался оправдаться:

— Он дал свой номер телефона...

— Который, небось, уже заблокировал. Или выгащил симку до следующей аферы. Хорошо, что хоть мало дал. Сотня — это не деньги. Не расстраивайся. Впредь будешь умнее.

На это Степану Павловичу сказать было нечего. Он поблагодарил сына, ещё раз извинился за беспокойство и пожелал хороших снов, которые сам этой ночью увидеть уже не надеялся.

На следующий день Степан Павлович на работу не вышел. Заболел. Болезнь была больше душевной, нежели физической. Степан Павлович не поднимался с постели. В голове крутились одни и те же мысли.

Как же так? Как можно? Играть на лучших качествах людей ради наживы? Как грязно, подло! Врал и не краснел. К нему по-доброму, со всей душой... Как это низко! Чёрт с ними — деньгами. Сотня, как сказал сын, нынче не деньги. Но что делает этот молодой человек? О какой любви к ближнему после этого может думать жертва обмана? Мир жесток, а мошенники ожесточают его ещё больше. Парень так искусно играл... Но теперь Степан Павлович не даст себя обмануть, это было в последний раз. Чужие проблемы — это проблемы чужие. Сегодня одним самаритянином стало меньше.

Как ни было тяжело, Степан Павлович пережил оскорбление, даже скорее разочарование в людях, а в некотором роде предательство. Спустя несколько дней он и думать забыл о мошеннике. Пока не встретил ещё одного.

Милый парень, меньше и худее предыдущего, с щенячьими большими глазами, бровки домиком — ангел, невинное дитя.

— Пожалуйста, помогите. В Людиново живу. На сессию приезжал и потерял деньги.

Степан Павлович ощутил, как волна гнева поднимается с пят к горлу, готовится выплеснуться. Лицо покраснело, щека дёрнулась, губы искривились в ухмылке.

— Как же так? — спросил Степан Павлович с наигранной озабоченностью. — Потерял. Все разом. И не заметил.

— Не знаю. Может, в раздевалку карманник влез. Или в троллейбус обчистили...

— Ай-яй-яй. Как же, как же... Помогу. Сейчас в полицию позвоню, скажу, что вымогателя встретил.

Юноша испугался.

— Какое вымогательство? Вы что? И не думал. Я лучше пойду.

— Идите, идите, — довольный собой, разрешил Степан Павлович. — И скажите «спасибо», что я добрый.

Ночь. Звёздная. Ни облачка. Морозная. Из рта пар валит клочками ваты.

Валера подстелил под себя картон, им же укутался. Кто бы мог подумать, что он когда-нибудь побывает в шкуре бомжа. Огляделся — страшно спать, ещё прирежут. Двор доверия не внушал: покосившийся забор, кругом мусор, с одной стороны пустырь. С вокзала менты прогнали. Позвонить некому. Первый курс, первая сессия. Особо ни с кем не успел подружиться. Жаль, не курит. Нечем костёр зажечь. Хлама полно, а вот спичек нет.

И чего люди такие злые? Сказал ведь — долг верну. И паспорт раскрывал — прописку показывал. Даже не смотрят: гонят, матерят или просто идут, как шли, мимо. Студенческий предлагал показать, номер телефона свой дать, группу называл, в которой учится. Бесполезно. Не верят.





СЛОВО И ДЕЛО

Мои встречи с Вадимом Валериановичем Кожиновым

Выдающийся литературовед, критик, историк, философ, публицист и на редкость цельная личность Вадим Валерианович Кожинов (1930–2001) в жизни и в духовном становлении множества людей нашей страны сыграл решающую роль. Так было и со мной.

Меня с Вадимом Валериановичем познакомил Евгений Петрович Барышников (1929–1991), мой духовный наставник, Учитель, друг, кандидат филологических наук, толстовед, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Липецкого госпединститута. Евгений Петрович, преподававший нам в Елабужском госпединституте «Введение в литературоведение» и «Русскую литературу XIX в.» (вторую половину), учился с В.В. Кожиновым, П.В. Палиевским, С.Г. Бочаровым, Г.Д. Гачевым, В.Д. Сквозниковым на одном потоке филологического факультета МГУ. Все они дружно общались и всегда с большой и искренней приязнью говорили друг о друге. Е.П. Барышников был не менее талантливым и глубоким исследователем, но судьба сложилась так, что он остался в неизвестии. Будучи человеком удивительной душевной щедрости, не мудрствуя лукаво, ввёл меня в круг своих единомышленников, выдающихся литературоведов страны, за что ему низкий поклон. Поскольку в культурном и литературном жизненном пространстве эпохи их судьбы были неразрывно связаны, я буду цитировать барышниковские письма ко мне, где упоминается имя Кожинова, говорится о его мировоззрении, характере, а также о различных статьях и книгах, выступлениях на конференциях и т. д. Думаю, это поможет глубже понять слово и дело В.В. Кожинова.

Я не буду рассуждать на тему, зачем нужно было Вадиму Валериановичу, знаменитому критику, литературоведу, возиться с нами, провинциалами, явно не хватавшими звёзд с неба. Но ведь он занимался этим на полном серьёзе, хотя постоянный цейтнот был нормой его жизни, и ни разу за 20 лет я не почувствовал хоть нотки превосходства в его голосе, поведении. Взаимоотношения строились на полном дружеском взаимопонимании, непрерывном диалоге, где, разумеется, превалировал мой замечательный собеседник, а я, как губка, впитывал всё, что им говорилось. 24 сентября я был принят впервые в доме Кожинова на Старом Арбате. Он написал и подарил мне свою книгу «Стихи и поэзия»: «Наилу Валееву с самыми добрыми пожеланиями в день знакомства 24 сент. 1981. Вадим Кожинов».

Далее — непрерывный диалог, длящийся по сей день, так как работы Вадима Валериановича, особенно последние, по истории России, чрезвычайно актуальны для любого мыслящего человека, и к ним — ярким статьям, книгам постоянно возвраща-

ешься, и они — раскрывают боль и проблемы сегодняшнего дня. С течением времени понимаешь, как, оказывается, мы много потеряли с уходом В. В. Кожина: не стало собеседника для тысяч мыслящих людей России. Он очень многое провидел в текущих реалиях современной российской действительности, с ним очень легко было обсуждать насущные проблемы. Лёгкость эта была кажущейся: предвидеть далёкую перспективу дано не каждому. Он очень любил Россию, хлопотал, чтобы страна выбрала *свой* путь и всегда верил в её возрождение. Он, как мало кто, знал о нераздельности личной судьбы с судьбой России. Когда Кожин понял, куда ведут нас разрушители великой страны — Горбачёв и Ельцин, — Вадим Валерианович, будучи истинным патриотом, обратился к публицистике, выступил с глубокими раздумьями в статьях «Правда и истина», «Самая большая опасность». В так называемые «перестроечные» годы, когда многие достаточно известные учёные, политики бессовестным образом приспособившись, сменили свои флаги и, черня и отвергая прошлое, кинулись обличать всех и вся, — Кожин прямо показал их двуличие и непорядочность. Он справедливо убеждал современников, что Россия должна выработать *свой* национальный путь развития и что никакие западные модели для нас неприемлемы.

К моему великому сожалению, часть писем Вадима Валериановича ко мне утрачена, наверное, навсегда. От некоторых остались лишь пустые конверты. По немногим сохранившимся черновикам моих писем, ответы на которые утеряны, попытаюсь, по возможности, восстановить и их содержание

28 января 1982 года в письме из Елабуги я перечисляю книги, приготовленные мною для Кожина, прошу отметить нужные. Информую его о своей семейной радости — получении трёхкомнатной квартиры, о том, что теперь есть условия для нормальной научной работы, много места для стеллажей, приюта для нескольких тысяч книг. От него последовало телефонное поздравление, а затем пришло письмо и список книг, которые Вадим Валерианович разыскивал для своей научной работы.

Каждый мой приезд в Москву знаменовался встречами с Вадимом Валериановичем, Еленой Владимировной, их дочерью Сашей. По 2–3 часа продолжались наши беседы, из которых я выносил мощный духовный заряд, жажду работы, с душевным трепетом пересказывая близким суть разговоров. Не случайно мой учитель Евгений Петрович говорил, что «пообщаться с Кожинным и Палиевским — это всё равно, что прочитать энциклопедию. Это мыслители удивительные, равные по дарованиям и объёму сделанного Киреевскому и Хомякову в прошлом веке...». И далее в письме от 25 сентября 1982 года он просит меня рассказать, что я услышал от Вадима Валериановича, поскольку «это человек энциклопедической памяти и энтузиазма, побыть рядом с ним — всё равно, что прочесть целую библиотеку».

16 мая 1982 года Кожин дарит мне целую библиотечку своих работ. Из-за шумевшей кожиновской статьи в журнале «Наш современник» (1981, № 11) «И назовёт меня всяк сущий в ней язык... Заметки о своеобразии русской литературы» был снят с работы первый заместитель главного редактора Юрий Иванович Селезнев (1939–1984). Формальным поводом послужил выход в свет рецензии-доноса в духе незабываемых 30-х годов «Точность критериев» в главной газете страны — «Правде» (1 февраля 1982 г.) заведующего кафедрой русской литературы МГУ, профессора В. И. Кулешова. Раньше после такой «рецензии» обычно ставили к стенке, но в данном случае обошлось сломанной судьбой красивой внешне и внутренне человека, талантливого писателя и журналиста Ю. И. Селезнева, и длительными хлопотами Вадима Валериановича о его дальнейшем трудоустройстве. Но слово «обошлось» не точно отражает ситуацию: через два года этот уникальный, кожиновского масштаба человек, умер от разрыва сердца в 44 года. Творческие натуры очень чувствитель-

ны к интригам, подлости и завистливой нетерпимости. Хамству и клевете им нечего противопоставить, кроме своих трудов. Их, талантливых, нужно всячески беречь, а у нас их беспощадно бьют, причём кое-кто радостно потирает руки при этом, хотя все теряют невосстановимо много и саморазрушаются...

Позже, 6 сентября 1984 года, я во время очередной беседы в доме Кожина вернулся к этой статье. Вадим Валерианович рассказал следующее. «До середины 70-х годов я был совершенно бескомпромиссным человеком, ничем не поступался в своих писаниях. Иногда редакторы просили меня в статье или книге поставить цитату из Брежнева, классиков марксизма-ленинизма, но я отказывался, и статью, книгу не брали (случай с «Литературной газетой» и журналом «Октябрь»). Как-то один большой начальник с уважением отозвался о моём творчестве, но об этой статье в «Нашем современнике» высказался отрицательно. Я ему сказал, что идея этой статьи — «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». Русское — это значит общенациональное, мировое, общечеловеческое, и русские вполне ответственны за судьбы всех народов в нашей стране. Очень не люблю дилетантов, которые (как однажды в Вологде) кричат, что прибалты с жиру бесятся, мясо едят, а у нас его нет. Я резко отчитал их за столь нелепый подход к труженикам, которые, выкорчёвывая камни, выращивают большие урожаи. Критиканы примолкли».

Интересно, какой резонанс вызвала вся эта некрасивая история у друзей и недругов Вадима Валериановича. Е. П. Барышников был, разумеется, обеспокоен критикой в адрес своего друга и однокашника, прозвучавшей со страниц главного печатного органа страны. А вот как отреагировал на ситуацию тогдашний заведующий кафедрой литературы Липецкого госпединститута С. Т. Вайман, который приложил все усилия, чтобы не дать моему учителю защитить докторскую диссертацию, и, увы, добился своего. В письме от 28 марта 1982 года Евгений Петрович пишет: «Вайман мою работу читал и похвалил, даже расхвалил. Но за глаза говорил кой-кому: оценивайте её с точки зрения Кулешова против Кожина... Кстати, он хотел начать на кафедре погром статьи Кожина, но мне удалось предотвратить это и даже пристыдить его». Как видим, добровольцев, жаждущих затоптать критикуемого, было немало.

А вот автограф на «Книге о русской лирической поэзии XIX века» (М.: Современник, 1978): «Наилу Валееву с самыми добрыми пожеланиями, от души Вадим Кожин. 16 мая 82 г.». В ней он говорит о природе, истоках и этапах развития русской лирики, о поэтах пушкинской и тютчевской плеяды. Отдельно — о Фете и Некрасове, а затем обстоятельно о лирике кризисной поры — 1870–1880-х годов. Здесь речь идёт о поэтах Фофанове, Случевском, Апухтине, которые сыграли важную роль в процессе формирования нового литературного стиля, подготовившего приход в русскую поэзию Иннокентия Анненского и Александра Блока — вершинных явлений в лирике рубежа веков.

Считаю, что нельзя обойти вниманием томик избранных стихотворений и прозы А. А. Фета, более чем скромно, на дешёвой жёлтой бумаге изданный в Воронеже в 1978 году и подаренный мне с интригующим автографом: «Наилу Валееву — заново открытого поэта (см. об этом «Литературная учёба, 1979. № 5, статья Скатова). Вадим Кожин. 16 мая 1982». С воронежским изданием критик поработал на совесть: написал обстоятельную вступительную статью, где раскрыл сложные моменты биографии и творчества Фета, подготовил тексты к печати. В примечаниях объяснил, с какой целью и по каким вариантам издаются включённые в данный сборник стихи. Сложность состояла в том, что фетовский сборник стихов 1856 года очень некорректно отредактировал, «исправил» И. С. Тургенев со товарищи. Сам Фет после смерти Тургенева в своих «Дневниках» так оценил их правку: «Издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изуверченным». Фет, тогда ещё начи-

нающий поэт, не имел права голоса для спора с мэтром, — в итоге его 68 стихотворений были «исправлены», а 87 полностью забракованы. Кожинов восстановил стихи Фета по первому дотургеневскому изданию 1850 года, а тургеневские варианты отправил в примечания. Н. Н. Скатов также неоднократно писал об этой диктаторской акции по отношению к фетовским изданиям, проявленной Тургеневым и редакцией «Современника». Разумеется, в Москве аналогичный, более объёмистый том был издан (М.: Современник, 1981) с предисловием «Поэзия и судьба Афанасия Фета».

Дарит он мне и небольшую свою книжечку «Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта» (М.: Сов. Россия, 1976): «Наилу Валееву с лучшими надеждами. Вадим Кожинов. 16 мая 1982». В следующем, 1977 году, в издательстве «Советская Россия» в серии «Поэтическая Россия» выходят стихотворения Рубцова 1953–1971 годов, собранные В. В. Кожиновым и с его предисловием. На 10 страницах этого краткого повествования о Рубцове-поэте Вадим Валерианович не повторяется, как это обычно бывает, с текстом уже вышедшей книги, а, пользуясь случаем, делится новыми мыслями и соображениями о глубоко и заслуженно почитаемом поэте и его творчестве.

Своевременным будет сказать о том, что подарки его стимулировали мой активный и широкий поиск тех авторов, о ком мы с ним говорили. В моей библиотеке — десяток различных сборников стихов Николая Рубцова, начиная с редких прижизненных, как «Душа хранит» (Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1969), продолжая первым посмертным — «Зелёные цветы» (М.: Сов. Россия, 1971), следующим за ним сборником «Последний пароход» (М.: Современник, 1973), «Избранной лирикой» (Архангельск, 1977), чуть более поздним «Зелёные цветы», 1978 года, переизданным Алтайским книжным издательством, и другие книги. И «Воспоминания о Рубцове» (Архангельск, 1983), одним из рецензентов которых является Кожинов, вручены мне моим замечательным собеседником, поскольку в книге есть и его материал о поэте. Есть целый ряд вырезок материалов о поэте из газет и журналов, а также небольшие подборки его стихов в альманахах и антологиях. Подарил он мне и трудно находимый комплект из двух больших грампластинок «Николай Рубцов. Стихи и песни», великолепно оформленный художником Ю. Селиверстовым, изданный фирмой «Мелодия» в 1980 году. На обложках он поместил свой очерк о поэте, в котором прямо заявляет, что поэзия Рубцова «... обрела самое широкое, поистине народное признание» и его книги изданы почти миллионным тиражом, но тем не менее «... даже самые горячие поклонники поэта не имеют этих книг в своих библиотеках». Сейчас, внимательно взглядевшись в альбом, вижу, что Вадим Валерианович не преминул привлечь к работе над ним всю свою «команду». Лишь из содержательного очерка Станислава Куняева о Кожинове «За горизонтом старые друзья...» узнал я, что рубцовские стихи, записанные на эти грампластинки, «...на музыку положил непрофессиональный композитор, никому не известный майор милиции Александр Лобзов. Вадим сделал все, чтобы его имя стало известно всем почитателям поэта». «Лучший исполнитель этих музыкальных воплощений рубцовской поэзии — замечательный певец Николай Тюрин», — утверждает на той же обложке альбома сам Кожинов. «Можно сказать, что его пение конгениально поэзии Николая Рубцова, всецело соответствует её творческой направленности и духовному уровню», — с любовью и убеждённо констатирует он. Удивляет такая последовательная и разносторонняя работа по пропаганде творчества талантливого поэта и его продвижению в массы. Все любители поэзии должны знать лучшее в современной поэзии, о чём и радеет критик.

Разносторонним было воспитательно-просветительское воздействие Вадима Валериановича на собеседников, независимо от их возраста и положения. В этом смысле представляет особый интерес сборник «Страницы современной лирики» (М.: Детская

литература, 1980) с яркой формулировкой: «Наилю Валееву дарю поэзию моего поколения. Вадим Кожин. 16 мая 82 г.». Редкостная по качеству подборка стихов двенадцати поэтов кожиновской плеяды: Алексей Прасолов, Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Жигулин (безвинно, мальчишкой, студентом первого курса зачисленный во враги народа и прошедший в 1949–1954 годах через ужасы ГУЛАГа), Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов, Эдуард Балашов, Олег Чухонцев, Алексей Решетов, Василий Казанцев, Глеб Горбовский, Станислав Куняев. Думается, сборник из разряда лучших подобного рода изданий своего времени, который навсегда останется в истории русской литературы. Удивительно гармонично представлен каждый автор, с любовью и глубоким пониманием. На мой вопрос: почему 12 авторов, а не 10 или 15? — Вадим Валерианович ответил, что старался показать состояние поэзии эпохи на лучших примерах, чтобы читатели в будущем могли убедиться, сколь достойны были заслуженного внимания именно эти авторы. Предложений по расширению списка участников антологии было множество, но принципиально важно оказалось соблюсти цельность картины поэтической жизни в стране, показать широкоую её панораму на самых достойных примерах.

Сейчас имена исключённых в сборник поэтов достаточно широко известны, они стали мерилом высочайшего уровня русской классической поэзии 60–80-х годов XX столетия, а в 1980 году и раньше именно В. В. Кожин настойчиво продвигал, «проталкивал» их стихи в различные антологии, альманахи, «Дни поэзии» и т. п. Примечательно то, что книга вышла в издательстве «Детская литература» и должна была помочь «юным читателям понять и полюбить поэзию», — отмечает в предисловии Кожин. Далее для них же он обстоятельно разъясняет, что такое стихи и подлинная поэзия, и на примере анализа пушкинского шедевра «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» показывает это. Составитель признаёт, что включённые в сборник поэты не похожи друг на друга, но лучшие их стихотворения объединяет «подлинно творческое начало и подлинная современность». В устном комментарии к даримой книге В. Кожин высказался в целом о поэзии 60-х годов: «Очень творческая обстановка была в кружке, в который входили Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Алексей Прасолов, Василий Казанцев и другие. Их ещё нигде не печатали, а они уже не сомневались в своих возможностях как поэтов. Более того, они были уверены, что им принадлежит пальма первенства в современной русской поэзии». Многих из них именно Кожин вывел к всесоюзному читателю. Особенно это относится к ярчайшему дарованию XX столетия, замечательному лирику Н. М. Рубцову. На мой вопрос, как погиб Рубцов, мой мудрый собеседник рассказал: «19 января 1971 года вечером была помолвка Рубцова с воронежской поэтессой Дербиной. Днём же было обсуждение её стихов, где Николай довольно резко выступил с критикой их. Вечером собрались у него все друзья, которые дружно обмыли и помолвку, и стихи. Ночью, когда все разошлись, у них произошла какая-то дикая ссора. По её словам, Рубцов в гневе якобы кинулся в угол, где лежал топор или молоток. Она, испугавшись, ухватила его за горло и почувствовала вскоре, что он отключился. Она побежала в отделение милиции и сказала, что, кажется, убила человека. Пришли — Рубцов был мёртв. Ей дали 8 лет, через 5 лет она вышла (за примерное поведение сократили срок) и начала ходить по друзьям поэта, пытаясь оправдаться. Но никто не захотел иметь с ней дела, кроме Евтушенко, который начал покровительствовать ей (наверное, завидуя славе Рубцова и его настоящей поэзии)». Факт гибели поэта, думается, достаточно известен, но я привёл его в интерпретации В. В. Кожина, так как даже в его книге о данной трагедии сказано лишь одним предложением.

Чрезвычайно популярный и трудно «доставаемый» в советское время, как и все достойное внимания активно читающей публики, «День поэзии. 1981» (М.: Сов. пи-

сатель, 1981), оформленный рисунками поэтов, надписан просто: «Наилу Валееву от души. Вадим Кожин. 1.П. 82». Главным редактором красочного издания является поэт Анатолий Передреев. Это, без сомнения, заслуга Кожинова, всю жизнь помогавшего талантливым людям заработать хлеб насущный. Сам он, вместе с Л. Аннинским, В. Соколовым, В. Солоухиным и др., вошёл в состав редколлегии. В постоянной рубрике «Поэзия в меняющемся мире» помещена кожиновская статья «Поэтическая традиция и молодые критики: полемические заметки». В ней он справедливо утверждает, что «... развивать традицию могут только подлинные поэты. Развивать традицию — это ведь в сущности значит вбирать в своё творчество предшествующую историю поэзии и наращивать собственный художественный мир на столь богатейшей и глубочайшей основе». Возражая молодым критикам, нашедшим классические традиции в стихотворстве Андрея Вознесенского и Арсения Тарковского, Кожинов с присущей ему дотошностью, удивительным масштабом видения панорамы русской классической литературы растолковывает им их ошибки. Важнейшими представляются мысли, высказанные в заключительных строках полемических заметок: «... Я отнюдь не покушаюсь на право любого критика восхищаться любыми стихами. Но мне представляются весьма неплодотворными и, в сущности, дезориентирующими читателя статьи, в которых современные стихи голословно причисляются к великой классической традиции и тем самым становятся в один ряд с наследием Пушкина, Тютчева, Блока...» Вызывают восхищение заботы Вадима Кожинова о сохранении в чистоте и неприкосновенности классической русской литературы. И трогательная забота о читателе.

Кроме книг и статей он дарит мне целый ряд сборников названных поэтов со своими предисловиями, послесловиями, комментариями. Например, сборник избранных стихотворений Николая Тряпкина, написанных в 1940–1979 годы (М.: Молодая гвардия, 1980): «В библиотеку Наиля Валеева с радостью передаю. Вадим Кожин. 9.V11.82». Его описание первого литературного вечера поэта в подмосковном селе Лотошино, где жил 45-летний Тряпкин и куда Кожинов приехал с группой московских писателей, незабываемо. Земляки поэта вряд ли поверили, что их односельчанин — «один из значительнейших поэтов современности», замечает первооткрыватель во вступительном очерке «Вольность поэта».

Стихи Станислава Куняева в сборнике «Путь» (М.: Молодая гвардия, 1982) надписаны: «Наилу дружески за автора книги автор предисловия. Кожин. 7 сент. 82». Куняев — один из близких друзей Вадима Валериановича. В предисловии к книге он высказывает важнейшую мысль, подытоживая и свою работу по розыску и выведению к широкому читателю в 60-е годы лучших из лучших. «В те годы Станислав Куняев обрёл бесценных сподвижников ... как Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Владимир Соколов. Вместе они создали основу целого направления или, вернее, *периода* в развитии отечественной поэзии, получившего позднее прозвание «тихая лирика». С середины шестидесятых годов это направление, во многом родственное так называемой *деревенской прозе* (Василий Белов, Виктор Лихонос, Валентин Распутин, Василий Шукшин и др.), стало основным средоточием движения русской поэзии».

Сборник «Стихотворения» Алексея Прасолова (М.: Сов. Россия, 1983) подписан предельно просто: «Из книг Наиля Валеева. С подлинным верно. Вадим Кожин. 5 дек. 83».. Составили сборник В. Кожин и И. Ростовцева. В кожиновском предисловии расставлены основные вехи жизненной и творческой судьбы замечательного поэта. Поэт покинул земные пределы на 42-м году жизни, насильно оборвав её нить. «В лирике Прасолова ... всегда осязаются «основы существования» и истинная «цена» мира... Самобытная природа поэзии Прасолова ... ярко выражается в мощи образно-интонационной волны его стиха...»

Когда я позвонил Вадиму Валериановичу из телефона-автомата в «Московском доме книги», что по соседству с его домом, он пригласил меня, как всегда, к себе. Какова же была моя радость, когда гостеприимный хозяин познакомил меня со своим собеседником. Им оказался Юрий Поликарпович Кузнецов (1941–2003), известный поэт, чьё творчество вызывало тогда ожесточённые дискуссии и было у всех на слуху. У меня уже был его сборник «Отпущу свою душу на волю» (М.: Сов. писатель, 1981), и в общем разговоре я успел упомянуть его поэму «Змеи на маяке» и стихотворение «Атомная сказка», которые в бытность учителем русского языка и литературы в школе, разбирали со старшеклассниками на уроках. Кожинову я задал вопрос, каким образом в голове (или сердце, или где ещё) поэта возникают такие видения, как Иванушка-дурачок, вскрывающий белое царское тело лягушки и пускающий электрический ток? Да при этом, чтоб «улыбка познания играла на счастливом лице дурака». Хозяин дома с интересом послушал мои рассуждения, хохотнул с пониманием и сказал, что у меня есть редкая возможность спросить об этом самого автора стихотворения. Чувствовалось, ему важно было знать, как воспринимают «его» поэта другие люди, тем более, в провинции. Но Юрий Поликарпович был явно не из тех, кто так быстро вступает в диалог. Он довольно пасмурно сказал, что это — длинный разговор, а он уже и так засиделся в гостях, и начал собираться домой. Вадим Валерианович, объяснив, что у меня в Елабуге солидная библиотека, попросил его подарить мне сборник «Русский узел» (М.: Современник, 1983), который лежал тут же, на столе. И этот автограф теперь также в моей коллекции: «Наилю Валееву на добрую память. Юрий Кузнецов. 5.12. 83 г.» Книга замечательно проиллюстрирована художником Ю. И. Селиверстовым, о дружеском общении с которым скажу чуть позже.

Подборку стихотворений Виктора Лапшина в журнале «Литературная учёба» (1983, № 5), сопровождает их разбор, сделанный Вадимом Кожиновым и только что упоминавшимся Юрием Кузнецовым. А мой визави настоятельно рекомендует: «Читайте прекрасного поэта, Наилю! Вадим Кожинов. 18.4. 84». И оба они — критик и поэт — высоко, доброжелательно, но принципиально, оценивают первые стихотворные опыты молодого поэта.

«Люблю невзначай и навек» — так называется сборник стихов и поэм куйбышевского (самарского) поэта Бориса Сиротина, составленный, разумеется, Вадимом Валериановичем и с его же предисловием. «Наилю Валееву от составителя сей книги, сердечно Вадим Кожинов. 6 окт. 84». Сколько же надо было иметь в душе любви к творческим людям и терпения, чтобы по всей стране неустанно выискивать молодые таланты, поднимать их, вникать в их произведения, выводить на всесоюзную арену! Как его хватало на всё — уму непостижимо! С воодушевлением пишет Кожинов, что «... нельзя не видеть живой ценности поэзии Бориса Сиротина. Это поэзия исканий, замечательных по своей душевной честности и ответственности, притом глубоко и остро *современных* исканий».

В те майские дни я достаточно долго был в Москве и почти каждодневно общался со своим мудрым куратором. В моём архиве — приглашение на крупную научную конференцию «Историческая поэтика и принципы её изучения» в Институте мировой литературы АН СССР на имя В. В. Кожинова с 19 по 21 мая 1982 г. Вспоминается, с каким неподдельным интересом слушал я доклад «Новые аспекты изучения категории жанра» тогда ещё доктора филологических наук С. С. Аверинцева, про которого ходили легенды, как о крупнейшем религиозном мыслителе нашего времени и полиглоте. До него выступали академики М. Б. Храпченко, Г. В. Степанов, А. М. Панченко и другие именитые учёные, но это выступление — содержательно — было наиболее ярким.

На 20-е же мая Вадим Валерианович вручил мне свой пригласительный билет на концерт «Русская народная песня и романс», организованный с его непосредственным участием, дабы поддержать талантливого исполнителя Николая Тюрина. При этом он нарисовал мне схему, как добраться до Офицерского клуба Военной академии им. М. В. Фрунзе. Разумеется, я не преминул воспользоваться приглашением и своевременно прибыл в Офицерский клуб. Тюрин исполнил около десятка песен на стихи Николая Рубцова, столько же русских народных песен, а затем несколько романсов на бис. До сих пор помню, какой восторг вызвало у меня это, подаренное Вадимом Валериановичем, общение с прекрасным. Замечательна была обстановка добра и радости в переполненном зале, а потом — краткая встреча и общий диалог с певцом после концерта. Всё это незабываемо! До сих пор жалею, что в ту пору у меня не было фотоаппарата: сколько интереснейших встреч, знакомств остались не зафиксированными на плёнку!

2 июня 1982 года я получаю сугубо деловое письмо, в котором речь идёт о книгах, именно поэтому оно представляется мне чрезвычайно важным. Каков был круг чтения Вадима Кожинова? Какие работы, каких авторов он разыскивал? Когда-то эти письма мною воспринимались как не очень содержательные. Но с течением времени становится очевидным, что они представляют особый интерес для характеристики творческой лаборатории выдающегося учёного, особенно для его будущих биографов. «Дорогой Наиль! Примите благодарные слова за статьи — они очень нужны мне. Вы спрашиваете о Тихомирове. Разве я не говорил, что *все* книги этого историка важны для меня? Если возможно, присылайте безотлагательно и Российское государство XV–XV11 веков (М., 1973), и Русская культура X–XV111 вв. (М., 1966).

И, конечно, 1–3 тома Соловьева (начиная, допустим, со 2-го).

Если говорить о статьях — вдруг попадётся:

1. Статья: Полевой Н. Я. О русско-хазарских отношениях в 40-х гг. XI в. — в: «Записки Одесского археологического общества», т.1 (34), Одесса, 1960.
2. Статья: Прохоров Г. М. Прения Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» — в «Труды отдела древнерусской литературы», т. XXV11, Л., 1972.
3. Статья: Насонов А. Н. Тмуторокань в истории Восточной Европы X в. — в «Исторические записки», вып. 6, М., 1940.
4. Статья: Седельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции. — в «Труды Комиссии по древнерусской литературе», т.1, Л., 1932, стр. 33–57.
5. Моисеева Г. Н. Об идеологии «нестяжателей» в «История СССР», 1961, № 2.

Вдруг есть такие уже давние книги:

1. Коковцев П. Еврейско-хазарская переписка в X в. — Л., 1932.
 2. Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., т.1, 1962; т.2, 1967.
 3. Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
 4. Пархоменко В. А. У истоков русской государственности. Л., 1924.
- Всего Вам доброго. Вадим Кожинов».

В этот же конверт вложена небольшая записка, где названы ещё две статьи.

1) Зевакин Е. С. и Панчко Н. А. Очерки по истории генуэзских колоний на Западно-Кавказе в XIII и XV вв. — «Исторические записки», т.3, М., 1938. 2) Зевакин Е. С. и Панчко Н. А. Из истории социальных отношений в генуэзских колониях Северного Причерноморья в XV в. — «Исторические записки», т.7, М., 1940.

11 июня, отвечая на это письмо, я сообщаю, какие ещё книги приобрёл для него и спрашиваю, где он будет в конце месяца — в Москве или на даче. Затем передаю Вадиму Валериановичу приглашение тогдашнего ректора Елабужского госпединститута

Т. Н. Галиуллина, доктора филологии (с которым мы ранее встречались с В.В. Кожинным в ИМЛИ), приехать с семьёй на отдых к нам в Елабугу.

5 июля 1982 года Вадим Валерианович пишет:

«Дорогой Наиль! Дары — ценнейшие дары! — получены прямо к моему дню рождения (ибо я родился 5 июля 1930 г.). Так уж Бог судил, что это не просто посылка, но добрый дар. Сердечная благодарность, Наиль, тебе. Не хочу говорить, что я «должник», вы превосходный человек, и я бы равным образом стремился помочь вам во всём, в чем могу, без всяких даров.

Из того, что перечисляется, меня интересует книга Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» и статьи из «Византийского временника, выпуск 1 (26) — а) Скржинская Е. Ч. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. б) Шангин М. А. Письма Арефы... и в) Горянов Б. Т. Первая гомилия Григория Паламы, а также первая статья: Ф. И. Успенского. Движение народов из Центральной Азии в Европу. От души благодарю ещё раз и желаю всего самого доброго. В. Кожин». Удивительной добротой веет от каждого слова письма, а речь-то ведь идёт всего лишь о книгах, которыми мы по возможности одаривали друг друга. Я же особенно радовался тому, что помогаю великому современнику, с которым мне выпало счастье общаться, подобрать необходимую для научной работы литературу. Доходило до того, что, не имея времени на письмо, Вадим Валерианович заказывал даже срочные междугородные телефонные разговоры со мной. Сохранилась телеграмма такого приглашения на разговор от 23 июня 1982 года, на обороте которой я кратко записал суть беседы. Вадим Валерианович сказал, что у него в гостях специалисты по русской литературе из Японии и Норвегии, и они обсуждают вопросы научного сотрудничества, а также издания его книг в этих странах. (Позже он показывал мне книги, изданные на японском языке, небольшого формата, в футлярах, два или три пёстрых красочных томика и со смехом говорил, что кроме *Vadim Koshinov* в конце книги на английском языке, ничего не понимает.) На моё, ранее отправленное приглашение на конференцию в Набережные Челны, он ответил отказом за неимением времени на поездки куда-либо, — полный цейтнот, не выполняются условия договоров с издательствами, которые ждут его работы.

В 1981 году я защитил кандидатскую диссертацию по проблемам русско-татарских литературных связей. С Вадимом Валериановичем и моим учителем Евгением Петровичем мы постоянно обсуждали, в каком направлении вести мне далее научную работу. Я с интересом изучал работы В. В. Розанова, К. Н. Леонтьева, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, отца и братьев Аксаковых и других славянофилов и пытался, ничего не говоря напрямую, убедить своего мудрого собеседника, что в этом вижу своё призвание. Хочу, чтобы он благословил на подобную тему.

Думаю, уместным будет ещё одно отступление в сторону. 21 декабря 1995 года во время очередной встречи с Кожинным он пригласил меня на защиту докторской диссертации в ИМЛИ, сказавши, что это будет полезно в свете предстоящей моей защиты. Мы отправились в институт, и мне — в который раз — довелось познакомиться с единомышленниками Вадима Валериановича. Защищал диссертацию на тему «Славянофильство и творческие искания русских писателей XIX века» ученик Кожинова из Кубанского госуниверситета Владислав Павлович Попов (1942–2006), с которыми мы быстро сошлись, имея общего учителя и будучи близки по мировоззрению. Хороши были и оппоненты — известные учёные В. А. Кошелев, Ю. И. Сохряков и Б. Н. Тарасов. Автореферат, кроме автора, подписали и все оппоненты. Вот на этой защите я как раз и вспомнил о своих претензиях на аналогичную тему. Особенно, когда Владислав рассказал мне, какие препятствия ему пришлось преодолевать с защитой кандидат-

ской диссертации. Он вынужден был в середине 70-х годов заново писать работу после выхода в свет статьи А. Н. Яковлева, тогда зав. отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС, а в будущем «архитектора перестройки», — «Против антиисторизма». В русофобской статье этой был учинён погром русского национального сознания, неославянофильства и, разумеется, Кожина. В результате В. Попов защитил кандидатскую лишь через 5 лет, в 1979 г.).

В частности, обо всём этом говорю Кожину в своём письме от 26 сентября 1982 года. Ответ оказался несколько неожиданным для меня. В письме от 8 октября 1982 года он разворачивает передо мной целую панораму возможного и необходимо-го в национальной республике направления исследования, даже не упоминая о моих пожеланиях:

«Дорогой Наиль!..

Книги, о которых Вы пишете, немного другие, чем те, кои мне нужны (как, напр., Сафаргалиев). Вот, м.б., есть где-нибудь: М. Н. Тихомиров. Древняя Русь, 1975 (недавно ведь вышла). Кстати, «Тайное межд (ународное) правительство» — книга весьма примитивная, не рвитесь к ней.

Главное — вопрос о работе. Многие факты свидетельствуют, что я умею советовать (т.е. умею перейти на позицию того, кому нужно посоветовать). Советую Вам заняться проблемой глубинного соотношения татарской литературы конца XIX — начала XX века с исканиями русской литературы — в плане философском, нравственном, эстетическом. Это соотношение берётся обычно в плане узко социальном. Между тем даже у такого всем известного художника, как Габдулла Тукай, есть искания в духе вечных, высших проблем, перекликающиеся с русской литературой конца XIX — начала XX в. (и, конечно, русской мыслью — даже богословской). Ещё более это относится к незаслуженно забываемому Дэрдменду (Закир Рамиев, 1859–1921, известный татарский поэт, общественный деятель, золотопромышленник. — Н.В.).

Я понимаю, что выявить эти глубокие духовные искания не так легко. Но именно сейчас это поистине необходимо. Уверен, что многие современные деятели татарской литературы поддержат Вас, если Вы этим займётесь, т.е. покажете, что у татарских писателей (начиная хотя бы с Дэрдменда) есть искания, сближающие их с главным в творчестве Достоевского, Вл. Соловьева, Блока и т. д. Здесь встаёт, в частности, проблема высокого духа мусульманства и его перекличка с христианством и т.д. — в плане векового нравственно-философского идеала. Работа должна строиться как бы на грани русской и татарской литератур. И прежде всего Вам надо глубже взглянуть в искания татарских писателей конца XIX — начала XX века, увидеть их не только в «текущих» заботах (об этом только и пишут), но в освоении цельного бытия народа и человечества.

Вот что я Вам советую. Всего Вам доброго...

В. Кожин».

Сомневаюсь, чтобы кто-то другой захотел, да и смог, так глубоко вникнуть и передать смысл межнационального общения и при этом, блестяще зная и любя своё духовное достояние, делать всё для сближения татарской и русской культур. До настоящего времени столь ёмко и глубоко научно обрисованная Кожинным историко-философско-литературная перспектива изучения темы остаётся чрезвычайно актуальной и, к сожалению, не разработанной; она ждёт своего ораца, который, хочется верить, поднимет эту цепину.

Помнится, при встрече в ИМЛИ в начале 1980-х годов, он прочитал наизусть одно из глубоких религиозно-философских стихотворений Дэрдменда «Мы», чем сильно поразил меня. Не все татары, даже близкие к словесности, могут что-то вра-

зумительное сказать о творчестве замечательного классика татарской литературы, а, тем более, прочитав без подготовки, наизусть его стихотворение, подумалось мне. А Вадим Валерианович легко оперирует материалом, даёт вполне обдуманнные характеристики. Мало того, он посоветовал мне внимательно посмотреть подлинник на татарском языке. «Уверен, — сказал он, — что при этом вы обнаружите ещё более значимый смысл стихотворения. В переводе я чувствую некоторую недосказанность, непроясненность смысла. Только в случае, если переводчик — большой поэт, он может по подстрочнику передать сущность переводимого стихотворения или даже улучшить его». И, разумеется, по возвращении домой я, устыжённый *кожиновскими познаниями в татарской литературе*, начал лихорадочно искать сборники поэта, найдя — читать и вникать. Сразу захотелось подправить в переводе С. Липкина некоторые места, особенно вторую строчку третьей строфы: «Взревело время, чтобы он пустился в пляс». У Дэрдменда речь идёт о том, что беспощадная эпоха, время заставили человека немало поплясать, в смысле пострадать, пережить в этой жизни. В переводе же смысл радикально изменился, утратил глубину и ёмкость. Е. П. Барышников, после моего краткого пересказа этого письма делится своими соображениями: «Кожинов написал тебе с обычной напористостью, силой мысли и эрудиции. Я Дэрдменда не знаю. Разумеется, выявлять духовные искания — надо. Кто же за вас это будет делать? Пора бросить изучение писателей в плане узко социальном или формальном, чем все занимаются, и смело перейти к настоящему литературоведению с опорой на Бахтина, Аверинцева, Гальцеву, Ю. Давыдова, Г. Гачева и др.»

В другом письме (от 1 ноября 1982 года), которое также уместно привести целиком, Кожинов подчёркивает важность разработки данной темы: «Дорогой Наиль! Очень рад, что Вам пришлось по душе моё предложение о направлении работы. Это ведь действительно необходимое и, не сомневаюсь, плодотворное направление. Глубокая его разработка способна обогатить понимание в равной мере и татарской, и русской культуры. Лекции М. М. Бахтина по русской литературе у меня есть, и я могу Вам их дать, но едва ли они в целом стоят большого внимания. Ведь это, по сути дела, лекции для подростков (кстати, девочек), записанные к тому же одной из слушательниц. Посмотрите «Прометей» выпуск 12, где я опубликовал лекцию о Толстом, и сами убедитесь, что это не так уж интересно. Но если всё же Вам захочется прочитать эту запись, я Вам дам её.

Думаю, что выбор книги Аннинского для рецензирования вполне удачен. Но, надеюсь, Вы отнесётесь к его книге объективно — укажете не только положительные, а и отрицательные стороны (известную поверхностность, внешнюю эффективность, элементы «интеллектуальной игры» и т.п.).

Спасибо за книгу — действительно интереснейшую. Не найдётся ли такая книга (о ней у нас пока речи не было — мы говорили о других книгах тех же авторов): Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–XVI вв., М. — Л., 1956. Всего Вам самого доброго, пишите, приезжайте... В. Кожинов».

Это небольшое письмо показательно по ряду моментов и может рассказать о многом. Прежде всего о глубоко уважительном и доверительном отношении Кожинова к младшему коллеге. *Из названия заказанной адресату книги в очередной раз уточняется круг чтения самого Кожинова, активно изучавшего историю Руси.* Любопытна и оценка, данная в письме одному из ныне здравствующих известных литературных критиков.

В телефонном разговоре 3 ноября Вадим Валерианович усилил высказанные мне в письмах пожелания заниматься проблемами татарской литературы: «когда начнёшь, будут яснее видны перспективы. Важно начать, а там пойдёт». Сообщил о выходе своей



книги «Статьи о современной литературе» (М.: Современник, 1982), которую и подарил мне при очередной встрече в его доме в Москве. С юмором сделана надпись на этом сборнике: «Наилу ибн-Мансуру сердечно, с самыми прекрасными пожеланиями на всю жизнь! Вадим ибн-Валериан. 25.04.83». На мой вопрос о содержании книги, он ответил, что собрал воедино статьи, опубликованные в 1964–1981 годах в периодических изданиях, где речь шла чаще всего о первых произведениях ныне широко известных поэтов и прозаиков. «Не буду скрывать, что мне особенно дороги написанные в середине 60-х годов статьи, воздающие должное таким художникам, как В. Белов, Н. Рубцов, В. Соколов, В. Шукшин, чьё творчество обрело позднее самое высокое и самое широкое признание», — пишет он в предисловии «От автора».

А в разговоре по телефону посетовал, что не смог приобрести им же самим составленную антологию «Поэты тютчевской плеяды»: «... у всех есть, а у меня нет», и попросил купить возможно большее количество экземпляров. Я сумел с трудом раздобыть 3–4 экземпляра — хорошие книги в советскую эпоху в самой читающей в мире стране, как известно, были в большом дефиците.

Кстати, книга эта также заслуживает пристального внимания, как и всё, сработанное Кожинным, — высоко профессионально и добротнo, с тонким вкусом, редкостной интуицией к подлинным явлениям литературы. Данная антология — «опыт группового портрета» целого литературного течения, выработавшего свой поэтический стиль в эпоху, когда на авансцене литературы превалировала проза. Кожиннoтмечает, что «в тютчевской поэзии суть дела вовсе не в философии, не в системе мыслей, но в самом *образе мыслителя*. Этот человеческий образ обладает настолько всепроникающей и мощной энергией, что идеи, выраженные в том или ином стихотворении, предстают не как самостоятельное, самодовлеющее содержание, но только как отдельные проявления, как своего рода духовные «жесты» этого образа...» Чуть позже Кожиннoтделает важнейший вывод о том, что перечисленные черты позволяют говорить «... о *тютчевской плеяде*: среди близких ему в тех или иных отношениях по-

этов Тютчев выступает как высший и полнейший представитель целого поэтического направления либо (можно сказать и так) периода, эпохи в развитии русской поэзии». Утверждая далее, что «плеяда обнаруживает перед нами ту поэтическую почву, на которой взросло к вершинам мирового искусства слова творчество Тютчева», — Кожин приходит к выводу, что «поэзия Тютчева была не неким отдельным, сугубо индивидуальным явлением, но воплощала духовные и творческие устремления целого поколения русских людей, целой эпохи национального бытия, — как и поэзия Пушкина». Удивительно, как эти его размышления проходили через сито цензуры?! Подборка стихотворений П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинки, А. С. Хомякова, С. П. Шевырева, Л. А. Якубовича и В. Г. Венедиктова, включённых в сборник, вызывает не меньшее удивление и восхищение: это русская религиозная поэзия в лучших образцах представителей тютчевской плеяды, созданная во второй половине 1830 — первой половине 1850-х годов. Уже одно это издание является живым свидетельством того, как мощно Кожин воздействовал на умы современников, на формирование их духовного мира. Не случайно даже люди, лично не знакомые с ним, возросшие духовно на его работах, называют его в числе своих первоучителей.

Книга очень оригинально оформлена талантливым художником-графиком и глубоким оригинальным мыслителем Юрием Ивановичем Селиверстовым (1940–1990), другом Вадима Валериановича, творчество которого замалчивалось, поскольку никак не вписывалось в рамки соцреализма. Его знаменитая графическая серия «Русские мыслители» теперь общеизвестна. Он продолжил автограф своего собрата: «Все (на обороте титульного листа перечисляются 2 составителя, рецензент, художник, а Юрий Иванович поставил между ними плюсики. — Н.В.) очень рады выходу сей дивной книги высокой русской духовности в радость всем и Наилю, и его близким и родным в поклоне и предрадостном ожидании праздника. Ю.С. 83, апрель». *Разумеется, Кожин, как обычно в таких случаях, делал всё для пропаганды и даже материальной и моральной поддержки гонимого властями художника. В частности, Селиверстов оформлял книги поэтов и прозаиков кожиновского круга и даже конверты для грампластинок. Нас он, конечно же, познакомил, и потом мы с художником с удовольствием регулярно общались. Но об этом в своём месте.*

29 ноября 1982 года по телефону Вадим Валерианович рассказывает мне, на что обратить внимание в периодике, какие достойные внимания книги вышли, рецензии на какие книги мне написать и т. д. Из новинок советует прочитать эпохальную статью М. Лобанова о романе М. Алексеева «Драчуны» в 10-м номере журнала «Волга» и свою статью «Внимание: литература США сегодня: Достижения и просчёты советской американистики» (Москва, 1982, № 11).

В небольшом послании от 2 декабря 1982 года Вадим Валерианович пишет: «Весь ушёл в работу над «Тютчевым», но, если приедете в Москву, постараюсь выкроить время для беседы. Всего самого доброго, В.К.». Каждое его даже небольшое послание для меня было событием, его я пересказывал своему учителю, а также узкому кругу своих друзей...

В очередном письме Е. П. Барышникову я попытался по-своему охарактеризовать Кожина, отметил, что, с моей точки зрения, Вадиму Валериановичу в жизни, да и в творчестве не хватает веры в высший промысел. Последовал примечательный ответ. «Твоя характеристика В. Кожина мне кажется очень точной. Его оригинальный духовный мир не мешает узнать и пережить каждому. Когда-то я был в ошеломлении. А что не верит — и не поверит, то вот почему. Он был бы гениальным человеком по истине, если бы обладал помимо цельности переживаний, только умением временами

забывать своё, начинать сомневаться в нём и взамен яснее понимать чужое. Но этой непредвзятости нет, — только интенсивность и кипение *своего*, а, как известно, не от-вергшись своего, будешь иметь только себя... Конечно, эта «самость» у Кожина в тысячу раз сильнее обычной, вот бы ей ещё и отречься себе, совлечься себе. Таким путём и слабаки спасаются, не только силачи».

Перебирая материалы домашнего архива, вижу, сколь интенсивно было наше общение с Вадимом Валериановичем, сохранилось немало его приглашений на научные конференции, особенно в ИМЛИ, а также приглашительные билеты в ЦДЛ, например, на вечер издательства «Молодая гвардия», на юбилей журнала «Наш современник». Самое удивительное, что и там в перерывах Вадим Валерианович успевал щедро знакомить меня со своими друзьями и коллегами, с лёгкостью говоря: «Мой друг — Наиль Валеев из Елабуги». А если учесть, что знакомил он меня с выдающимися людьми, то можно представить, как это меня напрягало: с Василием Ивановичем Беловым, Валентином Григорьевичем Распутиным, Юрием Поликарповичем Кузнецовым, Юрием Ивановичем Селезнёвым. Все они доброжелательно реагировали на происходящее, зная широту Вадима Валериановича и его привычку курировать подающих надежды молодых людей из провинции, и вполне с симпатией разговаривали со мной.

С Ю. И. Селиверстовым — известным художником-графиком и одновременно мыслителем-патриотом, имя которого упоминалось выше, мы подружились, и позже многократно общались в его мастерской, находящейся возле Большого концертного зала имени П. И. Чайковского. Его замечательные работы не приветствовались официальной властью, и поэтому Вадим Валерианович всячески поддерживал талантливого художника и пропагандировал его повсюду — и на TV, и в печатных СМИ, и, конечно же, среди друзей. Коллеги-художники, ревностно реагировавшие на само-бытный дар, нередко также подвергали селиверстовское творчество жёсткой критике. Во время моего пребывания в мастерской у Юрия Ивановича к нему нередко приходили его друзья, которые становились моими знакомыми — мне на радость. А это ни много ни мало — гордость великой страны: народная артистка СССР, профессор Московской консерватории, лауреат Ленинской премии, царски величественная Елена Васильевна Образцова, книга с её автографом от 21 апреля 1985 г. — в моей домашней библиотеке. Другой собеседник — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Лауреат Государственной премии СССР Виталий Иванович Севастьянов, который подарил мне открытку со своим портретом, разумеется, с автографом. Собеседник он был удивительный! Они, конечно же, с уходом от Юрия Ивановича, без сомнения, забывали о моём существовании, но для меня подобные знакомства, шедшие через Вадима Валериановича и его друзей, оставили яркое впечатление на всю жизнь.

Круг моего чтения тех лет, как я уже говорил, также серьёзно корректировался в результате встреч и бесед с сердечно близким мне Вадимом Валериановичем. Мой липецкий собеседник и учитель замечает в одном из январских писем 1983 года: «Да, Наиль! Вышел ты на новый уровень, но сделал это ещё раньше, когда создал вокруг себя необычайно насыщенную научную и духовную атмосферу». В феврале он радуется за своего друга, которому я по мере сил помогал в поисках научной литературы: «Павел (имеется в виду Горелов. — Н.В.) рассказывал, что ты совершил чудеса по снабжению Кожина источниками и пособиями». И здесь нет ни капли зависти и сожаления — почему не мне?

Поскольку я со студенческой скамьи (под чутким руководством Е. П. Барышниковой) стал страстным библиофилом, мне было чем поделиться даже с Вадимом Валериановичем.

У него, как известно, была огромная библиотека, более 12 тысяч книг, но тем не менее многого не хватало. Где бы я ни был, я всегда покупал книги и, как говорил Вадим

Валерианович, был на редкость удачлив в поисках. В разговорах по телефону, в письмах он постоянно благодарил меня за присланные книги и информировал о своих дальнейших поисках. И, разумеется, сам щедро отдаривался. Исходя из имеющегося у меня в наличии материала, хотелось бы показать фантастически широкий круг чтения и научных изысканий Вадима Валериановича, дать хотя бы предварительную интерпретацию некоторых мыслей и высказываний его, чтобы помочь увидеть грандиозный масштаб личности нашего великого современника, чьё имя, не сомневаюсь в этом, навсегда записано на скрижалях истории.

В телефонных разговорах 7 июня и 10 октября 1983 года мы уже детально обсуждаем приезд Вадима Валериановича в Елабугу (который на самом деле состоялся лишь через 13 лет). При этом он сказал, что его книгу о Тютчеве, подготовленную для издательства «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей», вернули на доработку. Жизнерадостная надпись сделана на книге «Как пишут стихи» (М., 1970): «Милый Наиль! Вообще не обязательно писать стихи, но полезно знать, как их пишут... Сердечно Вадим Кожинов». Дата не проставлена, скорее всего, это было в начале 80-х годов.

18 апреля 1984 года во время очередной встречи в его доме радушный хозяин дарит мне сборник «Воспоминания о Рубцове», о котором шла речь выше и где была помещена кожиновская статья «В кругу московских поэтов» с автографом «Дорогой Наиль! От души желаю Вам всего самого лучшего! Вадим Кожинов. 18.4.84». В середине 60-х Рубцов и его друзья Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов, Борис Примеров и другие легко могли войти в литературную жизнь страны, уверен Кожинов, если бы они, как Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, стали «эстрадниками», поэтами, далёкими от подлинной поэзии. Но славе и материальному благополучию они предпочли свой истинный путь в поэзии и за несколько лет утвердились в современной литературе как продолжатели традиций русской классической литературы.

Я уже упоминал, что Вадим Валерианович старался не поступаться своими принципами. Был бескомпромиссным, никоим образом не давал наступать на «горло собственной песни». Несмотря на требования редакторов, не включал в свои работы цитаты из классиков марксизма-ленинизма, Брежнева и т. п. В результате книги, статьи надолго застревают в издательствах, редакциях газет и журналов, вообще не выходили... Не знаю, сколь счастливо сложилась нынешняя судьба Юлии Хайрутдиновой, которая в 84-м году удостоилась похвалы Вадима Кожинова, — любил он поднимать молодых! «Девушка из-под Ленинграда, студентка-биолог, 1963 г.р., прислала гениальное, потрясающе глубокое письмо на 20 страницах, где проанализировала сборник «Страницы избранной лирики». Прислала и свои отличные стихи, которые помещу в альманах «Молодые поэты Ленинграда». Она в дети гонится тому поколению, а чутьё замечательное». Кроме того он сказал, что в данное время с интересом работает над фольклором, над «Ильёй Муромцем». Восхитился киевским изданием «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, расценил это как чудо, так как «Слово...» не издавали 140 лет. «Заметки о русском» Д. Лихачёва и некоторые другие его труды охарактеризовал как примитивные, показывающие ограниченность видения и понимания истории их автором: «Русское — необъятно, а он...»

В связи с неоднократно предполагавшимся приездом Кожинова в Елабугу (а мною была составлена обстоятельная программа пребывания В. В. Кожинова и Е. В. Ермиловой и отправлена Евгению Петровичу в Липецк для ознакомления. — Н. В.) мой шеф (так я его называл друзьям) пишет: «Наиль, когда В. В. будет выступать, ты хорошенько запоминай, а потом мне опиши смысл и пафос его речей. Интересно знать, какие акценты нынче он расставляет в разговоре о современной советской литературе». На мой

удивлённый вопрос, почему его, специалиста-толстооведа, интересует современная литература, Евгений Петрович в очередном послании содержательно ответил: «Выступлением Кожина интересуюсь потому, что сейчас всё труднее выступать по современной литературе, сочетая наступательный дух с дельностью и непустословной завлекательностью. Нужны интересные идеи, сюжеты для выступлений перед массами... В.В. умеет выступить так, что в его речи с удивлением ловишь ту эффектную внушительность, которой можно достичь лишь прикосновением к некоторым архетипам. Пока он говорит о «научном», в его речи так и слышишь голос бессознательного, которое грезит, впечатляет. Вспоминает о легендарном, забытом. Свою речь он умеет затоплять этим мифотворческим материалом, иногда очень полезным и всегда интересным». Такую яркую и образную картину устного выступления Кожина не каждый даст. Видно, сколь художественно-поэтично и ёмко мировосприятие одного из близких кожиновских друзей, с любовью и восхищением пишущего о нём в рядовом письме ученику не для печати. Сейчас, я думаю, у Кожина много псевдодрузей, пытающихся греться в лучах его всё разрастающейся славы. А о таких скромниках, как Е. П. Барышников, кроме одноклассников никто и знать не знает. 11 ноября 1985 года он мимоходом замечает: «Был у В(адима) Валерьяныча на новой квартире. Увлёклись беседой об исихазме. Оказывается, он своим путём идёт к тем же интересам. В своих проповедях Вадим по-прежнему неподражаем. А внешне сдал». О чём это — об исихазме? Важно ли это для всех нас — как через «очищение сердца» слезами и самососредоточение сознания прийти к единению с Богом? Очень важно. Разрабатывая и внедряя в окружающую жизнь идеи нравственного самоусовершенствования, нестяжательства, — не тот же ли подвиг он нёс современникам, что и его собеседник из века XV — Нил Сорский?! Вот к каким выводам может привести краткий диалог-реплика друзей-единомышленников, религиозных философов конца XX столетия, одного из которых мы, к сожалению, почти не знаем. В одном из последних писем (18.10.90), менее чем за год до безвременной кончины, Евгений Петрович одной небольшой фразой даёт всем нам, нашей эпохе ёмкую характеристику: «Ныне стало гораздо спокойней. К тому же гласность, *теперь можно не кривить душой, немножко её распрямить бедную, скрученную винтом эпохой двоемыслия*». Именно так и ощущали мы себя (да нередко и сейчас ощущаем, боясь, как бы не поняли нас превратно, не осудили).

Сборник статей «Гоголь: история и современность» украшает такой автограф: «Дорогому другу Наилу Валееву от души. Составитель сей книги Вадим Кожин. 2 апр. 85». Я хорошо помню рассказы Вадима Валериановича, как нелегко было сохранить статьи некоторых авторов данной книги. Определённый интерес представляют и другие автографы этого издания. Со многими авторами сборника я к тому времени, как через Вадима Валериановича, так и через некоторых других учёных, был уже знаком. С некоторыми дружил и дружу по сей день: радуюсь общению и постоянному диалогу с Петром Васильевичем Палиевским, оригинальным мыслителем, известным теоретиком и историком литературы, а главное, другом Вадима Валериановича. Активный многолетний дружеский диалог продолжается у нас с Николаем Николаевичем Скатовым, очень созидательно долгие годы руководившим крупнейшим научно-исследовательским Институтом русской литературы (Пушкинским Домом). В своё время с ним меня познакомил, разумеется, Вадим Валерианович в своём гостеприимном доме. Николай Николаевич с сердечным трепетом и великим почтением относился к своему знаменитому другу и в каждый приезд из Ленинграда навещал его. Пользуясь знакомством, во время научных командировок в город на Неве я, конечно, тоже всегда навещал Скатова в ИРЛИ, поскольку неделями работал в Отделе рукописей Пушкинского Дома и в Российской национальной библиотеке, собирая материалы для книг

о Д.И. Стахееве, К.И. Невоструеве и др. Сохранились и материальные следы этих встреч — книги и общие наши фотографии с надписями Николая Николаевича...

Очень дружески общались мы и с рано ушедшим прозаиком, публицистом и историком, редкостным патриотом Петром Паламарчуком (1955–1998), чья публикация в сборнике «Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя» доставила более всех хлопот Кожину, — от неё бдительные цензоры оставили лишь фрагменты. Возможно, им стало известно, что Паламарчук под псевдонимом «Носов В.Д.», опубликовал в Лондоне художественное исследование «Ключ к Гоголю» (1985), раскрывающее религиозное мировоззрение Гоголя. Пётр чуть ранее дарит мне подготовленную им к печати книгу избранной прозы Г.Р. Державина (М.: Сов. Россия, 1984) не без юмора надписанную «Наилу — от Кифы, Симона, Петра, Камня и составителя — поклон. 6.1.85». В моей библиотеке и составленный Паламарчуком уникальный 4-томный справочник «Сорок сороков. Иллюстрированная история всех московских церквей» (1992–96), ранее изданный в Париже (1988–90), поныне — наиболее полный путеводитель по московским православным святыням.

9 декабря 1986 года Вадим Валерианович «привёл» меня на заседание Отдела теории литературы в ИМЛИ, которое вёл его заведующий Н.К. Гей. Поначалу заведующий попенял многим за опоздания, за невыполнение годовых планов научной работы. Все, кроме В.В. Кожина, должники, и из года в год не выдают положенного объёма научной продукции. Кожин — один за всех. Далее было обсуждение кандидатской диссертации о художественных переводах. Вадим Валерианович высказался о роли переводов и двух типах их: а) перевод — соперничество и б) перевод — исследование. В качестве 1-го примера он назвал Лермонтова и Гёте, 2-го — «Божественную комедию» Данте в переводах М. Лозинского. Ставку надо делать на перевод — исследование. Лозинский приближает Данте к нам, хотя он далеко не Данте. Переводчик должен быть выше переводимого. Например, Пушкин переводит Мицкевича, даёт подстрочный перевод его. Но Пушкин выше всех тех, кого он переводит. «Гамлет» в переводе Пастернака имеет мало отношения к Шекспиру.

В журнале «Наш современник» (1987, № 10) в рубрике «Культурное наследие и современность» опубликованы «Полемические заметки о культуре, жизни и «литдеятелях» с вопросительным названием: «Мы меняемся?» с пожеланием: «Наилу Валееву, чтобы менялся всегда в лучшую сторону, а не как герои этого очерка. Вадим Кожин».

18 декабря 1987 года состоялась наша очередная встреча в доме Кожина (у меня даже продолжительность встречи обозначена: с 11.30 до 12.30). Я передал ему книгу М.М. Бахтина о Рабле, которая нужна была издательству «Художественная литература» для расплетения с целью подготовки 2-го издания. Вадим Валерианович показал мне договор, подписанный, с одной стороны, директором Анисимовым, а с другой, — наследниками Бахтина: С.Г. Бочаровым и В.В. Кожинным. Объём 28 п.л., по 185 р. за печатный лист, как за второе издание. Обещал по выходе подарить мне эту новую книгу, но как-то не состыковалось. Скорее всего в суматохе явлений и будней забыли о ней.

Вадим Валерианович информировал меня, что в 1–2 номерах воронежского журнала «Подъём» за 1988 год выйдет большая часть книги о Тютчеве, сданная в полном объёме в издательство «Молодая гвардия».

Далее речь зашла о националистическом, или патриотическом обществе «Память». Кожин полагал, что её руководителя, Васильева, внедрили специально, чтобы опорочить движение. Там много порядочных, мыслящих людей. Недавно на научной конференции в Пушкинском Доме в Ленинграде Васильев с наклеенной бородой, усами и в тёмных очках с юнцами (на майках надпись «Память») выскочили

на сцену. Васильев, сорвав с себя маскарад, истошно вопил, что «Памяти» не дают ходу. Директор института Н. Н. Скатов, ведущий заседание, на это сказал, что больно уж всё это не по-русски выглядит, на что присутствующие зааплодировали. Но Скатова позже обвинили, что и он выступил заодно с «Памятью». Скатов вынужден был объясняться с самим Лихачёвым, председателем Фонда культуры СССР и одновременно авторитетным сотрудником ИРЛИ, доказывать, что он тут не при чём. Один из «Памяти» подходил к Вадиму Валериановичу и просил помочь им избавиться от Васильева, но Кожин посоветовал организовать общество под другим названием, например, «Народная память» и объявить, что оно не имеет ничего общего с проходимцем Васильевым: «Я писал в 10 номере «Нашего современника» о том, что на поверхность «Памяти» выхлестнуло массу пены, но в ней много достойных людей».

И в этот раз не обошлось без подарков: на сборнике стихотворений Ф. И. Тютчева (М.: Сов. Россия, 1986) помещён следующий автограф: «Наилу Валееву с душевной симпатией и лучшими пожеланиями от составителя сей книги. Кожин. 18 дек. 87 г.».

В конце беседы Вадим Валерианович пригласил меня на юбилейный вечер журнала «Наш современник» в Центральный дом литераторов, где и сам он будет выступать. Посоветовал сходить и взять в кассе билет на этот вечер. Как всегда нарисовал схему, как быстрее добраться мне туда. Если же билетов не будет, позвонить ему в 17.30 («я что-нибудь придумаю, проведу»). Смешно, но через полтора часа мы вновь случайно встретились с Кожинным в «Московском доме книги», позади которого он жил в своей роскошной квартире с высокими потолками, в доме известного до революции купца. Билетов, как я и сразу предполагал, но ничего не сказал Вадиму Валериановичу, не было, и мы договорились встретиться у ЦДЛ в 18.30. В условленное время он вынес мне билет. Начался вечер в 19, а закончился после 23 часов. Были интереснейшие выступления Василия Белова, Валентина Распутина, Сергея Викулова, Игоря Ляпина, Марка Любомудрова, Михаила Антонова и других. Были беседы и знакомства в перерывах, о которых я уже упоминал.

Как всегда остро и увлекательно выступил В. В. Кожин. Он поднял актуальнейшую тему, на которую уже позволялось говорить людям его уровня: о сталинских репрессиях, о смертной казни вообще, о правде и истине. Кто прав в споре, в каких случаях нужно убивать себе подобных, а в каких сохранить им жизнь? Оказывается, многие по-разному смотрят даже на эти проблемы. Отличие между *правдой* и *истиной* было отмечено удачно М. М. Пришвиным в его дневнике (см. т. 8 с/с). Вадим Валерианович привёл пример, когда правда одних становится бедой для других. Владимир Маяковский, например, был против расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Но кто-то считал это справедливым возмездием. В переписке А. Воронского с Евгением Замятиным, первый был за расстрел, второй — против смертной казни. «Хотя, когда дело дошло до расстрела самого Воронского, — сказал Кожин, — он, вероятно, иначе оценивал свою прежнюю точку зрения. Обе *правды субъективны*, а истина сложнее, и не человеку решать, «что есть истина». Или ещё пример, — сказал он: «У нас есть люди, которые сейчас проклинаят Сталина, а в своё время получили Сталинскую премию и благоденствовали. Когда же они проявили своё истинное лицо?»

28 декабря в письме из Елабуги я делюсь с Вадимом Валериановичем впечатлениями от столь продуктивной поездки в Москву: «Рассказываю тем из здешних, кто этого стоит, о двух вечерах, на которых мне удалось побывать благодаря Вам. Многие — просто забываемые, потому что серьёзно. Видны дорожки, по которым нужно идти, намечены и некоторые ориентиры. Низкий поклон Вам за неустанную Вашу работу!»

На книге «Тютчев», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» (М.: Молодая гвардия, 1988), надпись гласит: «Наилу Валееву — рыцарю татарско-русского

братства от всей души с наилучшими пожеланиями! Вадим Кожинов. 24.09.88». Вот ёмкое обозначение *предназначения*, достойного жизненного *пути* человека! За этими словами большая жизненная правда и стимул к каждодневной работе над собой. Прав был один из самых великих уроженцев Елабуги Капитон Иванович Невоструев (1816–1872), член-корреспондент Императорской Академии наук, историк, археограф, филолог, смыслом жизни сделавший служение людям: «Не к тому мы должны стремиться, чтобы трудами других пользоваться для своего удовольствия, но к тому, чтобы своею жизнью облегчать труды других». Умел Вадим Валерианович подстёгивать творческое вдохновение в человеке, направленное на созидательную деятельность во благо государства. А книга о Ф.И. Тютчеве стала потрясением для мыслящих читателей, поскольку в ней личность поэта предстала в невиданном дотоле масштабе. Дело русского гения Пушкина нашло себе достойного продолжателя в лице Тютчева, справедливо считал Кожинов. «Для Тютчева всё подлинное бытие России вообще совершалось как бы на глубине, недоступной поверхностному взгляду. Истинный смысл этого бытия и его высшие ценности не могли — уже хотя бы из-за своего беспредельного духовного размаха — обрести предметное, очевидное для всех воплощение...»

Книга «Загадочные страницы истории XX века. «Черносотенцы» и революция» (М., 1995) надписана так: «Дорогой Наиль! От всей души желаю тебе всех благ и успехов, будь только верен себе! Вадим Кожинов. 26.2.96 г.». Во вступительной части книги автор даёт важную информацию, что с конца 1970-х годов «история России как-то незаметно, без всякого «сознательного» решения с моей стороны стала главным или даже единственным предметом моего внимания...». В перспективе многие профессиональные историки, т.е. окончившие истфаки специалисты, начали попрекать Кожинова в некомпетентности, находя какие-либо погрешности в его трудах (разумеется, в частных вопросах, там, где они сами были узкими специалистами). Чаще всего эти оценки и отречения (отлучения) звучали после смерти Вадима Валериановича, как, например, совершенно странные высказывания Ильи Глазунова, давно уверовавшего в свою гениальность, не признаваемую лишь Вадимом Кожиновым, а знаменитому художнику так хотелось его признания. Высочайший уровень культуры Кожинова, его уникальную память вынуждены были признавать даже все его оппоненты: спорить с ним было не просто. Любые дискуссионные вопросы он обсуждал с обстоятельной аргументацией и фактами, узким «специалистам» не оставалось ничего другого, как просто обругать его и назвать не-специалистом. Но оставим это на их совести. Каждому рано или поздно придётся держать ответ за свои слова и деяния. А памятуя слова Шекспира: «Злодейство встанет на беду себе и если ты его землёй закроешь целой — оно страшнёт её и явится на свет», — с такими людьми лучше не иметь никаких дел...

На 5–7 июня 1990 года планировалась (и была проведена) инициированная мною одна из первых в СССР научных конференций, посвящённая благотворительной деятельности российского купечества, на примере елабужской династии купцов-меценатов, миллионеров Стахеевых. Во время встречи я попросил у Вадима Валериановича благословения на этот подвиг. И он, ничтоже сумняшеся, написал: «Всесоюзная научно-практическая конференция, подготовленная Елабужским пединститутом, — превосходное начинание, которое может дать бесценные плоды. Сегодня все проблемы в конечном счёте упираются в экономику. Только на основе здоровой экономики может развиваться здоровая политика, быт и культура. А оздоровить экономику возможно лишь на пути конструктивного возрождения векового опыта нашей страны. «Пересаживать» экономические «модели» из других стран (где, кстати сказать, «мо-

дели» разные, самобытные) — дело бесплодное. Словом, изучение и освоение опыта российского купечества (конференция правильно названа научно-практической) — цель насущно важная и, прямо скажу, необходимая нам! Вадим Кожин».

По традиции мне была подарена только что изданная книга — «Статьи о современной литературе» (М.: Сов. Россия, 1990): «Дорогому Наилу с пожеланием большой деятельности, от души. Вадим Кожин. 21 мая 90 г.» Важнейшие темы освещает в ней Вадим Валерианович, искренне волнуясь за судьбы страны, её культуры, литературы. Среди статей, продолжающих «обзор» литературной жизни страны по 1988 год по её наиболее ярким явлениям, следует отметить «О повести Петра Паламарчука «Един Державин», о Ю.И. Селезневе, романе Д. Балашова «Бремя власти». Потрясающее впечатление производит более чем 100-страничное исследование «Самая большая опасность». Эту опасность автор справедливо видит во многих литературных опытах современников. В полной бессовестности некоторых из пишущей братии, которые по погоде выступают и за красных, и за белых. Им, *ubi bene, ibi patria* (где хорошо, там и родина). В качестве примера Кожин говорит о «творчестве» Виталия Коротича, главного редактора журнала «Огонёк», который в 1982 году восхищался «подлинно народными» мемуарами Л.И. Брежнев, а уже через 5–6 лет оплёвывает тех, кто писал об этих самых мемуарах. Когда же ему напоминают, что это он сам писал о них совсем недавно, он отрещивается от своей статьи, заявив, что это кто-то от его имени опубликовал панегирик. Правда, при этом вновь хочет, чтобы читатели (а тем более Кожин, с его феноменальной памятью и великим даром аналитика) забыли ещё как минимум десяток его статей о тех же «брежневских» творениях. Действительно, ни родины, ни флага... Далее речь идёт о противоборстве журналов «Новый мир» и «Молодая гвардия», об агрессивной статье критика Александра Дементьева («Новый мир», 1969, № 4), о значении «Нашего современника» как ведущего журнала, где постепенно сосредоточились главные литературные силы страны. Захватывающее чтение о взглядах А. Твардовского и К. Симонова на текущий литературный процесс, на своих собратьев по перу, на коллективизацию. Далее внимательно, с привлечением большого количества источников, исследуется альтернатива Сталин — Бухарин, подвергаются справедливой критике варианты, каков был бы ход истории, если бы победила бухаринская точка зрения на развитие СССР. Доказывается, что Бухарин вполне разделял взгляды Сталина, он активно содействовал гибели С. Есенина, О. Мандельштама, П. Флоренского и многих других. В финале работы Кожин рассуждает о том, как разрушительные тенденции из литературы перекинулись на экономику, сельское хозяйство. Никакие западные модели не приемлемы для нашего государства, у него свой путь.

Удивительно масштабное видение возможных созидательных путей экономического развития страны, никак не предполагающее бессовестного разграбления народного достояния врагами, временно захватившими власть в начале лихих 90-х годов. Само собой разумеется, что никакой китайский, сингапурский — не-российский — опыт никоим образом не приживётся на нашей почве. И, конечно же, нам нужно вспомнить свои незаслуженно забытые или искусственно уничтоженные великие традиции и на их основе восстанавливать экономику, создавать достойный уровень жизни для населения. Вот о чём болела душа нашего замечательного современника, и его боль сейчас нам понятна и близка. Без возрождения своей подлинной истории, без определения своего национального пути, национальной идеи, любви к Родине, патриотизма страну не поднять из руин, уверен Вадим Кожин.

2 марта 1994 года, во время очередной нашей встречи, Вадим Валерианович так оценил мои скромные труды. «Книга «Духа не угашайте» очень поразила меня. Особенно первый роман о трагической любви («Избранник сердца»). Стахеев — боль-

шой, настоящий писатель, и хорошо, что в глубинке ты сумел поднять такую тему. Вступительная статья хороша, она очень проблемная. Поэтому и в докторской нужно ставить проблему, а не озаглавливать её «Жизнь и творчество», так как такое название вызовет насторожённость. Я ещё раз посмотрю предисловие, и твоими же словами назовём тему. Я звонил в «Лит. Россию», хотел поблагодарить тебя за книгу, но они сказали, что в такие времена не до этого, и расхолодили меня. Я обязательно вставлю в статью о русской классической литературе раздел о Стахееве и о твоей деятельности. В оппоненты по докторской меня вряд ли формально возьмут, так как я кандидат наук и никогда не рвался в доктора, но отзыв я с удовольствием напишу. Обстановка в Москве тяжёлая, не пришлось бы к вам эмигрировать. Кстати, в предисловии ты говоришь о литературном окружении Стахеева. Может быть, увязать эти имена и сделать названием темы»...

26 февраля 1996 года я вновь у В.В. Кожина. Он дал согласие в сентябре приехать с женой в Елабугу и Казань. «Казань мне понравилась когда-то. В Елабугу приеду как раз по поводу твоего утверждения доктором наук. Книгу о черносотенцах хотят издать к 80-летию революции в двух частях. Теория литературы — уже давно пройденный этап для меня, но, конечно, своё слово я тогда сказал и, наверное, отчётливо, так как до сих пор не стыжусь написанного в любые годы. Егор Исаев как-то с удивлением сказал мне: «Как ты, Вадимушко, сумел не измениться за все эти годы...»

В июне 1996 года состоялась защита моей докторской диссертации в авторитетном специализированном совете Института мировой литературы им. М. Горького Российской академии наук. И, разумеется, Вадим Валерианович не мог остаться в стороне и написал обещанный отзыв, автограф которого я бережно храню: «Несколько слов о диссертации Наиля Мансуровича Валеева. Уже довольно давно было утверждено положение о том, что главным критерием ценности диссертации — в особенности, докторской — является внесение в науку нового, — то есть, говоря более торжественно, — открытие. К сожалению, во многих случаях эта самая «новизна» с трудом выискивается в диссертационных сочинениях.

Речь идёт о каких-либо имеющих частный характер «уточнениях», о не очень существенном — подчас искусственном — «повороте» темы. Диссертация Наиля Мансуровича является открытием уже с точки зрения её предмета. Нельзя не оценить научную смелость диссертанта: он уже давно взялся за трудоёмкое исследование творчества и судьбы начисто «забытого» художника слова, — взялся с риском не получить никакого признания своего многолетнего труда, никакого одобрения, ибо имя Д. И. Стахеева отсутствовало даже в литературных справочных изданиях. Наиль Мансурович сумел и показать (добившись переиздания ряда произведений Д. И. Стахеева), и исследовательски доказать, что писатель достоин стоять в ряду классических имён отечественной литературы, и что постигшее его «забвение» всецело обусловлено его последовательно консервативными убеждениями (сложившимися в его зрелые годы), его противостоянием неотвратимо надвигавшемуся революционному катаклизму.

Для открытия творческого и человеческого облика Д. И. Стахеева диссертанту пришлось проделать многостороннюю работу — начиная с создания не существовавшей ранее библиографии, выявления литературных и житейских связей писателя и т. д. Словом, перед нами действительно диссертация-открытие, и я призываю членов высоковажаемого Учёного совета оценить труд Наиля Мансуровича по заслугам и присудить ему искомую учёную степень. 26.VI.1996. (ведущий научный сотрудник В. В. Кожин)». К отзыву было приложено замечательное «Уведомление для учёного совета», написанное также его рукою: «В.В. Кожин в настоящий момент

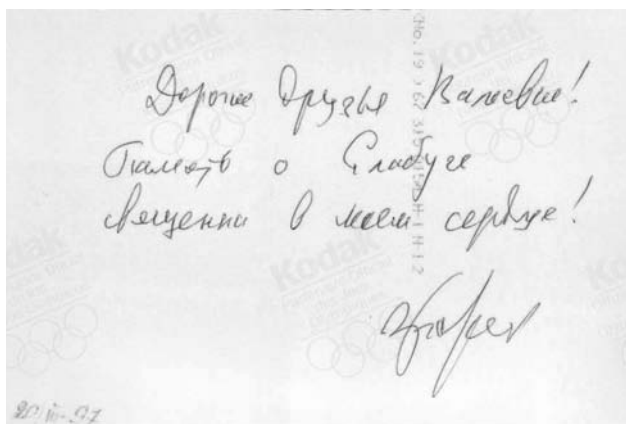
находится в Государственной думе РФ на совещании как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Г. А. Зюганова. Поэтому зачитывается его краткий письменный отзыв о диссертации Н. М. Валеева».

17 марта 1997 г. Вадим Валерианович пишет: «Получение тобою диплома — заслуженное завершение того важного этапа работы, которому ты отдал немало лет своей жизни. Самое важное во всём этом, что диплом, звание не пробивались по благу, так как ты сделал серьёзное открытие и продолжаешь работу. То, что это серьёзно, я увидел у тебя дома. Задел был сделан мощный, поэтому и результат получился значимым». Статья «Нобелевский миф» в серийном издании «Дневник писателя» (март-апрель 1996 г.) надписана в столице Татарстана: «Дорогому другу Наилю Валееву от души. Вадим Кожинов. Казань, 12.VIII.96». Она заслуживает отдельного разговора, поскольку оказалась чрезвычайно актуальной и резонансной, поскольку развенчивала миф о «великой значимости» Нобелевской премии. Главное, чем выделяется эта премия, — значительной суммой поощрения. А то, что она насквозь политизированная, видно особенно сейчас, когда ею награждены Обама и Горбачёв, последний за разрушение великой страны.

12 августа 1996 года Вадим Валерианович с женой Еленой Владимировной Ермиловой приехали на поезде по нашему приглашению через Казань в Елабугу, чтобы отдохнуть неделю от суеты столицы на лоне шишкинской природы.

Эта неделя для нашей семьи (жена Надежда, сын Эмиль и дочь Юлия) была временем редкостного по душевной теплоте общения с удивительно интеллигентными людьми. В обычном провинциальном доме-пятистенке (во дворе — баня, за ней — небольшой фруктовый сад), где мы жили в ту пору, поменяв трёхкомнатную квартиру на деревянный дом, главным богатством были более 5 тысяч книг — стеллажи по всем стенам. Осмотрев нашу домашнюю библиотеку, архив, множество папок с материалами по истории Елабуги, Чистополя, Казани, гость порекомендовал нам масштабную тему — «Елабуга и Россия». (Следуя его завету, очередную монографию моя жена (она доктор исторических наук) назвала «Елабужское земство и Россия». — М.: Аграф, 2001).

Были выезды на катере на нашу прекрасную полноводную Каму, от которой Вадим Валерианович и Елена Владимировна были в восторге. Уха из свежей рыбы, жареная рыба... Очень понравилась нашим гостям купеческая Елабуга: не по провинциальному величественные храмы города, своеобразная и очень богатая архитектура зданий учебных заведений, домов купечества. Разумеется, были и «круглые столы», и литературные чтения в пединституте, где я был проректором по научной работе. «На Кожинова» собрались все гуманитарии вуза, филологи и историки, философы и лингвисты, а также местные журналисты, краеведы... Посмотреть на Вадима Валериановича, о котором даже в Елабуге многие знали как о легендарной личности, более того, послушать его, позадавать вопросы! Это была фантастическая встреча, никак не ограниченная во времени. Только на автографы ушло более получаса, а ведь встреча проходила в разгар отпусков. Самое удивительное, что в общении с выдающимся человеком никто не испытывал никакого напряжения: умел наш гость «работать» с аудиторией, было впечатление, что все давным-давно знакомы друг с другом. А сколько было вопросов гостю! Не счесть. Спрашивали и о проблемах современной литературы, о кожиновской плеяде поэтов и прозаиков. Интересовались политической ситуацией в стране и мире, дальнейшим ходом российской истории, прогнозами, чем и как мы можем выжить в апокалипсические времена. На каждый вопрос был дан аргументированный и обстоятельный ответ. Резонанс от встречи звучит до сих пор, на скрижалях местной истории визит Кожинова в Елабугу зафиксирован навсегда. Беседа, которую вёл выдающийся учёный,



гающемся в живописном сосновом лесу по-над Камой. Много гуляли по лесу, спускались к величественной реке, душою отдыхали, как сказала тогда Елена Владимировна. А далее были радостные воспоминания о поездке во время моих последних визитов в Москву и надписи на книгах, фотографиях, где Вадим Валерианович и Елена Владимировна сняты возле памятников древней Елабуги, в музеях города, в красивейшем стахеевском доме (тогда штабе специальной средней школы милиции), в кругу моей семьи, на катере... Вот фотография на фоне древнего болгарского городища X–XII вв. — Вадим Валерианович и надпись: «Дорогие Валеевы! Память о Елабуге священна в моем сердце! Кожинов»...

Необходимо сказать и добрые слова о радушной хозяйке дома — Елене Владимировне Ермиловой, которая — светлый человек — как-то незаметно поддерживала ровное течение семейной жизни, несмотря на очень нелёгкий удел быть женою знаменитого человека. Верная спутница Вадима Валериановича, она была не просто хозяйкой дома и матерью их детей, она была единомышленницей и самым близким другом его. Об этом необходимо знать. Она почти не участвовала в наших беседах, занятая домашними делами, научной работой. Елена Владимировна — известный специалист по Серебряному веку русской литературы. Подаренную ею монографию «Теория и образный мир русского символизма» (М.: Наука, 1989) — «Наилу Валееву с искренней симпатией. Ермилова. 6. 1V. 90 г.» — я бережно храню, как и всё, имеющее отношение к семейству Кожиновых. Все наши совместные с Кожиновым фотографии в их доме сделаны ею. Думаю, частые визитёры — гости Вадима Валериановича — затрудняли жизненный ритм в доме. Всех нужно было встречать, привечать, поить чаем. Какой же нужно было обладать необыкновенной мудростью и терпением, чтобы радушно и очень доброжелательно общаться со всеми гостями. Низкий поклон, здоровья и сил Вам на долгие годы, радости в детях и внуках, дорогая Елена Владимировна!..

7 февраля 1999 года на мой вопрос: «Почему Вы столько своего бесценного времени тратите на общение со мной? Не осложняют ли ритма Вашей жизни мои достаточно частые визиты в Ваш дом?» Кожинов возмутился и сказал, что эти беседы взаимобогащающие, и они ему интересны. Иначе не общался бы. Ответы были записаны на диктофон, и запись, как это ни удивительно, сохранилась. Вот что Вадим Валерианович сказал: **«Я глубоко убеждён, что Россия по самой своей сути — страна многонациональная, и для меня нет никакого различия между русским и татаринном, кабардинцем и осетином. Нет ничего удивительного в этом; я много раз писал и, в частности, указывал на то, что есть «Повесть временных лет» — одно из**

древнейших воплощений России, в ней чётко сказано, что русское государство создали два финно-угорских племени. Первоначальное ядро Руси возникло на Севере; удивительная штука, прошу обратить внимание: начинается перечень племён создания русского государства с финского племени.

Сначала говорится «чудь», а потом уже «славени», «кривичи» и «весь». Второй пример ярчайший, что Пушкин написал своё завещание, каких-то двадцать строк: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». И все-таки счёл необходимым в этих двадцати строках сказать, что творил не для одного русского народа. Он сказал, что назовёт меня всяк сущий в ней (т.е. в Руси) великий язык. Под языком понимается не язык в его подлинном смысле, а народ: «Всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Т.е. даже «ныне дикого» он всё равно включал в число тех, для кого он писал. Надо сказать, что тот русский, который не следует этому пушкинскому завету, просто не настоящий русский, поэтому здесь не о чем даже говорить. Я в высшей степени дорожу теми людьми нерусского происхождения, которые с любовью обращаются к русской литературе, потому что для меня это предмет, если угодно, национальной гордости, что не только русские любят и ценят свою литературу, и это вдвойне радостно. Летом 1996 года я счёл своим долгом и с глубоким удовлетворением написал своё слово, так как не мог присутствовать на защите докторской диссертации Наиля Валева, где прямо сказал о том, что он совершил то, что очень редко удаётся диссертантам. Он не просто написал о каком-то писателе, он сначала открыл нам этого писателя, причём писателя очень высокого ранга, вполне сопоставимого и никак не уступающего рангу Писемского, но, с моей точки зрения, он даже может быть поставлен в один ряд с Гончаровым. Это редчайший случай в истории защиты литературоведческих диссертаций, где открытием является сам предмет исследования, и, конечно, совершить такое дело мог человек, действительно с благоговением относящийся к русской литературе, стремящийся не потерять, сохранить всё ценное.

Причём совершенно ясно, что забвение Стахеева объясняется его консерватизмом, тем, что он понимал, что революция — это катастрофа. Ведь он не был каким-то ярым контрреволюционером, он просто понимал, что это катастрофа, и пытался всячески если не предотвратить её, то по крайней мере призвать людей, чтобы они вели себя более трезво, взвешенно. Именно поэтому он подвергся такому забвению, и это совершенно ясно. Если бы он был каким-то ревдемократом, его бы не забыли. У нас ревдемократы известны даже третьестепенные, абсолютно незначительные, такие, как, например, критик Скабичевский — совершённое ничтожество, который написал про Чехова, что он умрёт пьяным под забором. Тем не менее о нём помнят, так как он принадлежал к революционной группировке. И это вполне понятно: революцию не за что обвинять, так как она из прошлого ценит тех, кто как-то способствовал ей. Но был своего рода позорный момент, что забыли такого замечательного писателя, как Д. И. Стахеев. А Наиль Валева его воскресил, за это ему честь и хвала.

Вышла книга Исхакова «Пушкин и религия». Главная цель этой книги заключается в том, чтобы доказать, что в главном смысле православие и ислам — братские религии. Мне могут возразить: как же так, ведь сколько было между ними войн, сражений, но даже между братьями бывают схватки, даже смертельные, что поделаешь, такова человеческая жизнь.

Жизнь есть сплетение добра и зла. Бывает, что сын против матери идёт и наоборот, ведь жизнь драматична и трагична. Пушкин написал восторжен-

ные подражания Корану. Даже если и есть какие-то препятствия к братскому сотрудничеству ислама и православия, то наша задача устранить эти препятствия.

И последнее, что я хотел сказать. Я не специалист в области ислама и православия и не претендую на это, так как это сложная самостоятельная наука и искусство: богословие. Но я глубоко убеждён, что некоторые основные нравственные устои ислама и православия очень близки. У Наиля Валеева есть верный подход к делу, есть какая-то прочная основа, поэтому работы, написанные о русской литературе человеком нерусского происхождения, я очень ценю.

Я наблюдал, как Наиль Валеев, приезжая в Москву, стремился на места погребения тех выдающихся русских учёных и писателей, чьими судьбами он занимается (в последнее время изучает наследие замечательного археографа, археолога и филолога К. И. Невоструева), и это очень важно. Внешне кажется, что такого рода вещи ничего не дают, на самом деле они очень много дают: устанавливается какое-то душевное сродство с человеком, когда побываешь на том месте, где он жил или погребён.

Я очень рад, что Наиль Валеев идёт не по проторённому пути и совершает новое открытие уже не в области художественной литературы, а в области древнерусской культуры. Поднимая К. И. Невоструева, он провёл громадную работу по изучению древнего наследия русской культуры, и это в высшей степени ценно». Аудиодокумент, к счастью, сохранился, и есть возможность услышать голос Вадима Валериановича, его интонации...

В конце беседы он продиктовал мне контактные данные упомянутого Хариса Исхаковича Исхакова, порекомендовав встретиться и познакомиться с ним, «вам обоим это будет полезно и интересно». Книгу Х. И. Исхакова — доктора технических наук, профессора Московского института пожарной безопасности МВД России «Пушкин и религия» (М.: Изд-во журнала «Москва», 1998) со своим небольшим послесловием Вадим Валерианович, конечно же, мне подарил, заметив, что в настоящее время данная проблема высвечивается ещё отчётливее. Нашу эпоху можно назвать временем искусственно раздуваемых врагами рода человеческого межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Ценность книги Исхакова — в её духовной направленности: **«Она создана мусульманином, который воспринимает Православие как братскую религию, — точно так же, как православный Пушкин воспринимал Ислам, и в этом отношении книга, можно сказать, воскрешает пушкинский дух»**. Нормальным людям на земле нужна спокойная мирная жизнь, но это желание совершенно не устраивает тех, кто пытается управлять судьбами мира. И в противовес этой клике сумасшедших человечество должно противопоставить именно высокую духовность, повсеместную толерантность и взаимопонимание. Иначе быть беде. Люди различных вероисповеданий и национальностей должны жить в мире и согласии. Книга Исхакова указывает путь к диалогу, и поэтому она достойна пристального внимания.

Вспоминается, как на мой вопрос о местонахождении Покровского монастыря и его кладбища, где похоронен К. И. Невоструев рядом с могилами чудовских монахов, Вадим Валерианович, никуда не заглядывая, тут же назвал адрес — Таганка, 58 и уточнил, что монастырь вместе с кладбищем уничтожены. Он сказал, что в своё время там был каток им. Жданова, а в настоящее время стоят огромные многоквартирные дома, и, как следствие такого обращения с могилами предков, — катастрофическими темпами надвигающаяся духовная деградация общества. Мне нередко казалось, что зрительно он всегда видел всю старую Москву. Бывали случаи, что,

заплутавшись, или не найдя нужного адреса, я звонил Вадиму Валериановичу и просил помощи. Он — многотерпеливый — объяснял, куда мне нужно идти, обозначал какие-то зримые ориентиры (как по Москве, так и по жизни).

«История Руси и русского слова» (М., 1999), подписанная мне 18 февраля 2000 года, — одна из последних с автографом нашего выдающегося современника, печальника земли русской и её великого патриота: «Дорогому другу Наилю Валееву от души желаю всего самого доброго! Кожинов. 18.II.00». Станным и удивительным кажется мне, что в конце книги автор поместил «Прощание с читателем», где, как всегда своеобразно, пишет: «Как и многие русские слова, «прощай» ёмко и много-смысленно... Каждому ясно, что оно означает и расставание, и извинение, которое вполне уместно, ибо читатель, возможно, не нашёл в моей книге ответов на те или иные волновавшие его вопросы...» И стоит дата — декабрь 1996 года...

Были и ещё встречи до 25 января 2001 года, когда Вадима Валериановича не стало, но письменно они, к сожалению, не были закреплены.

Современный критик Владимир Бондаренко в своей книге «Пламенные ре-акционеры. Три лика русского патриотизма» (М., 2003) поместил краткий очерк о В. В. Кожинове, удивительно искренний, человечный. Он чётко обозначил роль, место и значение Вадима Валериановича Кожинова в современной культуре, общественной жизни: «Меня радует выросшая за год слава Вадима Кожинова не только потому, что я с большим уважением отношусь к нему самому и к его творчеству, но и потому, что это свидетельствует о народном пробуждении. Без всякой рекламы, но он начинает занимать место Дмитрия Лихачёва в умах русской интеллигенции, тот тускнеет, а кожиновское влияние на умы растёт. Я не собираюсь их сталкивать лбами, каждому — своё, и труды по древнерусской литературе Лихачёва останутся на видном месте в литературоведении, но без ежедневной рекламы вдруг оказалось, что никакой общей концепции русской истории и русской культуры у Лихачёва нет и не было. А у Вадима Кожинова на первый план нынче выходят не его блестящие работы по теории литературы, даже не его поиск молодых талантов и не формирование поэтической кожиновской плеяды, а его взгляд на Россию, его видение проблем России. Его анализ русского пути. Это — как надёжный фундамент для будущего».

Я считаю себя счастливым человеком, поскольку мне довелось дружески общаться с нашим удивительным современником, о ком, я уверен в этом, будут написаны десятки диссертаций, монографий, исследований. Низкий поклон ему за высокое служение Отечеству и вечная память!





ЖУРНАЛ «КАЗАНЬ» НАЧИНАЛСЯ С БРОШЮРЫ

Нынешний год в Татарстане объявлен Годом историко-культурного наследия, чтобы привлечь внимание общества к вопросам сохранения и развития исторических и духовных традиций, культур и языков представителей народов, проживающих на территории республики, содействия в воссоздании, реставрации и популяризации объектов культурного наследия.

В средствах массовой информации уже появились первые публикации, посвященные восстановлению памятников истории и культуры. В связи с этим мы не могли не вспомнить прежде всего журнал «Казань», который на протяжении без малого двадцати лет, с самого первого номера, освещает проблемы сохранения старины, публикует воспоминания казанцев, одним словом, берегает плодородный слой городской культуры. И сегодня мы беседуем с главным редактором «Казани» Юрием Балашовым о том, как задумывался и как состоялся этот замечательный журнал.

— Юрий Анатольевич, для того, чтобы создать «Казань», очевидно, нужно было родиться в Казани. Чтобы любить свой город, конечно, необходимо его хорошо знать. С чего для Вас начиналась Казань?

— С дома на улице Пушкина. Тогда он числился под номером 2, но когда улицу Куйбышева упразднили, стал 38-м... Как и многие старинные здания в центре Казани, он находится в аварийном состоянии. Задняя часть дома практически полностью разрушена. Трещины по фасаду грозят обвалом всего здания. Недавно на объекте побывала государственная комиссия. В первую очередь планируется укрепить фасад здания. Дай Бог, чтобы дом успели спасти... Этот угловой дом-корабль поднимается на улицу Галактионова и построен в стиле эклектики с использованием элементов классицизма и барокко. Согласно архивным источникам, первыми владельцами этого дома были наследники Анны Маргариты Крейден, курляндской дворянки. После революции его национализировали и заселили разными жильцами.

Помню, этажом ниже нас жила семья профессора Горяева, его сын Виктор Николаевич как-то раз устроил нам, местным ребятам, экскурсию по старой Казани. Рассказывал подробно про историю разных зданий, знакомил с архитектурными стилия-

ми. В семье Горяевых хранилась настольная лампа, помнившая Пушкина. В квартире было много книг и старинных вещей, и кто теперь знает, куда всё это делось после смерти хозяев! Увы, так кануло в небытие многое за десятилетия разора и насильственного беспамьятства... Окна нашей квартиры выходили на два двора, и в разных квартирах жили разные люди, не только семьи профессоров. С многими детьми из разных семей я дружил. В одном из дворов чуть не каждый день раздавались крики, ругань. Это тоже были семьи наших товарищей. Тогда социального расслоения мы не чувствовали так, как теперь, очень многие жили бедно или достаточно скромно, но надеялись, что жизнь переменится к лучшему...

— *Итак, Вы стали профессиональным журналистом. А потом решили создать свой журнал.*

— Не сразу, конечно. В 1989 году Олег Морозов, ныне зампреда Государственной Думы Российской Федерации, а тогда заведовавший идеологическим отделом обкома партии, пригласил меня в журнал «Слово агитатора» (мы потом переименовали его в «Панораму»). Время было бурное, вслед за моим предшественником Римзилом Валеевым публиковали платформы различных политических движений, пытались отразить всю панораму перестроечных лет... То издание мы спасли, его соучредителями стали Казанский научный центр и Союз журналистов. Но из политической брошюры мне и моим коллегам хотелось сделать настоящей «толстый» общественно-политический, художественно-литературный журнал. Хотя понимали, как будет трудно...

В редколлегию будущего журнала сразу вошёл мой друг Владимир Бухараев, кандидат исторических наук, работающий все эти годы в Казанском университете. Мы пригласили стать членом редколлегии и нашего университетского преподавателя Бурганова, лекции которого по истории КПСС в «застойные» времена были для многих откровением. Агдас Хусаинович в свою очередь пригласил в редколлегию Амирхана Еники, классика татарской литературы, который никогда никуда принципиально не входил. И до самой смерти Амирхан абый очень помогал нам в становлении журнала. И говорил с улыбкой: «Все политические страсти уйдут, останется культура».

Агдас Хусаинович Бурганов вскоре переехал в Москву, сейчас преподаёт в Российском гуманитарном университете, где и Марина Сальгина. А в редколлегию и сегодня входят яркие, талантливые люди — краевед и литератор Алла Гарзавина, политолог Наиль Мухарьямов и другие замечательные люди и отменные перья. Нам оказали честь согласием войти в редколлегию писатели Анатолий Тихонович Гладилин и Евгений Анатольевич Попов, друзья Василия Павловича Аксёнова. Трудно перечислить всех, кто помогал и помогает ныне нашему журналу. Без поддержки казанцев мы бы не смогли существовать.

До «Казани» в «Панораме» у нас печатался Виль Мустафин. У него ещё не вышли поэтические сборники, он ещё не стал председателем Казанской городской организации Союза российских писателей, но уже тогда был знаменит на всю Казань — и как друг художника Константина Васильева, и как ученик знаменитого математика Александра Нордена, и как поэт казанского андеграунда. Он всю жизнь дружил с Рустемом Кутуем. И когда узнал, какой журнал мы задумали, сразу предложил: возьми Кутуя на работу. Пригласил к себе в гости, там нас познакомил с Рустемом Адельшевичем — и сразу заявил, мол, Кутуй согласен! Добавлю, именно Рустем Кутуй, насколько помнится, предложил назвать журнал коротко и емко — «Казань», а вариантов названия было немало. И потом пятнадцать лет, до самого конца жизни работал редактором отдела поэзии. И сам часто печатался в журнале, и опубликовал на его страницах многих казанских поэтов и прозаиков.

— *Но всё же главным культурным событием в первые годы журнала стала публикация книги Павла Аксёнова «Последняя вера». Как попала к вам рукопись бывшего председателя Казанского горсовета, отца известного на весь мир писателя Василия Аксёнова?*

— Да, с первого номера в течение пяти лет мы публиковали из номера в номер эту книгу Павла Васильевича Аксёнова. И надеялись, что публикацию удастся довести до конца, хотя полной уверенности в этом не было, многие годы приходилось спасать журнал от закрытия. Каждый номер нам давался с большим трудом, даже финансировали журнал какое-то время через редакцию журнала «Панорама», который уже не выходил регулярно... Напомню, Василий Аксёнов лишился родителей в пятилетнем возрасте, сначала арестовали мать — корреспондента «Красной Татарии» Евгению Гинзбург, получившую десять лет лишения свободы, а потом и Павла Васильевича — как мы сейчас сказали бы, мэра Казани или городского главу. Его приговорили к расстрелу, но потом заменили смертную казнь на пятнадцать лет заключения. После освобождения родители не воссоединились. Василий уехал к маме в Магадан, позднее по её совету поступил в мединститут (врач в лагерях имел больше шансов выжить!) сначала в Казани, потом в Ленинграде... А его отец вернулся в Казань, где женился на свекрови Надежды Андреевны Сальтиной. У неё дома и перепечатывалась «Последняя вера». Надежда Андреевна вспоминала, как включала телевизор и усаживалась за пишущую машинку, иногда к ней присоединялась её дочь Марина. Из воспоминаний сидельца, как говорил сам автор, выросла объёмистая рукопись, за которую даже в те годы можно было нажать немалые неприятности. Павел Васильевич Аксёнов умер в 1991 году, а Надежда Андреевна и Марина передали рукопись мне, над ней пришлось ещё поработать, в первую очередь, убирать повторы, структурировать. Первый номер журнала «Казань» с повестью мы передали Василию Павловичу в Америку... Но ответа не получили.

— *Вот бы издать «Последнюю веру» под одной обложкой с «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург и «Детьми ленд-лиза» Василия Аксёнова! Не думали над таким проектом?*

— На первом фестивале «Аксёнов-фест» мы с Василием Павловичем встречались, и я напомнил ему о публикации «Последней веры». Он очень рад был тому, что воспоминания отца вышли в свет. Василий Павлович не считал их литературным произведением, но ценил как документ эпохи. Он одобрил нашу идею издать под одной обложкой воспоминания отца и книгу матери и согласился написать для неё предисловие, но, увы, не успел. А журналу «Казань» та книга Павла Аксёнова, выходявшая с продолжением в течение пяти лет, дала очень многое. Дело в том, что нам сразу стали нести другие воспоминания замечательных наших земляков. Потомки Бориса Михайловича Козырева. Вдова Бориса Лукича Лаптева. Андрей Оскарович Визель, дед которого, академик живописи, был главой целой династии художников, передал рукопись мамы — художницы Веры Шолпо, высланной из Ленинграда с семьёй академика и собственной семьёй в тридцать четвёртом году по навету. А ведь Козыревы, Лаптевы, Завойские, Нордены, Дубяго — это был единый круг казанской интеллигенции XX столетия...

Сегодня в нашей редакции работает талантливый журналист Айсылу Мирханова, которая обращается ко многим важным событиям в современной культурной жизни и её истокам, делает это неординарно, и её публикации всегда привлекают внимание. Сбережению памяти о гнездовьях культуры в Казани и поддержке её ростков в сегодняшнем городе много сил и любви отдаёт ещё один член нашей редколлегии — врач Марина Подольская, замечательный поэт, прозаик и публицист. Например, она выпустила сборник своих стихотворений, не просто оформленный картинками Геннадия Архиреева, а ставший своего рода синтезом живописи и поэзии. Гена Архиреев очень много писал старую Казань, её дворики, садики, скверики... В Доме учёных Марина провела презентацию сборника, а Геннадий сопроводил её выставкой своих работ. Кстати, жена художника, искусствовед Светлана Колина более десяти лет работала у нас в редакции редактором отдела, опубликовала десятки статей о творчестве казанских художников. В журнале «Казань» вышел и цикл её первых рассказов — «Буртасские рассказы».



Фото Г. Сагиевой



Фото В. Зотова



Фото А. Шлыкова



Фото С. Ермолаева



Фото Ю. Граблиной



Фото Г. Козлова



Фото А. Иванова

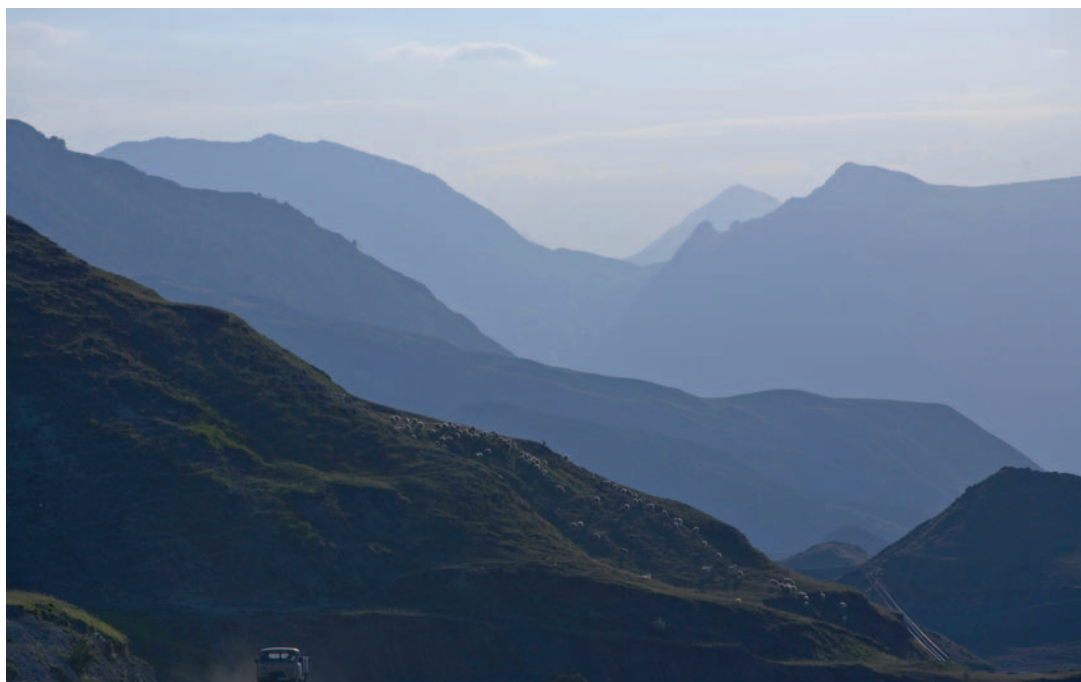


Фото А. Шлыкова



Фото Л. Тухватуллин



Фото Г. Сагеевой



Фото Ф. Зиятдинова



Фото Ф. Зиатдинова



Фото С. Ермолаева



Фото Ф. Зиятдинова



Фото А. Иванова



Фото Ф. Зиятдинова



Фото Г. Сагеевой



Фото С. Ермолаева

на основе которых впоследствии наш земляк — фотограф, оператор, режиссёр Сергей Ольденбург-Свинцов снял свой дебютный художественный фильм «Голубка».

— Да, жаль, что Геннадий Архиреев не дожил до его премьеры! Картина стала реке-виемом замечательному казанскому художнику. А журнал «Казань» с первых же номеров начал публиковать работы казанских художников и фотографов?

— Первое время мы могли себе позволить лишь две небольшие цветные вклейки, но с самого начала стали посвящать их творчеству казанских мастеров живописи и фотографии. Многие предоставляли нам свои лучшие работы бесплатно, зная, как мы живём. И мы старались помогать фотографам, художникам, постоянно знакомя читателей с их творчеством.

Много лет нам очень помогал фотограф и художник Анатолий Иванов. Он терпеливо сидел с верстальщицами и выстраивал каждую страницу. В дальнейшем эту работу вели художники Григорий Эйдинов и Светлана Жеймова. Не случайно журнал «Казань» именно за дизайн удостоен многих наград, в том числе всероссийских. А работа Григория Львовича Эйдинова в редакции с самого начала значила гораздо больше, чем просто дизайн — она глубоко повлияла и влияет на содержание журнала в целом. Наш главный художник, кстати, автор и замечательных текстов, опубликованных в журнале.

В Казани давно сформировалась серьёзная фотографическая школа. Не случайно её очень скоро узнали на Западе. Казанцы во многом ориентировались на Картье Брессона — гуру социальной фотографии. Многие мастера вышли из знаменитых объединений «Тасма» и «Волга», такие как Фарит Губаев, Василий Мартинков, Владимир Зотов, Ляля Кузнецова и многие другие.

Нередко цветные вклейки в журнале сразу верстались с таким прицелом, чтобы их можно было переиздать в виде буклета — оставалось только обложку добавить. Серию таких художественных буклетов мы выпустили как библиотечку журнала «Казань».

— Сохранению исторического центра Казани журнал посвятил немало страниц. С чего начиналась для Вас эта тема?

— Первый номер «Казани» вышел в октябре 1993 года. Его проблемно-тематическим ядром стала Старо-Татарская слобода, сохранением которой городские власти заняты и сегодня. За минувшие годы дело так и не сдвинулось с мёртвой точки, напротив, многие памятники архитектуры бесследно исчезли. Не стало здания гостиницы «Булгар», где в 40-м номере жил Габдулла Тукай... К Универсиаде, дай Бог, подправят и покрасят фасады, ну, отремонтируют некоторые здания. Увы, системного подхода к сохранению старины в Казани как не было, так и нет. Только в последнее время появилась надежда на то, что может быть иначе. Прежде всего благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и его экскурсоводу, а теперь помощнику Президента Олесе Балтусовой, которая продолжает работать в журнале «Казань», только теперь уже не в штате.

— Помимо журнала, который отнимает почти все силы и время, Вы ещё являетесь членом Общественного совета Министерства культуры Республики Татарстан, входите в попечительские советы двух музеев, в Совет Татарского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры... Юрий Анатольевич, а Вы никогда не ходите в отпуск?

— Так получалось, что не получалось. Это плохо, неправильно. В прошлом Феликс Нитис — мы учились с ним на первом курсе университета — пригласил трёх наших сокурсниц и меня к себе на юбилей — в Чикаго. Перед отлётом в Москву Володя Бухараев и я встретились с Анатолием Тихоновичем Гладилиным. В ЦДЛ отметили и мою дату. Мы замечательно провели время в Штатах. Но в Казань я возвращался с радостью...

Беседовал Александр ВОРОНИН





СКАЗ ПРО ТО, КАК СОТРУДНИК НИИ В БИЗНЕС ХОДИЛ...

Главы из книги о лихих девяностых

Знакомьтесь: Рудаль Габдрауфович Кадыров, 1963 года рождения, уроженец Сабинского района Республики Татарстан. Золотой медалист русской школы в селе Кузайкино Альметьевского района, выпускник Казанского университета (биофак, кафедра генетики) 1985 года с красным дипломом.

Герой моего сказа получил распределение, как и я, во Всесоюзный НИИ Молекулярной биологии НПО «Вектор» в Кольцово Новосибирской области. Быстро вырос до должности старшего научного сотрудника, руководил темами, хотя учёной степени не имел. Был любимым сотрудником начальницы отдела Агнессы Царёвой — яркой, умной женщины, жены директора института, академика Льва Сандахчиева (царство им обоим небесное).

Женился Рудаль в 1986 году на землячке, выпускнице Казанского финансово-экономического института, их сын Артур — бывший одноклассник моего сына, оба ныне студенты Новосибирского университета.

Наш герой умён, логичен, трезвомыслящ, рукаст, незэмоционален и рационален. По натуре лидер. Силён физически, вынослив, неприхотлив, скромен в быту. Но заносчив и высокомерен. Завышенное самомнение часто приводило Рудалья к неумению работать в команде. Типичный волк-одиночка. Колоритный, деятельный, метущийся, жаждущий лёгких денег. Однако привычка всё брать на себя мешала сосредоточению усилий на развитие бизнеса, на создание устойчиво работающей системы. Ему постоянно приходилось отвлекаться на текучку и рутину, что снижало конкурентоспособность и нередко приводило к озлоблению и унынию. Вдобавок Рудаль долгое время руководствовался не совсем верной установкой: работать, по возможности, нужно чужими (заёмными, кредитными) деньгами, своими не рисковать. Всё это вело к шараханью из одного рода деятельности в другой. Но именно многовекторность приложения его усилий представляет наибольший интерес.

В те времена многим казалось: нашёл! Вот, наконец-то, то, на чём я взлечу! Много было внове, свободных ниш до поры до времени хватало, лидеры ещё не обозначились, а небольшие обороты позволяли довольно легко перескакивать из темы в тему. В результате, перед автором очерка прошла целая галерея портретов «героев

нашего времени», простите за плагиат. Я долго выбирал собирательный персонаж, который стал бы наиболее характерным. И, наконец, остановил свой выбор на моём друге, земляке, однокашнике. Рудаль, пожалуй, идеально подходит под определение типичного предпринимателя девяностых годов, когда в стране всё вставало и устанавливалось на обломках развитого социализма, когда всюду шёл процесс массовой селекции в предпринимательской среде нашей страны, ведь «ломанулись» в бизнес миллионы и миллионы.

Выбрал я его ещё и потому, что, хорошо зная Рудаль, постарался поразмышлять о нём с теплотой и приязнью, дружеской иронией и участием. Прочитал ли Кадыров про себя, любимого? Да, прочитал. Как отреагировал? Достоинно. Состоялась даже небольшая литературная дуэль, которая, возможно, станет основой следующей книги, тем более, мне ещё многое хотелось бы поведать читателю.

РАЗБЕГ

Экономисты соседнего с Кольцово новосибирского Академгородка, «колыбели» перестройки, пользовались репутацией главных специалистов по рынку. Они регулярно проводили весьма недешёвые, но модные в то время экономические учёбы. Каждая уважающая себя организация считала престижным послать поучиться своих сотрудников рыночному уму-разуму. Вот и наш институт не отставал от других, правда, лишь приближённые к руководству имели возможность постичь азы рыночной науки. Рудалью, благодаря директору, который его знал и уважал, иногда удавалось попадать в «сон избранных». Однако вместе с полученной на учёбах информацией к Кадырову быстро пришло печальное осознание того факта, что предполагаемое место нашего «Вектора» в рыночных условиях определяется ёмким и нехорошим словом. Но об этом смутно догадывался не один он.

Тогда же, в самом конце восьмидесятых, наш герой приобрёл первый опыт предпринимательства. Рудаль основательно увлёкся английским языком и овладел им. Стал брать платные заказы на переводы в Государственной научно-технической публичной библиотеке, быстро и, самое главное, очень качественно справляясь с непростой работой. Купил печатную машинку, освоил быструю печать вслепую, получая надбавку за срочность переводов. Мгновенно заимел хорошую репутацию и зарабатывал очень приличные для тех времён деньги.

Через годик у него возникла некоторая сумма, а в голову пришла оригинальная и смелая идея. Рудаль купил хороший коротковолновик, позволявший довольно чисто ловить радиостанцию Би-би-си. Он стал записывать на магнитофон популярные информационные передачи и речи тогдашнего британского премьера Маргарет Тэтчер. Делалось это с дальним прицелом. Всё записанное Рудаль перевёл и отпечатал, «разжевав» сложные места. Далее расположил тексты по возрастанию сложности содержания и издал в виде небольшой брошюры самоучитель «Учитесь английскому у Маргарет Тэтчер» тиражом 1000 экземпляров. Аудиокассета с записью прилагалась. Советский стандарт языкового образования («читаю и перевожу со словарём») многих уже не устраивал, а специальных пособий по прикладному английскому языку в продаже почти не было. Издательства, теряя госзаказы, тогда потихоньку стали кренились набок, поэтому одно из них оперативно выполнило заказ Рудалья.

Однако денег на рекламу отчаянно не хватало, поскольку самоучитель был издан в кредит. Как же оповестить о нём страну, ведь рядовая реклама никак не соответствовала масштабу личности знаменитой «учительницы»? Тогда Рудаль написал

небольшую статью, озаглавив её «Дадут ли Маргарет Тэтчер советский орден?» Напомню, «железная леди» слыла ястребом, врагом СССР, одно название должно было сразу же привлечь внимание.

Статья была примерно такого содержания: «Великий футболист Пеле получил орден за ликвидацию неграмотности в Бразилии: после выхода в свет его книги «Я — Пеле» миллионы неграмотных бразильцев засели за буквари, посчитав своим святым долгом самостоятельно прочитать книгу кумира. Вот и Маргарет Тэтчер, «лучший друг» россиян, учит нас английскому! Не верите? Купите самоучитель и убедитесь в этом сами! Пеле по праву заслужил бразильский орден, неужели и у нас не найдётся скромненького орденочка для самой «железной» леди на свете?..» Рудаль разослал эту статью в центральные издания («Правда», «Известия», «АиФ» и другие).

Тогда ещё не было засилья рекламы на страницах газет, а расценки на неё не лишили дара речи. Да и сама статья не выглядела рекламной — курьёз, весёлая история, не более того! В изобличении скрытой рекламы тогдашние газетчики тоже не были искушены, всему своё время. Скажете — авантюра? В самом махровом виде! Но она удалась! Статью напечатала одна из центральных газет, «Труд», по-моему. Не «АиФ», конечно, но всё же. Безусловно, статью слегка подредактировали, но смысл не исказили. И самое главное! Был указан адрес, по которому можно приобщиться к «аглицкому» самой миссис Тэтчер!

Последовал вал заказов, тираж ушёл влёт! Вдохновлённый успехом Рудаль брошюрку переиздал. Но, понятное дело, во второй раз подобный фокус уже бы не «проконал». Не беда. Кадыров придумал новый трюк. Он позвонил на Би-би-си и голосом невинного ребёнка поведал: распространяю, мол, свой самоучитель, в основе которого речи госпожи Тэтчер. Не нарушаются ли при этом чьи-нибудь права, а если нарушаются, не могли бы они прислать письменное разрешение на использование этих материалов. Рудаль резонно полагал, что любой ответ англичан можно будет обратить себе во благо: официальное разрешение — прекрасная реклама, судебное разбирательство — ещё лучше! Можно вообще прогреметь на весь разваливающийся Союз! Он был не силён в «непереводимой игре слов с использованием местных идиоматических выражений», но суть ответа уловил: «глотание судебной пыли» ему было гарантировано.

Но, к сожалению, грозные на словах дети Туманного Альбиона ничего не предприняли, хотя Рудаль ещё пару раз их дразнил. Поэтому второй тираж самоучителя застрял. Много экземпляров пришлось просто раздарить.

Всё это время он продолжал трудиться в институте, но, скорее, по инерции. Будучи руководителем темы, Рудаль должен был написать годовой отчёт, но этому мешал хронический цейтнот, возникший из-за его бурной деятельности на стороне. Да и институтская мотивация, честно говоря, уже не вдохновляла, даже казалась несерьёзной. Помню, как кураторша из отдела координации искренне возмущалась: «Как это так? Взять и не написать годовой отчёт?!» В её сознании подобное не укладывалось, ещё и червячок зависти грыз, ведь парень чувствовал себя совсем неплохо, зарабатывая на жизнь чем-то абсолютно ей недоступным. Некогда обожавшая Рудаль начальница отдела и её муж-директор тоже возмутились, недвусмысленно напомнив ему о перспективе выделения служебной двухкомнатной квартиры. Но Кадырова уже было не остановить. Фортиссимо его прощального аккорда, обращённого к руководству, впечатлило: «Да я своей головой сделаю денег в десять раз больше, чем вы вдвоём!»

Правда, время показало, что Рудаль чуток погорячился: директора часто становились соучредителями дочерних фирм, возникавших на базе больших объединений, подобных нашему. Увести активы в закрытые структуры, являвшиеся островками от-

носительного благополучия, было тогда очень популярно. Статус директора дорогого стоил, а «весовая категория» Рудаль всегда была несопоставимо ниже, несмотря на его смелые амбиции.

Но хлопнуть дверью Рудаль уже мог себе позволить: на одной из экономических учёб он удачно познакомился с директором новосибирского оловокомбината. Наш герой ему понравился. «Оловянный генерал» горестно посетовал, мол, у меня в отделе маркетинга (тогда это слово ещё только-только учились произносить) сидят одни «безъязыкие пни». И предложил: «Переходи ко мне на «оловяшку»!»

ТОЛЧОК

Рудаль сразу же отлично себя зарекомендовал: он был единственным сотрудником отдела, кто мог ночью, с шумами в трубке провести телефонные переговоры на английском. Ведь современных средств телекоммуникационной связи тогда ещё не существовало. Вчерашний учёный очень старался: прорабатывал информации больше, чем остальные сотрудники вместе взятые (каталоги, прайс-листы), занимался растаможкой. На злобное шипение бездарного коллектива отдела Рудаль не обращал внимания. Эта «кодла» расценивала выдвигание невесты откуда взявшегося любимчика директора вопиюще несправедливым и незаслуженным. А любимчик ещё и фирмочку при комбинате организовал — перепродавал оргтехнику, барыши делил с руководством.

Парень решил: вот она, госпожа Удача! Купил «Жигули» седьмой модели, а затем по бартеру на олово отхватил новую «Таврию» — немного облагороженную разновидность «Запорожца»: модель только-только пошла в серию и считалась крутой. Сейчас это может показаться невероятным, но Рудаль удалось обменять чудо украинского автопрома на однокомнатную квартиру. Был такой период, правда, совсем короткий, когда некоторые (не от большого ума) меняли якобы бесплатно доставшуюся от государства недвижимость на не бесплатную движимость! А проблема жилья стояла перед ним во весь рост: потеряв возможность получения служебной квартиры, Рудаль продолжал жить на подселении.

Помнится, позже говорю как-то Рудалью:

— Представляю, как человек, совершивший подобный обмен, сейчас локти себе кусает!

Рудаль, глубоко вздохнув, дал честный ответ, после чего рухнул в моих глазах, как удачливый меняла:

— А я что, лучше? Мне за «семёрочку» двухкомнатную предлагали, я отказался, настолько её, родимую, любил! Продав хату, сейчас купил бы «Мерседес»!

Но не всё обстояло столь удручающе: вскоре, добавив, он превратил однокомнатную в трёхкомнатную квартиру. Рисуясь перед нами, Рудаль как-то выдал: «Что-то жить скучно стало: чуть поднатужусь, куплю вертолёт, а зачем?» К слову, полупрезрительное отношение к деньгам он сохранил на всю жизнь. Уверяет даже, что считает себя неудачником из-за того, что всю жизнь пришлось деньгам служить.

К тому времени у Рудаль зашли в тупик отношения с женой, несмотря на наличие сына, которого он очень любил. Будучи интересным молодым мужчиной, при деньгах, на колёсах, Рудаль обнаружил в себе всепоглощающую страсть к молодым женщинам. Эта страсть не утихла до сих пор, даже усилилась («седина в бороду...»).

Но пришло время приватизации. Руководитель «оловяшки» решил стать хозяином своего предприятия, однако не все из его окружения всё правильно поняли. Не-

которые управленцы со стажем, уверовав в свою незаменимость, наивно полагали, что директор им чем-то обязан. Подробностей не знаю, но известно, что, грамотно проведя акционирование и реорганизацию, он получил контрольный пакет акций своего предприятия. А кто не усвоил новые правила игры, уповая на стаж и бывшие заслуги перед комбинатом, оказался на улице. Стаж у Рудалья был без году неделя, в активе лишь преходящая благосклонность со стороны свежееиспечённого «оловянного» босса, и, видимо, где-то в его адрес наш герой тоже высказался. Одним словом, вылетел Рудаль из «оловяшки», правда, весьма ценившиеся акции комбината сохранил.

Что делать? Опять браться за переводы? Но пособия по английскому языку второго издания лежат комом, в институт мосты сожжены, да и крепко на боку институт. Пришлось даже продать акции оловокомбината, чтоб на что-то жить. Переживания переросли в депрессию, усугубляющуюся разборками то с одной, то с другой пассией. Мы, друзья, не раз приводили Рудалья в норму, напиваясь вместе с ним. Спустя годы, он признался, что это здорово помогало, «встряхивало» и пробуждало интерес к жизни...

Забыл упомянуть одну деталь. Трудясь на «оловяшке», Рудаль приобрёл ценный опыт работы брокером на товарно-сырьевой бирже. Сейчас эта профессия уже почти забыта, но тогда была очень популярна.

Если помните, рухнувшие в начале девяностых годов хозяйственные связи между предприятиями привели к тому, что несчастные производители, коих месяц от месяца становилось всё меньше, не знали, куда сунуться со своей продукцией, ежедневно дешевеющей из-за гиперинфляции. Поэтому, как грибы после дождя, стали плодиться биржи, процветал бартер, а оказывать посреднические услуги было очень престижно. Особенно крутым считалось, когда на вопрос «чем занимаешься» звучал высокомерный ответ: «металлами». Оформляя своё первое свидетельство индивидуального предпринимателя, помимо «торгово-закупочной деятельности», я тоже застолбил «оказание посреднических услуг». Хотя ни разу их никому не оказал. Не сподобил Господь.

Понятно, олово хорошо уходило, а партию «Таврий», одна из которых когда-то превратилась в однокомнатную квартиру, Рудаль «сделал» на бирже. Там-то он и имел кое-какие полезные контакты, поэтому, выйдя из депрессии, решил их максимально использовать и вновь отправиться в автономное плавание.

Взял в компаньоны Серёгу, одного из наших общих друзей. Серёга болтался неприкаянным, сменив кучу рабочих мест. Впереди небольшая глава о нём. Кореша торговали всем, что попадалось под руку, возможности для этого имелись. И дела поначалу пошли.

Помню, как они меняли по бартеру отечественные цветные телевизоры на оловянный припой, не имея в наличии ни того, ни другого. Имелись лишь договорённости, и то, по-моему, устные. А за «базар», как известно, полагалось отвечать. И вот обрушились штрафные санкции: телевизор в день! Это в те времена, когда обычный труженик работал на цветной телевизор полгода! Вечерами кореша устраивали поминки по очередному «безвременно ушедшему» телевизору... Зато когда бартер всё-таки состоялся и они получили свои телевизоры, то ими пришлось забить под потолок всё, что можно: и гараж Рудалья, и Серёгину комнату! Но, самое главное, за одну сделку (за месяц!) удалось заработать на две двухкомнатные квартиры! Во, времена! Во, авантюристы! Хорошо хоть не аферисты — никого не кидали. Даже Евгений Коновалов, мой компаньон, похвалил: «Рудаль по мелочам не работает, Рудаль крупную рыбу ловит». Кадыров оставил себе трёхкомнатную квартиру, а жену с сыном переселил в «двушку».

Но Серёга, имея средства на двухкомнатную хату, повёл себя просто удивительно.

СЕРЁГА

Итак, Серёга — уроженец Севастополя, выпускник биофака Ленинградского университета. Самбист-перворазрядник, здоров, как бык, хотя и невысок. Он был немногим старше нас: не сумев поступить сразу после школы в ВУЗ, загремел на три года на Краснознамённый Черноморский флот. Ратная служба наложила на него своеобразный отпечаток.

Серёга прибыл в Кольцово по распределению, как и все мы. Поселился в одной комнате с Рудалем, точнее, в бывшем красном уголке общежития. В своё время руководство нашего института судорожно «хватало» молодых специалистов (и холостых, и семейных), не думая о последствиях. Вот и выходило так, что расселяли нас в общежитии, где придётся: по подсобкам, сушилкам, кухням, хорошо хоть не в туалетах и постирочных. Прямо по Высоцкому: «все жили скромно, вровень так, система коридорная...»

В том же году, что и Рудаль, Серёга женился на симпатичной татарочке из Казани и сотворил позже двоих дочерей. В нашем институте ему сразу же всё не понравилось. Имея независимый, довольно вздорный характер, он пошёл к директору Сандахчиеву и потребовал уволить по собственному желанию. Но уволиться с такой формулировкой молодому специалисту было практически невозможно до истечения трёх лет после распределения, а по тридцать третьей статье (прогулы) всё-таки не хотелось. Живописав директору своё недовольство и нежелание с этим мириться, он, ко всеобщему удивлению, получил «вольную»: тот решил с ним не связываться. Но, как и Рудаль, Серёга потерял возможность получить служебное жильё и надолго застрял в общежитии.

Не беда, решил он: ещё заработаю «на хату». Потом Серёга недолго работал в одном институте Академгородка, стелил полы, сторожил ночами на стройке, трудился где-то в Казани (жена обеих дочек ездила рожать к родителям). Довелось даже разводить овцебыков на острове Врангеля, что в Северном Ледовитом океане. Но с рождением второй дочери, к сожалению, у супруги резко ухудшилось здоровье, нужны были деньги и на лечение, и на нормальное жильё. Тут и подвернулся Рудаль со своим предложением.

Хорошо, вот деньги на жильё. Но что делает Серёга? Я, говорит, сперва заплачу налоги, это — «мой патриотический долг!»! Своеобразный отпечаток флотской службы дал о себе знать, он любил с пафосом заявить: «я давал присягу!», «я обязан!» и тому подобное. Причём говорил это совершенно искренне, что, само по себе неплохо, но не в его положении. Тогда толком ещё не было налоговой службы, все деньги — чёрный нал, поэтому, сколько вносить налогов и платить ли их вообще, каждый решал самостоятельно.

А на дворе начало лихих девяностых! Вспомните развал страны, галопирующую инфляцию, обесценивание вкладов, всероссийский лохотрон под названием ваучеризация, тотальное безверие, локальные войны, разгул преступности и прочие прелести времени бессовестного разграбления, «прихватизации» общенародного достояния. Пришла пора первоначального накопления капиталов при полном самоустранении государства из всех сфер экономики под болтовню о свободном рынке и демократических ценностях.

Зато Серёга платит ВСЕ налоги! Пока он с упоением исполнял «свой патриотический долг», гиперинфляция «съела» одну комнату. Рудаль ему: «Бери «однёшку», беги из общаги! Потом, чёрт с тобой, ещё заработаем!» Он — нет, мне, мол, нужна двухкомнатная. И пока Серёга искал двухкомнатную (по цене однокомнатной), гиперинфляция «оставила» денег только на комнату. Но и её он не купил! Рядом с их

комнатой в общаге освободилась соседняя через стенку, жена получила от института разрешение на вселение (тогда приток молодых специалистов иссяк, а народ из института разбежался). Серёга пробил проход в стене — вот вам и две комнаты!

В итоге недобитую инфляцией сумму бывший краснофлотец дал нам с Женей на покупку грузовика под щадящие 20% в месяц. Получается 240% в год! Горлохват? Нет, товарищи дорогие, тогда, в основном, давали под 30% в месяц, так что... Во, были времена! И укатил с семьёй отдыхать в Севастополь, сдав мне на содержание своего кота Кешу...

В 1994 году предприятия России, которым посчастливилось выжить, стали обзаводиться собственными коммерческими подразделениями, и рынок посреднических услуг начал стремительно сужаться. Кто-то этого «не просёк», но многие быстро поняли и сменили сферы деятельности. Тогда же, помнится, премьером стал Черномырдин, и до памятного дефолта августа 1998 года многострадальная держава обрела видимость какой-то стабильности. Инфляция резко снизилась, курс доллара более-менее стабилизировался. А времена шоковой терапии навсегда остались связанными в памяти народной с именами Гайдара, Чубайса, Бурбулиса, Коха, Сосковца, Козырева и прочих деятелей.

Рудаль правильно оценил ситуацию и пристроился к своему корешку Вове, представившему интересы одной литовской мебельной фабрики.

А вот Серёга остался один. Рудаль разочаровался в нём как в деловом партнёре, они устали друг от друга, но некоторое время ещё сохраняли приятельские отношения. Кратковременный успех «хождения в бизнес» вскружил голову. Пахать на кого-то Серёге казалось зазорным, но деньги быстро кончились.

А в беспризорной общаге нашего загибавшегося института воняло всё крепче: ничего не ремонтировалось, с уборкой туго, туалеты загажены, а на некоторых этажах вообще заколочены (кстати, тоже вышло, как у Высоцкого: «на 38 комнаток всего одна уборная»). И если раньше там проживали молодые специалисты, которые организовывали дежурства, субботники, то вскоре стали селиться кто ни попадя. Всё пошло вразнос.

Болея душой за товарища, Рудаль всё повторял: «Надо пристроить Серёгу». Я часто предлагал Серёге вакансии: было жаль, что бездействует толковый работник. Не раз и не два мы с Женей вполне серьёзно предлагали обсудить возможность его долевого участия в нашем деле, благо доверять ему можно было железно. Все предложения с нашей стороны закончились, когда Серёга, вызываяюще продекларировал: «Я выбираю здоровый образ жизни!» А вы, мол, голуби, морозьте сопли, не спите ночами, рискуйте жизнью и здоровьем — я выше этого.

Вскоре объявил себя коммунистом, занял совершенно нетерпимую по отношению ко всем более-менее состоятельным людям позицию, даже бравировал этим, неизменно вкупе с ехидным «хе-хе-хе». Дескать, все, кто во власти — однозначно преступники, богат — значит, непременно вор и так далее. Рудаль как-то с грустью сказал, мол, переменится власть — не сомневаюсь: за нами придёт Серёга в кожаной куртке с красным бантом на груди и с маузером. В ночь перед казнью посидит с нами в камере, морально поддержит, но на рассвете всё равно, прищурившись, собственноручно расстреляет.

Пример Серёги меня ещё больше убедил в том, что коммунизм — никакая не самостоятельная философская категория. Это вполне объяснимое, ситуационно обусловленное состояние сознания отдельного индивидуума или группы таковых. Эта болезнь имеет социальную принадлежность, подобно педикулёзу или туберкулёзу. Но она, как и другие, вполне излечима, однако может стать затяжной, а при опреде-

лѐнных обстоятельствах — хронической. Но только начни, к примеру, своё дело — и, как правило, от твоих коммунистических взглядов не останется и следа.

В очередном идеологическом споре я как-то выдал Серѐге: «А ведь ты, друг, не праведник — ты замарался о бизнес. Деньги на грузовик под нехилые проценты у кого мы занимали? У тебя были, а у нас нет! Да и лекцию на тему «Где взять первоначальный капитал», при случае, запросто сумеешь прочесть. Элементарно облажавшись в бизнесе, ты решил сменить систему взглядов, подвести под неё сомнительный теоретический фундамент». Он, выдав своё неизменное «хе-хе-хе», так посмотрел на меня, что с тех пор я не сомневаюсь в обоснованности предположения Рудалья насчёт расстрела.

Но это полбеды. Самоутверждение пустым философствованием (и всё с пафосом, с горящими глазами!) вкуче с безденежьем вызвало активное недовольство его жены. И тут он нашѐл оригинальный выход: объявил, что любовь прошла. Гениально просто! Практически освободив себя от финансовых обязательств перед семьѐй, устроился инструктором плавания в школу на грошовую зарплату (зато вожденный здоровый образ жизни!). Правда, судьба хоть чуточку улыбнулась его супруге — хотя какая это, к чёрту, улыбка! Умерли её родители в Казани, но даже чтоб съездить на похороны, денег не было. Мы с Рудалем безвозмездно сбрасывались ей на билеты — Серѐга, кстати, об этом до сих пор не знает. Она продала квартиру в Казани, купила в Кольцово и смогла наконец-то вырваться с дочками из общаги.

И остался Серѐга один. Печальный результат: нищета, уныние, озлобленность и одиночество. И это — здоровый, образованный, неглупый мужик!

ПОЛѐТ

Но как там с мебелью у Рудалья? Его новый компаньон Вова, некогда молодой специалист, тоже когда-то жил с семьѐй в нашей общаге. Первую скрипку в их тандеме играл он, направление деятельности тоже выбрал Вова. Подчинѐнное положение Рудалю не нравилось, поскольку по деловым качествам он был, пожалуй, посильней.

Компаньоны сняли площади в городе и стали торговать. Сразу наехали рѐкетиры, предложили «крышу», явно переоценив «услуги». За «базаром» выяснилось, что они от одного авторитета — бывшего научного сотрудника нашего многострадального института. Подумать только!

Как рассказывали однокурсники будущего авторитета, он со студенческой поры был несколько прибалтнѐнным, занимался запрещѐнным в те годы каратѐ и враждовал с грузинской томской диаспорой. Особенно не любил одного наглого студента якобы княжеских кровей, регулярно «воспитывая» того с помощью грубой физической силы. «Князѐк», который подтверждал высокий титул исключительно деньгами, при помощи своей свиты отвечал ему тем же. Наш каратист опять вылавливал «батонно князька», тот вновь собирал свиту — и так почти всё студенчество. В институте любитель грузин работал старшим научным сотрудником и имел кандидатскую степень. Но выделялся каким-то свирепым, нехарактерным для человека науки взглядом. Рассказывали, что как-то раз даже «навтыкал» заместителю директора по общим вопросам в его кабинете. Видимо, за дело: тот зам, помню, был откровенным хамом и матерщинником.

Склонный к криминалу «сэзнэс» (*в науке произносят именно так*) вѐл с Рудалем одну научную тему, но с началом развала в институте, как и многие, уволился, уехав из Кольцова. Следы его затерялись. Ходили слухи, что он стал вести клуб восточных

единоборств в самом криминальном районе Новосибирска. И вот столь неожиданным образом нашёлся. Рудаль с ним связался, тот, широко улыбаясь, прикатил, свёл дружбу, снизил размер дани почти до нуля. Словом, «базар был перетёрт конкретно».

Кадыров резонно посчитал это своей крупной личной заслугой, что пошатнуло руководящее положение Вовы, начались ссоры, изнурительные выяснения отношений. Вдобавок Литва всё дальше отдалялась от России, время доставки товара и затраты на растаможку росли и росли, цены на мебель тоже неуклонно ползли вверх. Отечественные производители мебели, качество продукции которых стало не хуже, усугубляли их положение. И начала их контора мало-помалу заваливаться набок. Вскоре мебельная тема «волею Божию помре».

Следующим направлением деятельности Рудалья стала оптовая торговля медицинскими препаратами. Аптечная тема была очень перспективной, рынок огромен, почти необъятен. Правда, для работы требовалась лицензия, которую необходимо было переоформлять раз в три года. Напрягали также постоянно меняющиеся правила игры. Но тогда эти правила были ещё сырыми, а штаты фармкомитетов толком не укомплектованными. Коллективы самих аптек — усталые женщины среднего и старшего возраста, необученные плавать в мутном море рыночной стихии. Стали бурно плодиться частные аптечные точки, их тоже требовалось охватить. Новых, агрессивно рекламируемых препаратов развелось видимо-невидимо. И народ с энтузиазмом ринулся лечиться!

Но даже при таких благоприятных условиях Рудаль не стал торопиться оформлять лицензию — это же лишние траты! Чтоб её получить, требовалось иметь помещение под склад площадью не менее 70 квадратов, пару холодильников и вытяжку. Не желая тратиться, наш герой прибил к Сане по прозвищу Хлеб, у которого вожделенная лицензия имелась.

Хлеб — выпускник Томского мединститута, здоровый, красивый и самоуверенный мачо, активный ловелас. Неплохой организатор, про таких говорят — «залезет без мыла в задницу», расчётлив, жаден, позёр и хвастун. Любил вести праздный образ жизни, пить, гулять, играть в футбол.

Рудаль завязал хорошие контакты с Алтайским витаминным заводом, часть продукции реализовывал сам, но большую разменивал у Хлеба и других оптовиков на другие препараты: чем шире предлагаемый ассортимент, тем интересней аптечной рознице с тобой сотрудничать. Сам сортировал, сам фасовал, сам возил товар, предпочитая работать с клиентами по области, где народ попроще.

Но выручаемого чёрного нала Рудалю хватало лишь на поддержание штанов. А вот с безналом, поступавшим на расчётный счёт Хлеба, дело обстояло намного сложнее. Любой перевод упоминал лицензию, а её-то у Рудалья как раз и не было. У Хлеба денюжки всегда водились (содержал четыре аптечные точки), но он патологически не умел с ними расставаться. Рудаль даже сравнивал его с Раджой из «Золотой антилопы»: опасно, говорит, просто давать ему деньги в руки — прилипают, не отодрать. От долга Хлеб не отказывался, но предлагал вернуть его «борзыми щенками», то есть не деньгами, а медикаментами. А их ещё нужно пристроить, получить за них перевод на расчётный счёт Хлеба и вновь услышать песенку про «борзых щенков». Словом, получался замкнутый круг. А уж пожить сладко Хлебушко любил!

Итог: оборотных средств Рудалю не хватало, товар на реализацию давали с неохотой и дороже, а это существенно снижало прибыль. Плюс общее гадливое ощущение. И не поругаться — надо же дальше работать, и не «наехать» — не отказывается же от долга. Я пару раз увещевал Рудалья:

— Выправляй свою лицензию, а лучше открой хотя бы одну аптечную точку, чем ты хуже Хлеба?

— Ну, Петручио, всё не так просто...

И начинались долгие рассуждения: для открытия аптеки надо лицензировать помещение, нанять провизора, продавцов, купить торговое оборудование, кассу. Отладить поставки и учёт намного большего, по сравнению с оптовым, розничного ассортимента. Лекарства нужно где-то хранить, а не только работать «с колёс». В общем, требовалось создать сложную работающую систему, которую, к тому же, намного труднее укрыть от посторонних глаз. Ведь оптовика, особенно мелкого, попробуй вылови!

Тут «на сцену» выходит следующий колоритный персонаж — Игорь Бурлевич, по прозвищу Бур, муж сестры Рудаль Диляры. У зятяка имелся опыт оптовой торговли обувью и трикотажем на рынке в московских Лужниках от фирмы родного брата. Бур, казахский подданный, решил окончательно перебраться с семьёй в Россию, предложив Рудалью обмозговать новую тему: представительство белорусской трикотажной фабрики «Купалинка», а уж «явки, пароли, связи» ему известны. К тому же, преуспевающий брат-москвич пообещал по-родственному дать Игорю хороший кредит на развитие. Шёл уже 1999 год.

Однако и тут имелись несколько существенных «но». Во-первых, отсутствие у Бура собственного первоначального капитала, во-вторых, российского гражданства вместе с социальным пакетом. В-третьих, жить им с дочкой-дошкольницей было негде: двухкомнатную квартиру в Караганде Игорь с Дилярой «продали» за 400 (!) долларов — такая тогда была невесёлая ситуация в Казахстане. Но выручали удивительный оптимизм и доброжелательность Бура, его здоровье (кандидат в мастера спорта по дзюдо) и любовь к музыке. Он сражал нас мастерским исполнением на гитаре «Шутки» Баха, «Грозы» Вивальди или «Каприза» Паганини. Именно он обучил меня первым аккордам на гитаре.

У нас в Сибири предостаточно русских эмигрантов из Казахстана и Средней Азии, и многие из них становятся успешными предпринимателями. Помогают упорство и целеустремлённость, ведь переехать и начать всё с нуля ой как непросто!

Рудаль зарегистрировал Бурлевичей в своей трёхкомнатной квартире, для проживания они сняли пустовавшее жильё наших общих знакомых, уехавших в Штаты. Взвесив все «за» и «против», родственнички решили стартовать в новом для Рудаль направлении. Но, подумал он, полностью уходить из аптечного бизнеса не стоит, пока перспективы трикотажной темы неясны. Хотя Кадыров ничего не терял: ситуация-то теперь под его полным контролем, ведь Буру с семьёй надо было выживать, а потому слушаться.

И двинул Бур, освятив себя крестным знаменем, в братскую Беларусь за товаром. Правда, своенравная Диляра решила от них не зависеть и устроилась бухгалтером в пельменный цех. Муженёк с братцем негодовали, особенно Рудаль, он был убеждён: сестрица обязана работать только с ними и «под ними». Я успокаивал его: что ж поделаешь, родная кровь — такая же упрямая, как и ты!

Боже, как они ждали тот судьбоносный контейнер с трикотажем! На Игоря было больно смотреть, каждое утро начиналось с его нервного звонка в транспортную компанию: где вагон?! Наконец-то, контейнер пришёл! Зятяки сняли склад, квадратов тридцать, и Бур ушёл туда «жить». Казалось, что, с упоением перекладывая каждое изделие, он после всех стрессов проходил на складе курс психологической реабилитации.

Тут Рудаль, хозяйски пощёлкивая пальцами, показал себя как бай во всей красе. Бур мирился с этим, хотя Кадыров, как коммерсант, объективно был сильнее. Наш герой аж лицом посветлел: наконец-то у него такой послушный компаньон! Игорёк всегда был холён и опрятен. Он даже на склад приходил прекрасно одетым, с кожаной папкой под мышкой — солидный и красивый. Однажды Рудаль заявился туда ближе к обеду, как всегда отдуваясь после быстрой ходьбы, в лёгонькой рубашке с короткими рукавами и в штиблетах. Когда он взбегал по лесенке, его вдруг окликнула уборщица, подошла и, осторожно оглянувшись, заботливо предупредила шёпотом: «А шеф-то ваш уже пришёл!»

Товар они, в основном, сдавали на реализацию мелким оптом. Мало-помалу пошла прибыль. И когда возникла ещё одна интересная тема, стало возможным отвлечься и на неё.

В Горном Алтае, в районном центре Турочак жил-был Лёша Иванов, выпускник Казанского университета, с кафедры охраны природы. По распределению он отбыл в «солнечный» Магадан. Зашибив приличную деньгу, Лёша решил вернуться, как там выражаются, на материк. Купил квартиру в Бийске, женился, сотворил дочь, развёлся, разменял жильё, перевёз мать с Украины. Перебрался в Турочак и, продав свою долю бийской недвижимости, построил хороший двухэтажный дом. Уф! Перевёл дух. Огляделся... Оценил положение...

Спору нет, природа кругом красивая: алтайские горы, прекрасная тайга, стремительная Бия, на берегу которой горделиво высится его дом, недалеко живописное Телецкое озеро. Но заняться нечем, местное население весьма специфично, цивилизация не близко...

Но вот в 2000 году выдался богатейший урожай кедрового ореха. Иванов подбросил идею всемогущему Рудалю — отчего бы на этом не заработать? Кадыров мгновенно собрал приличную сумму, даже меня уболтал одолжить на дело. Разместил, где мог, рекламные объявления о сдаче ореха оптом и командировал в Турочак Бура и ещё одного мужичка. Сам же остался на связи. Иванов оперативно запустил информацию о приёме ореха — и вот, с ближних и дальних улусов алтайцы, кто на коне, кто на своих двоих, потянулись к его дому, предвкушая волнуемое свидание с «огненной водой» на вырученные за орех деньги. Нашим героям оставалось только взвешивать товар и складировать его для просушки в снях дома. Ну и баловаться водочкой, париться в баньке, сигая нагишом в Бию, да развлекаться с аборигеночками.

Вскоре в Новосибирск пошёл первый КамАЗ с орехом нового урожая. Оптовики мигом расхватили товар прямо с колёс, рентабельность рейса составила 400%! Срочно пошёл второй КамАЗ — навар уменьшился уже наполовину. А третья ходка дала совсем небольшой прибыток: рынок, знаете ли. Рудаль трезво оценил ситуацию и вынес жёсткий вердикт: «Мужики, всё, «путина» окончена». Однако Иванов, не вняв советам, через неделю после отъезда удалой команды «купцов» пригнал в Новосибирск четвёртый КамАЗ. Сдал уже себе в убыток, да за транспорт... Но на водку и обратную дорогу неудачливому «алтайцу» мужики всё же скинулись.

Однако результат проведённой операции был, в целом, блестящим. Бур прибарихлился, купил жене норковую шубу. А Рудаль поменял свою трёхкомнатную квартиру на четырёхкомнатную. Меня это крайне удивило: так бездарно растратить драгоценный капитал, столь легко упавший с небес, точнее, с кедров! Но Кадыров напомнил: «Я, Петручио, рискую только чужими деньгами». Хлебу своё кредо он как-то изложил ещё более кратко: «Зарабатывать — на кредитных, заработанные — прожигать!»

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

А что же трикотаж? Жалобы Рудалю с Буром на конкурентов, у которых, язви их в печень, почему-то всегда изыскивались возможности для увеличения оборотов, я пропускал мимо ушей: помнил, как растеклись кедровые денежки.

Вскоре случилась катастрофа. Компаньон брата Бурлевича, которого Игорь и сам, вроде бы, неплохо знал, предложил большую партию игл для швейного производства по очень низкой цене. Более того, «Купалинка» согласилась взять иглы в зачёт оплаты очередной партии товара, причём по хорошей цене. Возникал приличный навар на пустом месте. Сделка состоялась, иглы поехали из Москвы напрямик в Беларусь. Но когда Бур прибыл за товаром, его «обрадовали» — вся партия игл бракованная, можем-де вернуть её назад. Как и следовало ожидать, московский поставщик послал Бура подальше вместе с иглами, вдобавок выяснилось, что бессовестный «кидала» и брату Игоря стал злейшим врагом — они полностью прекратили совместные дела и разорвали личные отношения.

Ау-у, ореховый гешефт! Имейся запас прочности в виде достаточного оборотного капитала, положение выглядело бы не столь критичным. Но, увы! Это был сокрушительный удар, на развитии направления ставился крест. Подавленный Бур попросил Рудалю отдать его долю деньгами, исходя из стоимости оставшегося нерезализованным на тот момент товара.

— Ты понимаешь, что кончишься как равноправный компаньон? — разочарованно спросил Рудаль, вспомнив, сколько поначалу у Игоря было амбиций.

— Да, понимаю... — грустно выдохнул Бур.

Отдадим должное Рудалю: сумев реализовать остатки товара, он не только вернул Буру его долю, но и закрыл все долги.

Игорёк скис, и тут Диляра доказала, что была дальновидна, не связавшись с ними. Всё время хандры Бура она кормила семью, к тому же дочь пошла в школу — расходы, расходы, расходы. На службе её ценили, дали приличный оклад, да и пельмени с варениками (немного разрешалось брать домой бесплатно) позволяли чуточку экономить. Благодарное руководство Диляры даже помогло ей с ипотекой. Впрочем Игорь быстро взял себя в руки. А вскоре они получили российское гражданство.

Кто виноват? и что делать? Извечные русские вопросы. И если на первый вопрос ответ был очевиден, то второй для Рудалю с Игорем был намного сложнее. Хорошо хоть, не «загнулся» потихоньку хромавший лекарственный бизнес. Правда, к тому времени, а шёл уже 2001 год, на аптечном рынке произошли кардинальные изменения.

Во-первых, определились игроки-лидеры, имевшие огромные обороты и самый полный ассортимент медикаментов по низким ценам. Плюс их мощная рекламная раскрутка, удобные сайты, оперативная бесплатная доставка товара в аптеки. В Новосибирске — это, прежде всего, фирма «Катрен», имеющая немало филиалов по России. Во-вторых, увидело свет постановление, запрещающее розничную торговлю вне специализированных помещений площадью менее 70 квадратных метров, то есть аптек. Это приговорило к смерти разветвлённую сеть мелких аптечных точек, резко сузив поле деятельности для оптовиков. В-третьих, муниципальным аптекам вообще не оставили выбора, административно закрепили их за определёнными поставщиками. В-четвёртых, ужесточились правила выдачи лицензий. Честно говоря, этого и следовало ожидать: аптечный рынок — вещь особая.

А в-пятых... аббревиатура «ИП (индивидуальный предприниматель) Кадыров» стала звучать несколько одиозно, поскольку к власти в Чечне пришёл ныне покойный президент Ахмад Кадыров. Как однажды, вздохнув, промолвил однофамилец че-

ченского президента: «С некоторых пор перестали переспрашивать мою фамилию...» К счастью, он не успел ликвидировать своё ООО «Купалинка» (название дублировало имя белорусской трикотажной фабрики, полноценного сотрудничества с которой толком так и не сложилось).

В таких условиях смешно было сохранять существовавшую схему сотрудничества с Хлебом, метко именуемую в народе «на подсосе». Пришлось сделать то, что давно уже полагалось: выправить собственную лицензию. Не стану перегружать деталями, Рудаль её всё же сделал. Ура! Казалось, на три года (срок действия лицензии) о многом можно было забыть. Помещение под аптечный склад ему по знакомству выделил тогдашний директор торгового центра Кольцова Сан Саныч. Душа компании и азартный игрок, он вместе с нами ходил к Рудалю в гости пить водочку и играть в бильярд, шахматы и преферанс (у Рудалья дома сейчас что-то вроде мужского клуба).

Кадыров даже попытался открыть аптеку в Санычевом ТЦ. Он подыскал для неё более чем удачное место, предложив Санычу войти в долю. Директор с большим энтузиазмом отнёсся к этому. Окрылённые надеждой компаньоны тут же взялись за планировку помещений — Саныч даже своим кабинетом пожертвовал, поскольку он находился рядом с предполагаемым входом. Они получили согласования пожарных, СЭС и других служб, но не срослось с главным: разрешением со стороны администрации посёлка. Не хватило, как сейчас выражаются, административного ресурса: начиналась компания по реорганизации всей системы торговли в Кольцово, и Саныч стал стремительно терять свой некогда непререкаемый авторитет главного торговца нашего посёлка. В результате, плодами трудов Рудалья и Саныча воспользовался другой, более удачливый и разворотливый «аптечник».

Вскоре Саныч вообще лишился тёплого места директора ТЦ, и Рудаль перевёз своё хозяйство в небольшую комнатку в подвале одной школы, но это помещение ни за что бы не лицензировали. Более того, комиссия могла нагряться с проверкой без предупреждения. Последствия такой проверки сомнений не вызывали. Что ни говори, всё-таки правильно стали наводить порядок на аптечном рынке, уж прости меня, Рудаль, за откровенность.

Но жизнь текла своим чередом, комиссии не беспокоили, благо, Кольцово на отшибе. Ну и не без светлых полос в жизни: в директоры Новосибирского завода медбиопрепаратов прошёл по конкурсу бывший сотрудник нашего института Сергей Косых, хороший товарищ Рудалья. Кое-что Рудалю удавалось перехватывать от него по низким ценам на льготных условиях, даже Хлеб завидовал. Однако из-за «Катрена» и других китов рынка, полноценное сотрудничество Рудалю удавалось только с аптеками по районам области. Заодно удалось пристроить Бура менеджером в коммерческий отдел этого предприятия. Жизнь у него сразу же наполнилась новым содержанием, чему мы все, естественно, были очень рады.

Далее, увы, по логике, тёмная полоса жизни. Чем ближе подходило время окончания действия лицензии, тем острее вставал вопрос: что же дальше. Дальнейшего развития лекарственной темы не просматривалось, работать же на кого-то Рудаль не умел.

Изыскивая любую возможность заработать, Кадыров даже оптовыми закупками мяса в Казахстане успел позаниматься. В теории обещала возникнуть двойная прибыль, на практике же не заработал ничего. Ещё и еле ноги унёс, причём в буквальном смысле, пару раз чуть не лишившись жизни. Провёл он там более месяца, поведая по возвращении о своих приключениях.

Больше всего Рудалья поразило чисто восточное коварство, с которым ранее в жизни сталкиваться не доводилось, хотя он сам считает себя отчасти восточным челове-

ком. Ему и в голову не приходило, что один обман может накручиваться на другой, как проценты на проценты: «Вот представьте, вы пришли на наш рынок, видите, что вас обвешивают, но закрываете на это глаза, позволяя слегка себя обмануть. После этого вы уверены, что, по крайней мере, обсчитывать уже не станут — совести не хватит. Но там, оказалось, хватит! Тебя сначала обвесят, потом обсчитают, потом, уже обвесив и обсчитав, отдадут не всю сдачу. А та, что получишь, окажется фальшивыми бумажками...»

Женя, помню, резюмировал:

— Рудаль, знаешь, в чём твоя ошибка? Ты был один, без команды, как всегда. Ты бегал, суетился, торговался. Ты не производил впечатления, а на Востоке признают только силу. Силу и внешнюю солидность. В следующий раз возьми с собой компаньона, можно глухонемого, но обязательно большого и толстого, как я.

— Это ещё зачем?

— А ты говори всем, что это твой босс. И продолжай бегать, торговаться. Казахи тоже будут суетиться, но при этом непременно одним глазом всё время будут косить на твоего «босса»: а как он реагирует? Потом станут обсуждать между собой: «Крутой! Слова не сказал, глазом не моргнул! Серьёзные ребята, надо с ними работать честно...»

Мы посмеялись, однако в словах Жени мелькнула очень здравая мысль...

И тут на свет ramпы выходит новый персонаж — Боря, точнее, Борис Владимирович, колоритный человек широкой души, мастер спорта по борьбе. Боря утверждал, что одно время даже тренировался с трёхкратным олимпийским чемпионом Карелиным, которого якобы хорошо знал. Забегая вперёд, скажу, он много кого якобы хорошо знал, только вот это самое «якобы» не обойти, не объехать. Трижды женат, четыре дочери самых разных возрастов, последняя жена была младше старшей дочери, а младшая дочь чуть старше внучки.

По натуре Боря — Авантюрист с большой буквы. Занимался то лесом, то щебнем, то пилорамой, то автостоянками. Поначалу всегда успешно, но потом, посчитав, что «дело в шляпе», уходил то в запой, то в очередной роман, то в охоту или рыбалку, благо здоровье и жажда жизни позволяли. Даже в КПЗ пару месяцев сидел. Исповедовал удивительный принцип: можно «кинуть» — «кидай». Потому и конфликты с кредиторами постоянно происходили, как-то раз ему даже дом подожгли. Познакомились они с Рудалем случайно: последняя Борина жена и одна из подруг Рудалья были двоюродными сёстрами.

И потянулись друг к другу родственные души авантюристов. Боря подбил Рудалья на строительство автостоянки. Кадыров подготовил для этого финансовую основу: вывел часть активов из бесперспективного для него аптечного бизнеса, продал гараж — жизнь всё же немного подкорректировала его принципы. Необходимо отметить, автостояночный бизнес очень криминализован: просто так стоянку не откроешь. Чем ниже затратность и выше доходность, тем больше шансов, что тебе открутят голову, только сунься. Но Боря уверял, что у него всё «схвачено», тылы прикрыты, на бумаге расчёты выглядели прекрасно, хотя я сразу поделился с Рудалем своим предчувствием: ставишь, мол, не на того игрока. Если к «полтиннику» не нажито ничего, кроме понтов и богатой биографии, уже ничего и не наживётся, всё остальное — треп. Но Рудаль, не прислушавшись ко мне, зажёгся новой идеей.

Они огородили территорию, разровняли щебень, поставили будку, наняли штат охранников, провели освещение. Постепенно набралась постоянная клиентура, каждый день чистоганом выходила приличная сумма. Бойцовские качества Бори тожегодились, ибо охранники регулярно напивались, срывали графики дежурств, что-

то портили. За это полагалось увольнение или, в случае прощения, лёгкий «грим на лицо». Правда, если охранника всё-таки выгоняли, «грим» он тоже получал, причём немного потяжелее — на прощание и в назидание другим.

Словом, дело пошло. Боря даже начал пространно рассуждать, надо ли Рудалью заниматься стоянкой, «он же такой умный!» Но дальше намёков не шло, что успокаивало. Смущало одно: никак не могли оформить документы на землю под стоянкой. Однако Боря уверял, что это временно, у него, мол, и в администрации района города, где работала стоянка, всё схвачено. Но минул месяц, другой, третий... Рудаль и сам стал чують — что-то не то, что-то не то...

И вот, в один «прекрасный» день на территории стоянки появились двое незнакомых, которые, культурно поздоровавшись, представили Боре пакет документов на землю под этой стоянкой, попросив освободить площадь. О буре эмоций и фонтанах речеизвержений упоминать нет смысла, ибо всё это никакого отношения к делу не имело, что с грустью осознавал и сам Боря. Апелляция к «крыше» пользы не принесла: «наехавшие» на стоянку братки сами были ею. Благо, вняв внутреннему голосу разума, Рудаль к тому моменту успел вывести основную часть своего вклада в эту авантюру. Остатки он добирал года два, даже забрав в счёт погашения долга Бороно охотничье ружьё, но где-то на тридцатку пришлось махнуть рукой. «Да, — подвёл итог грустной теме Рудаль, — стоянку у Бори отобрали, как у ребёнка!»

Тут новая напасть. Директором завода медбиопрепаратов, где работал Бур, вплотную занялся ОБЭП, даже сюжет по местному телевидению о махинациях на том заводе показывали. Результат плачевен: Бур вылетел с тёплого места, видимо, тоже кое в чём «поучаствовал».

Конечно, можно было бы ещё немного подёргаться в дышащем на ладан аптечном направлении. Но, работая без лицензии, в «чёрную», приходилось постоянно рисковать, либо опять требовалось под кого-то «ложиться». Про Хлеба Рудаль и слышать не хотел. Продержаться некоторое время на плаву помогла Лиля Гайфуллина — коллега по бизнесу и однокурсница Рудалья. У неё была фармлицензия, поэтому он немного поработал от её фирмы. Она же впоследствии приняла на реализацию от Рудалья все остатки товара, когда лекарственная тема, в конце концов, приказала долго жить.

«На колу — мочало, начинай сначала». Бур с Рудалем вновь стали раскидывать мозгами: что делать? Правда, теперь и у Бура имелся некоторый капиталец. Нужна была новая тема. Уже не помню, с чьей подачи она возникла! Маршрутное такси, в просторечии — «маршрутка».

Зятья купили «Газель» в равных долях, оформили транспортную лицензию, получили маршрут — неплохой, денежный. Кураторы маршрутов предпочитают иметь дело с шоферами-собственниками автомобилей, на руку и статус семейного человека (Рудаль официально развода не оформлял). Предполагалось, заработав денег, нанять водилу, купить вторую машину. Затем третью, и... как сказал поэт, «я планов наших люблю громадьё». Что ж, это вполне похвально.

Но (опять треклятое «но»)... Началось с того, что они взяли машину, собранную в конце года. Точнее, со слов Рудалья, выбрал её Бур. Поэтому «Газель» слишком долго протягивалась и, хотя была на гарантийном обслуживании, нередко выбывала из строя. А это финансовые потери, ведь сперва требовалось её окупить, и только потом считать прибыль. Грызлись из-за графика вождений: каждый хотел отдыхать в выходные. Прежде чем кого-то нанимать, требовалось закрепиться на маршруте, проконтролировать расход бензина, изучить все подводные камни. В перспективе сидеть за баранкой ни Рудаль, ни Бур не собирались.

Новые приключения долго себя ожидать не заставили. Однажды их маршрутку послали на межгород, в Томск. Маршрутники это любят: деньги те же, а нервотрёпки по сравнению с мотаньем по городу несравнимо меньше. Пылишь себе по трассе и не думаешь, все ли пассажиры рассчитались, или что какой-нибудь конкурент собрался подрезать перед самой остановкой.

Поехал Рудаль. Стояла зима, мороз под тридцать, но в салоне тепло, урчит мотор, сонно мурлычет радио, бежит навстречу трасса. И вдруг машину задёргло, движок заглох, не желая заводиться — карбюратор. Салон махом остыл, через десять минут пассажиры стали напоминать больших воробушков на канализационном люке в морозный денёк. Хорошо хоть орать не стали, понимая, что только от правильности действий водилы зависит их дальнейшая судьба. Хмурый Рудаль не слушающимися на морозе руками снял карбюратор, разобрал его, продул, поправил иглу, поставил назад и, закрыв глаза, пробормотал: «Ля илляхем илля Аллах...» Повернул ключ зажигания... и, о небо, машина завелась! Всё «удовольствие» длилось каких-то полчаса.

А ведь вечером ещё с людьми назад (в обе стороны почти 600 километров)! Весь обратный путь Рудаль возносил хвалу Всевышнему и упражнялся в «великом и могучем», точнее, в его нецензурной составляющей, предназначенной для Бура. «Ведь днём раньше ... (нехорошее слово) просил его, как человека, посмотреть карбюратор, который ... (нехорошее слово) давно барахлил!» Но ничего, обошлось, доехал. Я же сделал для себя вывод, которым великодушно делюсь с вами: зимой на маршрутках на межгород не ездить!

Шло время, копились впечатления: то Бур, вспомнив приёмы дзюдо, кого-то выбрасывал из салона, то какие-то обкурившиеся придурки с ружьём припёрлись на стоянку маршруток якобы за данью, то очередная разборка с шофёром-«тянулой». Когда мало пассажиров (утром — из города, вечером — в город), некоторые маршрутники, желая побольше срубить, специально выбиваются из графика и затягивают движение. Тогда следующему маршрутнику, идущему по своему графику, приходится вообще ехать пустым: его пассажиры уже собраны «тянулой». Правда, такие «химики» на маршрутах долго не задерживаются: водилы быстро с ними разбираются.

Да, работа маршрутника — каторжный труд. Бур за два месяца скинул десятка полтора кило, это вам не в офисе сидеть. Денег на жизнь хватало, но на развитие бизнеса — нет. К тому же Рудаль, заделавшись заправским маршрутником, как ни крути, понизил свой статус в наших глазах.

Как-то за кружкой пива я задал ему вопрос:

- Рудаль, как получилось, что ты задержался за рулём маршрутки?
- Ну, Петручио, ты знаешь, в жизни нужно всё попробовать, чтоб...

И «тэдэ», и «тэпэ». Каюсь, с моей стороны было незтично так жёстко ставить вопрос, но всё же есть некоторые аксиомы жизни. Дело в том, что когда-то, в пору заката моей научной карьеры, мы с будущим компаньоном Женей «покалымили» ночью на его «Жигулях» от безденежья (я выступал в роли бодигарда). Знаете ли, мне хватило одной ночи. Поэтому был сделан вывод: если есть голова, она должна работать, а потом уже руки. Это я Рудалю, умному предприимчивому мужику с университетским образованием, и напомнил.

Он, глубоко вздохнув, задумался и стал качать головой.

- Да, да, Петручио, ты прав. Я глубоко сожалею, что влез во всё это.

Дальше — хуже. Бур стал лихачить, подрезать машины, не пускать другой транспорт к остановкам, словом, делать то, за что так не любят водителей маршруток все, кто за рулём. Рудаль часто с ним из-за этого ругался, но тому — как об стенку горох: ты-де ещё будешь учить меня ездить! Таким образом Бур протестовал против моно-

полно присвоенного Рудалем права руководить всем и вся. Но тут правота Кадырова была очевидна.

И вот однажды, морозным зимним вечером, зазвонил мой мобильный. Бур дрожащим голосом попросил подъехать, чтоб оттащить его «Газель» в Кольцово. Выяснилось, что за городом, на подъёме, он неосмотрительно пошёл на обгон и, уводя машину на обочину от лобового столкновения, чуть не улетел под откос! Спас маленький придорожный столбик, но удар был такой силы, что, пробив бампер и радиатор, повёл раму. Бур благодарил Господа нашего Иисуса Христа, что ни с кем из пассажиров ничего не случилось, лишь одна женщина разбила колено. Он умолил их о ДТП никуда не сообщать, раздав перепуганным пассажирам все заработанные за день деньги. Оттащили мы его домой, естественно, бесплатно.

Рудаль был вне себя от гнева, в очередной раз поклявшись больше с Буром дел не иметь. Много денег ушло на ремонт, плюс убытки от простоя. Теперь уже Кадыров потребовал от Бура вернуть свою долю стоимости машины, заметно уменьшившейся после ДТП (её на скорости постоянно вело вбок). Игорь пообещал. А вскоре, став единоличным хозяином «Газели», нанял водилу: каждый день одному работать невозможно.

В целом, ситуация не выглядела критической: машина твоя, стисни зубы и паши дальше, лишь сделай правильные выводы из случившегося. Но Бур стал филонить: то полдня проваляется дома, то в выходные не выйдёт на работу. При этом постоянно жаловался на нанятого водилу: сцепление рвёт, трогается со второй скорости, тормозит движком. Как услышит по мобильнику его голос, сразу, побелев, в крик: «Что с машиной?!»

Я понял: долго так не продлится. И действительно, в один прекрасный день Игорь бодрым голосом пригласил меня отметить продажу «Газели». Он рассчитался с Рудалем и был счастлив!

ЭПИЛОГ

Прошло более двух лет. Что вместили эти годы? Многое. Не сложилась супружеская жизнь и у Бура, с Диларой они развелись, но горячо любимая Игорем дочь их, безусловно, связывает. Умница Дилара, упорно шагая по тернистой дороге жизни, построила квартиру, прикупила небольшую дачку.

Прошедший период включил в себя дальнейшую совместную деятельность бывших зятьков, несмотря на зарок Рудалья больше с Буром не связываться. Они по-настоящему сроднились, хотя формально перестали приходиться друг другу родственниками. Занимались бытовой химией, ставили деревянные срубы.

Евгений также предлагал объединить усилия нашего квартета и заняться выпечкой блинов, выправив франшизу. На учредительном заседании Рудаль предложил назвать будущее предприятие «Ой, блин!», но этим всё и ограничилось. Я настаивал на равном долевом участии обоих дуэтов, но, к сожалению, финансовые возможности оказались неравными. Поэтому обсуждение новой темы быстро переросло в весёлые «поминки» по предприятию общественного питания, так и не увидевшему свет Божий.

Бур вернулся за руль маршрутки, поселился у одной приятной женщины, которую зовёт сейчас женою. А Рудаль, подобно Петру I, увлёкся плотницким делом. Правда, плотничал, как и Пётр Великий, не более полугода, учился. Затем, руководя полуправильной, по сути, фирмой, построил не один десяток деревянных домов. К своему новому ремеслу он тоже подходил творчески: освоил компьютерное моделирование

будущих построек, вызывая искреннее изумление своих коллег, а также изобрёл станок для оцилиндровки, равного которому в стране нет.

Обычно бревно крепят к деревообрабатывающему станку, поэтому станок должен быть тяжёлым, чтобы бревно удерживать. Рудалью пришла в голову нестандартная мысль: а что, если не бревно крепить к станку, а наоборот — станок прикрепить к бревну?! В результате, его станок вмещался в багажник легковушки, тогда как обычно для перевозки аналогичного станка требуется, как минимум, «Газель», а то и КамАЗ с краном.

Запатентовано ли изобретение? Нет. Рудаль вообще колеблется — стоит ли? Хочет выложить в интернет — пусть люди пользуются. Волнуется лишь о том, чтоб не затерялось всё это в бездонных дебрях всемирной паутины.

Рудаль обеспечил собственным жильём сына и считает, что больше никому не должен. А потому вплотную приступил к осуществлению своей давней мечты: построить добротный дом в Турочаке, чтоб, поселившись в нём на старости лет, провести остатки дней в душевном спокойствии и слиянии с алтайской природой под мерный шум красавицы Бии. Что ж, видимо, как и булгаковский Мастер, «он не заслужил рая, он заслужил покой»...

Но образованность и научное прошлое Рудалья материализовались ещё в одной неожиданной сфере приложения его могучего интеллекта: новаторском развитии теории эволюционного процесса. Весь длительный период хождения в бизнес, который Рудаль, как и я, считает вынужденным явлением, он не «выключал» головы, обдумывая на досуге серьёзнейшие вещи. На моих глазах Рудаль сперва изложил постулаты, а затем набросал, в виде статьи, тезисы новой теории «абсолютно шумового гена». Я не исключаю, что это произведёт, извините за каламбур, революцию в теории эволюции, и его имя прогремит и без моего Сказа. Заинтриговал? То-то же. Но это, как говорится, совсем другая история...

* * *

Понравились ли вам, друзья, герои Сказа? Лично мне импонируют предприимчивость и находчивость, настойчивость и жизненный оптимизм большинства из них. Их активность создаёт определённую ауру, своеобразный и неповторимый колорит уникальной эпохи в истории нашей страны.

Не всегда достаточно иметь только хорошую голову и оригинальные идеи. Всё это у Рудалья было, да и сейчас есть. Важны ещё элемент удачи, консенсус с властью и, на мой взгляд, главное — системный подход к любому делу. Человеческая жизнь сродни рукописи, а время — редактор. Как будет отредактирован текст? Время покажет. Но, как известно, рукописи не горят.





Юрий Кузнецов и Россия. Сборник материалов четвёртой ежегодной международной конференции, посвящённой творческому наследию Ю. П. Кузнецова. 2011. г. Москва. 445 с.

Сборник выпущен по материалам научно-практической конференции, проведённой 17–18 февраля 2010 года Литературным институтом им. А.М. Горького, Институтом мировой литературы РАН, Союзом писателей России, Бюро пропаганды художественной литературы. Он включает в себя воспоминания, доклады, речи и исследования.

Со времён Г.Р. Державина российские поэты ориентируются на две основные идеи: «Национальный поэт», то есть глас народный, каким был в своё время Н.А. Некрасов, и «Певец любви, певец своей печали», какими предстают авторы, стремящиеся к предельному самовыражению и самоутверждению. Последняя идея гораздо популярнее. Оно и понятно — быть национальным поэтом небезопасно даже в демократической стране. Национальный поэт — прежде всего обобщение духовного и политического опыта Отечества с первых времён до сегодняшнего дня. Современные поэты более играют в эту идею, чем стремятся реализовать в ней. Так пишет в открывающей сборник статье В.В. Иванов, сравнивая Юрия Кузнецова и современных авторов, претендующих на высокое звание поэта. Он убедительно доказывает, что Ю. Кузнецов современнее многих ныне здравствующих стихотворцев. В работах, включённых в сборник, рассматриваются и философские, и религиозные, и национальные аспекты творчества одного из последних настоящих творцов. Сборник интересен не только личностью самого Ю. Кузнецова, многие из авторов которого знали его лично, но и атмосферой того времени, когда были возможны личности, подобные ему. Времени общегосударственных забот, традиций, великих целей.

Как говорят, всегда приятно пообщаться с умными людьми. А среди авторов сборника их предостаточно. Так что, читая сборник, невольно ловишь себя на мысли, что попал в умную и душевную компанию, мнение каждого из которой достойно внимания. Есть с чем согласиться, есть с чем поспорить.



Союз российских писателей. (Хроника событий 2010). Кемерово. Издательство «Кузбассвузиздат». 2012 г. 747 с.

В сборник вошли материалы мониторинга творческой и социальной активности Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» за 2010 год. Идея продолжающегося многотомного издания, освещающего наиболее яркие события в жизни творческого Союза возникла у составителей книги после IV отчётно-выборного Съезда СРП (июнь 2009), на котором поднимались вопросы совершенствования информационной политики. Всего через месяц после его проведения в Интернете был создан специальный информационный блог Союза российских писателей (<http://sprkem.livejournal.com>), на основе которого авторы приступили к сбору обширной

базы данных, и возникло предлагаемое издание. Использовались, конечно, и личные блоги, и сайты ряда писателей. Авторы издания тревожат, что в общем потоке новостей доля, касающаяся писателей, не составляет и одного процента, а новости запаздывают на недели и даже месяцы. Порой доходит до абсурда. Так «Литературная газета» уделила последнему съезду СРП всего... 4 строки!. Болезненно стоит вопрос и о достоверности передаваемой информации.

Сборник издан Кемеровским издательством «Кузбассвуиздат», и это о многом говорит. Культурная аура провинции, одной из самых деятельных опор которой являются литературные организации и СРП, в частности, кажется забытой. А ведь она и есть часть российской жизни, весомая часть, поскольку Россия – страна малых городов, где, тем не менее, вырывают таланты, которые оставляют осязаемый след в истории нашей культуры. Все те, кто упоминается в Хронике живут и творят именно в глубинке, а не в столицах.

Особо хочется отметить, что авторы издания не пропустили в хрониках событий и выхода в свет нашего альманаха «Аргмак» со списками публикаций и авторов, другие литературные события, происходившие в 2010 году в Татарстане. В предлагаемой Хронике авторы пытаются передать некий срез культурного и нравственного состояния России в наше смутное время. И за это огромное им спасибо. Жизнь покажет – будут ли продолжения у этих Хроник. Но всё равно – «в добрый путь...»



Александр Аввакумов. Кровь на колесах. 2011. Казань. 394 с.

Тема «лихих девяностых» не даёт покоя ряду современных авторов. Особенно сотрудникам правоохранительных органов, непосредственно принимавших участие в противодействии организованной преступности в этот период. Это неудивительно, потому что в мемуарной литературе принято обращаться к временам, связанным с наивысшими их (авторов) пиками активной деятельности, знаковыми для судеб и по большому счёту определяющими дальнейшее развитие общества.

В предисловии к книге сказано, что автор создал не просто детектив, а документальную повесть. Сразу скажу, что не согласен. Получился, скорее, детектив, претендующий на документальность. Здесь и главный герой – следователь Абрамов, в котором без труда угадывается автор наперекор завистникам и просто коррумпированным начальникам удачно и профессионально раскрывающий сложные преступления, хотя в методах своих действует порой «по-жегловски». Можно отметить и не совсем удачные диалоги, размышления автора о природе человеческой сущности. Порой встречается и надуманная драматизация происходящих событий. Значительное место в романе уделяется работе и взаимоотношениям различных служб милиции и КГБ. Кстати, описание последних идёт непрерывно в русле всего произведения и читается не менее увлекательно, чем раскрытие самих преступлений.

В основе произведения лежат реальные преступления и реальные люди. И хотя автор намеренно изменил их, зашифровал адреса, понятно, что им переработан громадный фактический материал, что и делает произведение интересным широкому кругу читателей.



Анатолий Строкин. Не о любви не бывает стихов. Нижний Новгород. Издательство «Вертикаль. XXI век». 2012. 150 с.

Это третья книга стихов нижегородского поэта Анатолия Строкина. В сборник вошли не только новые стихи, написанные в последние годы, но и лучшее из ранее им созданного, правда, в значительно переработанном и исправленном виде. Первое, что обращает на себя внимание в лирике А. Строкина, – пронзительная любовь к своей Родине, к России. Этим чувством дышит буквально каждая строчка его стихов. Здесь и отголоски

вечности, связь с исконно славянским мирозданием. Своё душевное состояние автор чаще всего передаёт через картины природы, окружающие его пейзажи. Строкин – поэт русской традиционной литературной школы. В его стихах без труда можно найти отголоски пушкинской, некрасовской, есенинской, рубцовской лиры:

*В бороздах стоит вода
И не сохнут простыни.
На провисших проводах –
Гроздь слёзных россыпей.
Глухомань – по всей земле.
В конуре барбосина.
Хорошо сидеть в тепле
У окошка осенью.*

Стихи автора порой очень просты и открыты. Но это именно та простота, которая даётся большим талантом и трудом.



Евгений Чигрин. Погонщик. Екатеринбург. ОАО «ИПП Уральский рабочий». 2011. 123 с.

Евгений Чигрин – один из ярких представителей современного поэтического ландшафта. Его язык богат, обширен и разнообразен – в нём умещается и «высокое косноязычье», и чересполосица речевых и жанровых заимствований из XVIII века и современного сленга. Его поэтические подборки публиковались в «Новом мире», «Дружбе народов», «Звезде» и других литературных журналах, а также в ряде престижных европейских и российских антологий. В книгу «Погонщик» вошли произведения последних лет. Сборник разбит на четыре части: «Островистые земли», «Колониальные песни», «Смычковая музыка», «Подводный шар». Читать стихи Е. Чигрина непросто. Они не всегда воспринимаются «с лёту».

Евгений Рейн о его сборнике сказал: « Эта книга похожа на коллекцию почтовых марок, на игру с географическими картами. Но детское и яркое – безусловные признаки настоящей поэзии. У Чигрина своя, не заёмная лирическая дерзость. Быть может, от его нестоличного провинциального происхождения, а, может быть, оттого, что он сохранил в душе удивление мальчика перед картинкой в книге о путешествии, перед бабочкой в сачке, перед птицей, распевавшей на ветке. Словарь Чигрина пёстр и свеж, эпитеты похожи на коктейльную гальку, облитую волной прилива...».



Светлана Грунис-Ивличева. Форте... пьяно... Казань. 2012 г. 95 с.

Это третья книга казанской поэтессы, состоящая из восьми разделов – любовная лирика и размышления о жизни, о Боге, посвящения любимым поэтам-классикам и погодно-природные зарисовки, шуточные стихи на разные темы, хокку на русском и английском языках.

Физик по образованию, Светлана Грунис-Ивличева в душе несомненно лирик. Стихи её волнуют глубиной чувств, искренностью. Создаётся ощущение, что автор подводит промежуточный итог жизни, уходит в воспоминания, анализирует прошлое и грустит о нём.

Отдельно о жанре хокку, который так близок автору. Признаться, всегда с некоторым недоверием приступаешь к чтению их в исполнении отечественных авторов. Ну не наше это! Надо быть, по меньшей мере человеком природной восточной философии и образа мыслей, чтобы работать в этом жанре. Поэтому присутствует некоторая уже заданная предубежденность. И если строго подходить к этой теме, вовсе не каждое трёхстишие – хокку. **Хокку** (иначе, хайку) – жанр и форма японской поэзии; трёхстишие,

состоящее из двух опоясывающих пятисложных стихов и одного семисложного посередине. Однако миниатюрные поэтические формы, созданные казанской поэтессой, на редкость точны, и образы их полностью соответствуют настроению автора:

*Стрекозы и бабочки
Рисуют в воздухе
Вязь жизни.*

*В лесу ищу грибы.
Дозор мухоморов
Отвлекает внимание.*



Владимир Акимов. Альбом-книга. 2012 г. Казань. «Идеал-Пресс». 157 с.

Владимир Акимов – один из самых замечательных и самобытных художников Татарстана. Мастер создал неповторимый и вместе с тем универсальный тип героя, в котором органично соединились босховская, брейгелевская, далианская и собственно акимовская символика. Его деревенские типажи полны обаяния и реализма. Сочетание классики и авангарда создают особый неповторимый мир диалога различных культур, стилей и направлений. Передавать свои впечатления от картин Акимова бессмысленно и бесполезно. Надо видеть и оценивать самому их мифологическую, колдовскую силу.

Надеюсь, что каждый, кому в руки попадёт этот альбом, во-первых, по достоинству оценит целомудренность и трогательность его пейзажей, рискованный мир фантазмагорий, а во-вторых, захочет познакомиться с подлинником, побывать на выставках художника, живущего в Набережных Челнах.

Хочется остановиться на автобиографической, литературной части альбома-книги. Не хотелось бы повторять избитую истину о том, что талантливый человек талантлив во всём, но это действительно так. Его записки о детстве, становлении как художника, о родной и любимой на всю жизнь деревне Ендурайкино и её жителях, несмотря на простоту изложения, чем-то напоминают его картины. В них также есть нарочитая примитивность изложения и отголоски философских притч, фантазия и реальность, необыкновенная точность деталей.

Напомним, Владимир Акимов уже был гостем альманаха «Аргамак» (№ 3 за 2011 год). Тогда в рубрике «Званный гость» была размещена подборка иллюстраций его картин и заметки «Ода моей деревне», которые в более полном виде опубликованы в рецензируемом сегодня альбоме-книге.

«... Моя душа взлетала к облакам, когда я смотрел на твои улочки с высоты холмов, когда подходил пешком в детстве, возвращаясь из школы или подъезжая на телеге с покосов, лёжа в душистом сене. Я готов был обнять каждый твой домик, приласкать и пригласить каждый сарайчик и положить в ладошки каждый лоскуток цветущей картошки. Сердце моё помещало в себе всех её жителей со всей живностью...». Как ещё точнее выразить свою любовь к родным местам! «... Один неглупый человек сказал, что Родина там, где мне и моим близким хорошо. Эту философию я пытался примерить к себе неоднократно, находясь далеко от своей деревни. И чем дальше от неё я уезжал, тем жгучее и сильнее становилась тяга к возвращению. Хотя с годами там все поменялось: обветшали избы, многие дома исчезли вместе жителями в пространстве времени. Нет той шумной и бурлящей жизни, нет несущихся телег и возниц по улицам, нет и шумной молодёжи по вечерам. Особенно грустно по вечерам – тишина обволакивает душу и холодит мозг... Куда всё подевалось?»

Сегодняшняя действительность показывает, что в оазис деревни медленно, но неостановимо вселяется монстр техницизма и бацилла нравственного разрушения, порождая безверие, упадок и скепсис. Обо всём этом говорит художник в своих картинах и воспоминаниях. Но светлого, доброго, хотя бы в памяти, всё равно больше.



Рамиль Сарчин. Цветоповал. Казань. ИПК «Бриг». 2011 г. 111 с.

Жизнь отвела поэту Рамилю Сарчину место меж двух национальных культур — и сам он это хорошо чувствует. Выбрав для творчества русский язык, не забывает о своих татарских корнях и говорит об этом с большим тактом:

В селе моём
Над золотом осенним
Мечеть белеет, тишину храня,
И православным летоисчисленьем
Издаেকে приветствует меня.

Но не только этим двуединством определяется главное в поэзии автора. Главное — тот добрый взгляд, который различает общечеловеческие духовные ценности мира. В этом смысле Рамиль Сарчин следует классической традиции русского стиха. Этот сборник — третья поэтическая книга автора. И в ней он снова подтверждает своё умение поразительно точно находить предметные детали своих описаний, здесь неподдельный драматизм лирического самовыражения, стоическое желание быть собой, а не другим. О чём его стихи? Может быть, о том, что в момент своего очередного страшного разлома (последнего ли?) Россия не перестаёт быть загадкой, куда-то несясь, не даёт ответа, что жить в ней не только великое счастье, но и всегда — суровое бремя, нелёгкое испытание...



Валерий Черкесов. Благодарение. Белгород. Издательство «Звонница». 2012 г. 80 с.

Книга издана к 65-летию поэта. В.Н. Черкесов — автор многочисленных сборников прозы и поэзии для детей и взрослых. Он печатался в столичных и региональных антологиях, альманахах, сборниках, журналах и газетах. По признанию самого автора стихи его во многом исповедальны, написаны не столько рассудком, сколько сердцем и душой. Свой взгляд на творчество он выразил так:

Не видел — не рассказывай,
Не знаешь — не пиши.
Зачем словечки красные,
Когда в них нет души...

И содержание книги полностью соответствует этим строкам. На склоне лет человеку всегда есть что сказать людям. Особенно, если он владеет словом. А Валерий Черкесов в полной мере обладает этим даром. В своих рифмованных строках и в верлибрах он, в первую очередь, отражает время, в котором мы жили и живём. И поэтому они тревожат, радуют, печалят:

Предположим, что встретимся там, на небе. И что ж?
Новостями поделимся, мол, правитель не гож,
Хоть и выбрали сами, мол, опять маета?
Даже за облаками жизнь земная не та —
Нам покажется. Право, мы достойны другой...
И чертёнок лукаво хохотнёт за спиной.

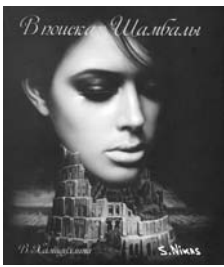


Валерий Прокошин. Ворованный воздух. Москва. Издательство «Арт Хаус медиа». 2012 г. 68 с.

«Ворованный воздух» — на сегодняшний день последняя книга стихотворений поэта Валерия Прокошина, составленная им самим незадолго до смерти. В последние годы жизни «Ворованный воздух» для Прокошина был единственно возможным способом дыхания. Он писал: «После посещения онкологического центра каждый глоток воздуха стал казаться ворованным». В этой книге стихотворений с первых строк становятся понятными две вещи: перед нами — большой поэт, и то, что тема смерти, подведения итогов доминирует в его последних стихах:

*Рай похож на гигантский пломбир:
Сколько света кругом, сколько снега!
Ангел кутает плечи в меха.
Я ещё не пришёл в этот мир,
Но в янтарной горошине века
Спит дитя — негатив человека:
Без души, без судьбы, без греха...*

Хочется верить, что яркий и мощный голос поэта будет услышан хотя бы после смерти. Потому что подлинная поэзия живёт вечно.



Вера Хамидуллина, Никас Софронов. В поисках Шамбалы. Казань. ПИК Идел-Пресс, Типография филиала ОАО «Татмедиа», 2012 г. 160 с.

Совместный проект набережночелнинской поэтессы Веры Хамидуллиной и известного художника Никаса Софронова поначалу вызывает ряд вопросов. Картины художника иллюстрируют стихи поэтессы или наоборот? И лишь вчитываясь в стихи, понимаешь, что первичны всё же произведения Н. Софронова. Впрочем, это несколько не умаляет достоинств стихотворной части книги-альбома.

Творчество Никаса Софронова, наверное, нет необходимости представлять отдельно. Сегодня художник на пике своей популярности. Он самый известный и модный художник России, картины которого находятся в лучших музеях и частных коллекциях Западной Европы, Америки, России. Илья Глазунов, оценивая творчество Н. Софронова, сказал: «... Он обладает огромной фантазией и неземной творческой энергией. Мне думается, что его душа поражена бытием XX века, соединив поиск Бога и кощунство, веру и безволие, романтизм и жёсткий взгляд на моду...» С произведениями художника многие знакомы, и поэтому легко понять, что идея в стихотворной форме выразить картину или тот или иной художественный образ достаточно интересна сама по себе, и это вполне удалось поэту. Так слово Веры Хамидуллиной пошло за живописью Никаса Софронова. Как интерпретируется космос живописных образов художника, как поэзия определяет и подчёркивает картину его мира, каждый определит сам для себя, познакомившись с предлагаемым изданием. Результаты этого неординарного и неожиданного художественно-поэтического дуэта покажет время.





ДЯДЯ ВАНЯ И «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА»

Всем известно, что самый лучший способ излечиться от похмелья — тот, что называется «клин клином». Но непримиримый старик Журкин с этим не соглашался. Он пользовался другим, им самим для себя открытым. Способ был простой, но действенный — на весь день уйти на рыбалку.

Река была рядом. А дома рядом была жена. От неё, а не столько от головной боли сбежал дядя Ваня на берег. Рыбалку он любил всю свою шестидесятичетырёхлетнюю жизнь. И даже не просто саму рыбалку непосредственно, а всё, что с нею связано, — подготовку снастей, варение прикормки, даже копанье червей в компостной куче в саду за домом, не говоря уж о дороге к реке, по которой ноги сами бежали. А восход солнца за рекой? А закат с тихими бликами на водной глади?.. К тому же, на старости лет он ещё и к зимней рыбалке пристрастился, она оказалась не менее увлекательной. А уж как февральский ветерок выдувал хворь из головы, так и сказать нельзя!

Вот и на этот раз — проснулся старик ни свет ни заря, а надо сказать, что зимой на рыбалке затемно делать нечего, не то что летом. Постонал негромко раз-другой, прислушался — спит старуха. Спустил ноги с кровати — тихо. Но только пошёл крадучись к двери, как началось!

— Что, алкоголик, сбежать нацелился?! — голос у Валентины Журкиной был не женский — густой и громкий; для отягощённого похмельным синдромом он звучал, как обещанный Священным Писанием архангелов глас.

— От чего это мне бежать-то? — перехваченным горлом отозвался дядя Ваня.

— От суда! — пророчески провозгласила супруга.

Журкин хотел что-то сказать, но забыл, что, и промолчал. Он мельком взглянул на настенные часы, стрелки показывали шесть — значит, скоро светать будет, можно потихоньку на лёд идти от греха подальше.

— Ишь, насосался, как пивка! — летели вслед бедолаге гневные глаголы. — Ни стыда, ни совести! Каждый божий день поперёк глазу пальца не видит, всю душу из меня вымотал!

Обвинения были несправедливыми и потому особенно обидными — старик выпивал нечасто, да и не много. И по сей причине слова жены жалили больно, как оводы в летний полдень. Но Валентина с годами привыкла таким образом воспитывать мужа, и совершенно искренне верила, что он и впрямь есть пьяница, каких свет не видывал.

Когда Журкин, напившись из ковша холодной воды, наскоро оделся и уже совсем был готов улизнуть из дому, на пороге возникла разгневанная супруга во всей красе — в белой ночной рубашке, в валенках на босу ногу и в накинутом на плечи пуховом платке, подарке дочери.

— Похмеляться торопишься, алкаш? — набатом гудел голос Валентины, прекрасно знавшей, что муж никогда не похмелится, а выхаживается рыбалкой на свежем воздухе.

— На речку я, — только и сказал старик.

— На речку он! — передразнила жена. — Скоро до белой горячки допьёшься!

— Сама ты белая горячка и есть! — отозвался из сеней осмелевший в предвкушении желанной свободы Журкин и выскочил на улицу.

А в это же самое время подобным же манером провожала на рыбалку жена соседа Журкина Степана, с которым они вчера с пенсии-то и осушили по маленькой. На прощанье она сунула в руки Степану свёрток, чтобы он опустил содержимое его под лёд. Торопясь скрыться от супруги, похмелившийся из заначки, спрятанной на дворе в поленнице Степан, который придерживался в похмелье традиционного способа «клин клином», не отважился спросить, что находится в свёртке, сунул его в рыбацкий ящик.

Приятель отправились на реку. Рассвело. На льду то там, то тут чернели фигурки рыбаков, пришедших на лёд ещё, видимо, затемно. Степан пробурил лунку за спиной у Журкина выше по течению.

«Слава Богу! — думал Журкин, вычищая из лунки черпаком ледяное крошево. — Слава Богу, хоть весь день сиди, никто тебя пугать белой горячкой не будет».

На душе у него стало хорошо.

Бывает, что и в глухозимье окунь на балансир ловится. Так успокаивал себя дядя Ваня, потому что с мормышкой его ещё не твёрдые с утра руки справиться пока не могли. Он опустил в лунку снасть, нашёл дно и сделал первый рывок. И тут же почувствовал тяжесть. «Судак, наверно!» — с замиранием сердца думал старик, выбирая леску. Вот в лунке показалась голова... Журкин уронил удочку. «Не может быть», — вспышкой мелькнуло в больном мозгу. Он нашарил на льду леску и стал снова вытягивать ушедшую в воду добычу. Резким движением он выбросил её на лёд и едва не упал с ящика: чёрное, бархатистое, похуже на крота ... — котёнок!

«Что за напасть?» — нерелигиозный Журкин осенил себя крестным знаменем и боязливо оглянулся. Степан склонился над лункой и ничего не видел.

«Попей, попей — увидишь чертей!» — загремел в ушах трубный голос супруги. «Неужто и правда, белая горячка?» — испугался старик и осторожно ткнул в трустик пальцем.

Нет, котёнок был настоящий. Крошечный, дохлый, но настоящий. Дрожащие пальцы с трудом освободили крючок из мокрой, начинающей обледеневать шёрстки. Инстинктивно Журкин бросил балансир в лунку. Боковым зрением он видел скрюченное тельце котёнка. Что-то было тут не так и потому хотелось зажмуриться, а потом открыть глаза и увидеть на льду обыкновенного окунишку или ерша. Старик так и сделал. Но видение не исчезло: возле лунки по-прежнему лежал чуть припорошенный снежком котёнок.

И тут удочка в руках дёрнулась, Журкин подсёк. Три метра лески казались бесконечными. Задохнувшись, он приподнял улов над лункой: *это снова был котёнок!*

— Мама! — не своим голосом крикнул старик и с удочкой в руках бросился к Степану. — Мама родная!

— Ты что, Иван, — шарахнулся тот. — Ты что, рехнулся?

— Стёпа, — шёпотом произнёс Журкин и протянул вперёд руку с балансиром, на котором болтался котёнок. — Стёпа, что ты видишь?

Степан некоторое время недоуменно разглядывал дохлого котёнка, а потом громко захохотал.

Он хохотал и хохотал, а Журкин стоял перед ним и думал, что и у соседа, пожалуй, белая горячка.

Наконец, тот замолчал, и тогда старик спросил:

— Чего ржёшь?

Степан показал на котёнка и хмыкнул.

— Ну?

— Мой котейка!

— Не понял, — сказал Журкин.

Похохатывая, Степан пихнул ногой лежащий возле рыбацкого ящика свёрток. Газета развернулась, и Журкин увидел там ещё двух мёртвых котят.

— Чего это такое?

— Да вот, — ответил Степан, вытирая слёзы рукавом. — Жена вчера котят в ведре топила, пять штук, а мне дала их под лёд спустить. Я и опускаю, значит, по течению, а ты ... ловишь! — И он снова захохотал.

Журкин хохотнул как-то неуверенно и поплёлся к своей лунке, утешаясь тем, что белая горячка, вопреки предсказаниям супруги, пока что его не настигла. И ещё он решил, хотя и без каких-либо на то оснований, что пить завязывает совсем.

— Ну его к лешему, — ворчал старик, бросая балансир в чёрную воду, — а то, пожалуй, в другой раз живых котят из подо льда начну доставать!

А ведь оно почти так и вышло. Но это уже другая история.

ДЯДЯ ВАНЯ И ВОДЯНОЙ

Иван Журкин глядел, шурясь, на огонь. Пламя то прижималось к земле, то снова устремлялось вверх. Время от времени костёр выстреливал, и тогда искры вздымались к чёрному небу. Лицо старика в отблесках костра казалось вырезанной из красного дерева маской древнего истукана.

Рядом, за кустами, раздался неожиданно громкий всплеск.

— Вот это да! — восхищённо воскликнул лежащий у костра напротив Журкина молодой рыбак Юрик. — Сом, наверно!

— Сам ты сом! — невозмутимо определил Журкин и замолчал.

— А кто же?

— Крокодил, — хмыкнул кто-то из рыбаков.

— Русалка, — поддержал другой голос в темноте.

— Нет, мужики, это водяной! — произнёс уверенно Журкин. — Он тут, в этом омуте живёт.

Сказано было так, как будто речь шла о щуке или, по крайней мере, ондатре, квартирующей под соседней корягой.

— Ты с ним знаком, видать, с водяным-то? — усмехнулся Юрик.

— А как же, — всё тем же обыденным тоном ответил Журкин и демонстративно плюнул в костёр, показывая тем самым, что знакомство с водяным для него — плёвое дело. — Знаком. Я его здесь прошлым летом на закидную поймал.

— Кого?

— Водяного.

— Водяного?

— Угу.

— Это как же?

— Да так же — на макуху.

— Дядь Вань, расскажи!

Юрика поддержали и другие рыбаки, и даже дружок Журкина Степан, знавший наизусть историю с водяным, и тот сказал:

— Расскажи, Иван, всё веселее будет ночь коротать!

Журкин долго раскуривал сигарету от уголька.

— Короче говоря, — медленно начал он, — собрался я на рыбалку...

— Выхаживаться, — вставил голос из темноты.

— А хотя бы и так, — ответил дядя Ваня, устремляя взгляд в темноту, но там ничего видно не было. — Дело к вечеру. Думаю, застану и вечерний клёв, ночь у костерка посижу, вот как мы сейчас сидим, а там и утренняя зорька, да... Расположился у омута, чтобы по кромке-то, значит, перед свалом удочки поставить, сами знаете. Закинул. Сижу. А клёва нет.

— Как сегодня, — перебил рассказчика всё тот же голос.

— Ну, видишь ли, — философски заметил Журкин, — когда клёва нету — это навроде импотенции — как ни старайся, ничего не сделаешь!

Над сонной рекой прокатился оглушительный хохот. На другом берегу ухнул филин — от испуга, наверно. Старик выждал паузу и продолжал:

— Темнеть стало. Дай, думаю, насажу макуху. Я ещё дома приготовил кусок жмыха — запилы сделал, ну, всё, как полагается. Чем чёрт не шутит, а вдруг белорыбица подойдёт? Да и сазан от макухи рыло не воротит, сами знаете...

— А то, — не удержался Юрик, — я помню осенью...

— Погоди ты! — оборвал его Степан. — Пускай про водяного расскажет.

— Пускай, я чего, я так только вспомнил...

И Журкин продолжил рассказ.

— Так вот, стояло у меня две закидные — одна на червя, другая на перловицу. Третью размотал, приладил кусок макухи, забросил. А уж темно, хоть глаз коли. Я на ощупь подтянул жилку, на пруту закрепил и колокольчик, как полагается, повесил, самый звучный угодил, валдайский, мне дочь привезла... И что ты думаешь? — старик поглядел на Юрика. — Этот самый валдайский чуть не сразу ка-а-к задрезбжит — на всю округу!

Старика больше никто не перебивал. Всем у костра стало интересно, что за рыба клюнула на макуху. Даже скептик в темноте, и тот молчал. А Журкин потянулся, достал сухую берёзовую ветку, переломил её о колено и бросил в огонь.

— Ну и чего? — первым не выдержал Юрик.

— Тут-то всё и началось, — ответил со вздохом Журкин. — Я — к удочке. Ладно, что жилку крепко замотал, а то бы давно уволок водяной мою снасть. Гляжу — дёргается закидная во все стороны, ну, думаю, вот это поклёвка! Хватаю. Подсечка. Чувствую — крупняк, еле-еле справляюсь, что есть сил тяну. Костерок у меня невеликий горел, так только, для свету. Он освещает мне сам плёс да немного воды, а дальше ничего не видать. Основная жилка у меня на закидных — 04, клинская, чёрта выдержит. Ладони в кровь порезал, но не бросаю, волоку добычу. Ближе, ближе... Вот в свете костра что-то чёрное показалось. Сомяра, что ли, думаю, а сам тяну. И когда до берега уж метра два-три осталось, стал я перехватываться, ну и малость ослабил натяг. Тут из воды как завоет диким голосом, да как на меня бросится!..

— Кто?

— Водяной, кто ж еще-то?! Я и попятиться не успел, упал на отдели в воду, а это чудо прямо через меня летит, грудь мне четырьмя лапами мнёт... А лапы, я вам доложу, все с когтями... Вот так, думаю, хозяина реки зацепил! А он, зараза, по костру — искры до неба! — да в лес вместе с удочкой! А сам воет дико, аж кровь стынет в арте-

риях. Я и удочки собирать не стал, таким же манером — ноги в руки и домой! Вот так я водяного на закидную и поймал. Да.

Замолчал Журкин, и на какое-то мгновение у костра наступила тишина. Потом голос из темноты спросил:

— Ну и кто это был?

— Где? — как ни в чём не бывало отозвался старик.

— На удочке твоей.

— Водяной и был.

— Да ладно, выдумал, поди, всё. Знаю я тебя, балабол старый! — подал голос Юрик.

— Не веришь — не надо. Вон Степан не даст соврать, — Журкин кивнул на своего приятеля.

Степан, мужик небольшого роста, большеголовый, про каких говорят «сам худ, а голова с пуд», придвинулся к огню.

— Так всё оно и было, — подтвердил он с серьёзным и даже каким-то обиженным видом. — Так и было. Сижу я на крыльце, курю. Отдыхаю, значит, после трудового дня. Вдруг влетает в палисадник мой пёс Тарзан с диким воем. Ухватил я его за ошейник, гляжу, а из пасти у него леска волочится. Пытаюсь пасть-то ему приоткрыть, не даётся. Ну, кое-как сумел. Мама родная! Там у бедняги кусок макухи, из него крючки торчат, в мякоть вонзились — кровяца! «Ты что же, говорю, дурачина, снасть чью-то сожрать хотел?» Он, знай, воет. Пришлось к ветеринару вести, к Олимпию. Кое-как на пару спасли животную. Олимпий Тарзанке ещё и укол до кучи вкатил — от столбняка, наверно. А может, от нервного расстройства. И то — жива душа... Ну, крючки, я вам скажу, острейшие оказались!

Тут снова над рекой грянул взрыв смеха. На этот раз вместе со всеми хохотал и Журкин.

— Что получилось-то, — заговорил он, когда шум поутих. — В темноте я не рассчитал малость, снасть через речку перекинул, ну а Тарзанка тоже, видно, на охоту вышел, макуху и заглотив, сердяга!

— Ну да, — кивнул головой Степан. — Я его с цепи вечером спускаю, он и кормится, что на берегу найдёт.

— Вот и нашёл!

— А ты его, живодёр, через всю реку протащил!

— Собака должна дом охранять, а не по берегу в ночной темноте шастать, — сказал Журкин назидательно.

— Она же не знает, что есть такие рыбаки, — голос Степана приобрёл язвительный оттенок, — есть такие рыбаки, которые не рыбу, а собак ловят. Да котят!

— Каких ещё котят? — спросил невидимый из темноты.

— Зимой дело было... — начал Степан.

— Ладно тебе! — перебил приятеля Журкин.

Но все оживились.

— Нет уж, рассказывай, что там наш дядя Ваня ещё из реки выловил! — не унимался Юрик, и его поддержали другие.

Журкин плюнул в сторону.

— Ладно, сам расскажу, этот голован переверёт всё!..

КАК ДЯДЯ ВАНЯ С ДРУЗЬЯМИ НА ЛЬДИНЕ ДРЕЙФОВАЛ

Весна нынче выдалась ранняя и на редкость дружная. А это при морозной зиме ничего хорошего, надо сказать, не обещает. Ну и пожалуйста — как пошли снега таять, как полились с гор потоки, мёрзлая земля воду не впитывает, поверху плывёт, и всё в реку! Село Микиткино в Венецию превратилось. Паводок! А на Марью-зажги снега и ледакол прошёл по водохранилищу. Всё, считай, зимняя рыбалка закончилась. Но так может думать кто угодно, только не сами рыбаки. Отчаянные головы, сызмальства на воде, их испугать не так-то просто!

Старик Журкин с дружкой своим Степаном чуть свет уже на лёд спустились. У берега он пока что держится, а с утра по морозцу по такому льду ходить — одно удовольствие.

— Часов до одиннадцати порыбачим, а там, как солнце припечёт, ноги в руки и домой! — говорил Степан, едва попевая за Журкиным.

— Ясно! — отозвался дядя Ваня. — Не впервой.

Как оказалось, не одни они такие умники выискались — вдоль обрыва по кромке уже сидели рыбаки. Открытая вода была совсем близко, и над ней пролетали редкие пока чайки.

— Во сколь ни приди, уже сидят! — ворчал Журкин, ступая на закаменевшую за ночь наслуду.

— Нашу рыбу не поймают!

— Это точно.

В апреле рыбакам облегчение — новые лунки бурить не обязательно: ударил сапогом в старую, и готово, запускай удочку! Поэтому мало кто таскал с собой бур — набуренных лунок хватало. Но основательный Степан брал с собой лёгкую пешенку, чтобы простучивать ей ненадёжные места на льду.

Уселись, стали ловить. Клёв получался вялый. Рыбаки бродили с места на место, искали рыбу — то из одной лунки окунишку выдернут, то из другой сорожонку. А время идёт, солнце уже спины пригревает, скоро конец рыбалке.

— И это последний лёд! — плевался дядя Ваня, отчаянно вытрясая мормышку. — Совсем в реке рыбы не стало.

И все с ним соглашались. Истинная правда! А Степан ещё и уточнял:

— Что ты! Раньше, помню, у нас рыбы-то было — без трусов в воду не зайдёшь!

— Ты, видать, заходил! — кричал с дальней лунки Юрик.

Весело весной на льду, хорошо! Жить охота.

Ну и дорыбачились. Первым неладное заметил дядя Ваня.

— Что за хрень! — ругнулся он, заметив, что удочка не достаёт дна. — Течение, что ли пошло?

Степан тоже отпустил в воду чуть не метр лески.

— Наверно, шлюзы включили.

— Ты гляди, как тащит! — не унимался Журкин.

— Мать твою так! — раздался издали голос Юрика. — Мужики, так нас же понесли!

И тут все увидели, что между берегом и льдом, на котором они размещались, появилась полоска воды, которая постепенно увеличивалась. Льдину оторвало. Дядя Ваня спешно сматывал удочку. Кто-то, бросив снасти, уже бежал к польнье и с разбегу перемахивал на спасительную кромку берегового льда. Один грузный в зелёном плаще, недопрыгнув, ухнул в воду. Его тут же вытащили на лёд. Он сбросил плащ,

уселся на ящик, чтобы удобнее было снять сапоги и вылить из них воду, но сапоги не стаскивались с ног, и мужик громко матерился.

— Брось! — крикнул Степан дяде Ване. — Брось на хрен свою удочку! Останемся на льдине, как папанинцы!

Он схватил пешенку и, оставив на льду ящик, ринулся к разлому. Дядя Ваня сунул удочку в карман куртки и поспешил за ним.

Когда они подбежали к краю льдины, прыгать было уже опасно.

— Ну и что будем делать? — растерянно спросил Степан и посмотрел на дядю Ваню. Тот молчал, будто не слыша, глядел совсем в другую сторону.

— Иван, ты чего? Не видишь, что ли, — мы на льдине остались? Тут без лодки не выберешься, ёлки-моталки!

Журкин не отвечал.

— Оглох от страха, да? — не унимался Степан. — Прыгать надо. Чай, доплывём, Бог даст. Мужики верёвку кинут... Или ты, как Шмидт на льдине будешь сидеть?

— Какай ещё Шмидт? — отозвался, наконец, дядя Ваня.

Степан пританцовывал на месте.

— А хрен его знает, какой! Ты как хочешь, а я буду прыгать.

— С камнем на шее было бы верней! — сказал только что подбежавший Славка, которого все звали Движок. — Чтоб не мучиться.

— Иди ты! — махнул рукой Степан, уже и сам понявший, что прыгать в воду поздно — слишком далеко отнесло льдину от берега.

Тут заговорил дядя Ваня:

— Глядите-ка, куда Лёня Модный намылился.

Мужики посмотрели туда, куда показывал Журкин. Несколько рыбаков во главе с Лёней, по прозвищу «Модный», бежали к дальнему краю льдины.

— Ну?

— Вот те и ну! Давай туда!

— Зачем?

— Затем, что льдина там ещё не отошла, как я понимаю.

Поспешили к Лёне. Оказалось, и тут поздно. Между береговой кромкой и льдиной чернела широкая полоса воды.

— Ну вот, — сказал, закуривая, дядя Ваня Степану. — Теперь точно будем, как твой Шмидт на льдине куковать!

— Долго не накукуешь, — заметил Движок.

— Это почему? — насторожённо спросил Степан.

— Так разломит льдину на куски, и пойдём мы на корм рыбам, — равнодушно ответил Славка.

Степан раз-другой ударил пешенкой, которую не выпускал из рук, по льду, будто проверял его на прочность.

— Не стучи! — строго сказал ему дядя Ваня.

Со стороны берега раздался голос Юрика:

— За лодкой побежали! Скинут лодку и — за вами!

Дядя Ваня только рукой махнул, мол, пустая затея. Потом он вдруг завертел головой, выхватил из рук приятеля пешню и ринулся к краю льдины.

— Ты чего, рехнулся? — крикнул ему вслед Степан.

Пыхтя, как паровоз, Журкин дотянулся концом пешни до небольшой льдины, что плавала в полынье, усилием притянул её к себе.

— Понял? — обернулся он к мужикам.

— Не понял! — ответил Степан, но Движок уже подскочил к дяде Ване.

— Понял! — сказал он и попробовал встать одной ногой на край льдины, которую придерживал Журкин. Она качнулась, но устояла, казалась надёжной.

— Вот те и лодка! Давай, мужики! — скомандовал дядя Ваня.

Взгромоздились на льдину трое — Славка Движок, Степан да ещё один мужик по имени Толик. Степан стоял на четвереньках, ухватившись за ящик, как за спасательный круг. Изю всех сил Журкин оттолкнул от себя льдину. Медленно, но уверенно она преодолела расстояние до береговой кромки.

— Ура! — крикнул подбежавший Юрик, помогая перебраться на твёрдую поверхность Степану. Тот, как только встал на ноги и почувствовал под собой твёрдую поверхность, закричал:

— Журкин! Ты мою пешню, гляди, не утопи!

— Я тебя утоплю, как переправлюсь! — отозвался дядя Ваня.

Тем же Макаром льдину отправили назад. На неё забрались оставшиеся, среди них и Журкин. На этот раз не удалось перетолкнуть ледяной плот через полынью. Льдина остановилась посередине.

— Вот теперь ты точно — Шмидт! — крикнул Степан и захохотал, а Журкин погрозил ему кулаком.

Чего-чего, а смеялки рыбакам не занимать. Через пару минут Юрик раздобыл где-то верёвку, за которую и перетянули дрейфующих на «большую землю».

Мужики ещё постояли на берегу, поговорили о том, что зимняя рыбалка кончилась. Вдалеке из-за мыса появилась самоходка, она медленно шла вверх по течению, и само появление судна среди льдин уже говорило о близкой весне, половодье, о скором нересте сорожки, когда её можно будет ловить с берега на муравья... А там и лето!

Журкин со Степаном зашли по пути домой в магазин, взяли уважаемый обоими «Русский стандарт», чтобы, как положено, отметить спасение.

— А всё моя пешенка, — сказал Степан, аккуратно наливая водку в крышку от термоса. — Без неё мы бы сейчас...

— Это точно, — согласился дядя Ваня.





АНТИКРИЗИСНОЕ ЭССЕ

Наступили тяжёлые времена. Народ лишается работы. Причём на улице оказываются не дворники — они и так сутками на улице, не депутаты и не водители депутатов. Увольнения коснулись прежде всего самого многочисленного отряда наёмных работников — менеджеров среднего звена. Эти образованные, умные, красивые и гордые люди находятся сейчас в ужасном положении. Из краеугольного камня мирового бизнеса они превратились в пыль. Их жизнь потеряла смысл. Их не ждут ровно в десять в офисе. Им не надо до шести вечера сидеть за компьютером с пятью перерывами на чай-кофе, обсуждая ужасные пробки. Не надо по пятницам пить пиво, а по субботам — виски. У них не будет уже никогда весёлых и хмельных корпоративов. Остался в прошлом отдых в Турции. Исчез халявный Интернет вместе с «Одноклассниками.ру». Закончились офисные дни рождения с тортами, цветами и шампанским. Нет больше ежедневного обзвона клиентов, на чём, кстати, и держалась вся российская экономика. По ночам на бывших менеджеров среднего звена накатывает ностальгия по деловым, но сытным встречам за счёт фирмы в недорогих итальянских рестораничках. Их домашний холодильник пуст, а автомобиль стоит без бензина. Жена, видя вместо денег мужа, сходит с ума и скандалит. Организм ровно в четырнадцать ноль-ноль по будням требует обеда и не получает. Ребёнок хнычет без подарков и детских праздников. Статус упал на землю и разбился. Соседи-маргиналы не просят в долг. Вместо «Парламента» приходится покупать «Яву золотую», а вместо бочкового «Гиннеса» пить пластмассовое «Очаковское». «Как жить дальше и стоит ли вообще жить?» — спрашивают себя бывшие менеджеры среднего звена. И сами себе отвечают: «Нет! Дальнейшая жизнь будет неэффективна. Да и есть ли она, жизнь вне офиса? Как она проходит у остальных людей, у всех этих «неменеджеров»? Жизнь без охраны на первом этаже... Жизнь без костюма и галстука... Без кожаного портфеля и без секретарши начальника Людочки, без корпоративных сувениров и оплаченного мобильного, без офисного романа и быстрого секса в пустом кабинете директора... Сколько стоит поездка в метро, наконец?!»

«Одна поездка на метро стоит 28 рублей, — отвечают работники биржи труда — А жизнь вне офиса существует! Выдавальщицы медицинских карт в районных поликлиниках и гардеробщицы там же, продавцы магазинов шаговой доступности и ком-плектовщики наборов детских игрушек, дежурные по эскалатору и кассиры пригородных касс — все они живут увлекательной и насыщенной жизнью!» И, кстати, не только они! «Кризис не страшен. Его надо просто преодолеть», — сказал автору этих

строк отдиральщик незаконно наклеенных объявлений. «И преодолеть прежде всего в себе», — добавила его жена, расклейщица этих объявлений. Им, молодым, уверенным в себе и в своём будущем людям не грозят никакие экономические потрясения, а слово «дефолт» заставляет краснеть, хихикать и уединяться. Им некогда читать экономические сводки, они работают, делают карьеру, а по вечерам пьют за гаражами пиво, с улыбкой глядя на слабеющий рубль.

Вот с них надо брать пример, ныне безработный, а в недавнем прошлом менеджер среднего звена! А не с Абрамовича, который ежедневно теряет по миллиону долларов! Рабочий по обслуживанию линейных сооружений не теряет ничего, если только по пьянке не забудет, где находятся эти его линейные сооружения и как они выглядят. И запомни — бывших менеджеров не бывает! Бывшими бывают только жёны, мужья и президенты. К тому же недавно, по настоянию психологов и с целью уменьшения случаев суицида из-за социального неравенства в названиях всех профессий, зарегистрированных в Российской Федерации, появилось это волшебное слово! Так что гони прочь депрессивные мысли! Никаких намыленных верёвок, уходов в монастырь и в алкогольное забытьё! Подними голову, открой глаза — новый, совершенно незнакомый мир лежит у твоих ног! И этому миру нужны твои мозги и твои руки! Ты работал менеджером по продажам в крупной торговой сети? Такая же должность менеджера, но по розничной продаже проездных документов для проезда на наземном транспорте ждёт тебя! Или ты был заместителем начальника отдела продаж автомобильного салона? Тебе тоже будет интересна эта профессия! Потерю в зарплате компенсирует уютный, отдельно стоящий и хорошо отапливаемый офис на одного человека, расположенный у троллейбусной остановки. А если ты работал начальником отдела ипотечного кредитования в банке, то ты быстро освоишь все премудрости этой работы и уже через полгода сможешь стать СТАРШИМ менеджером-экспедитором по ОПТОВЫМ продажам льготных проездных документов! Мобильный, кстати, тоже оплачивается. Сложнее придётся бывшим заместителям руководителей проектов управления развития систем процессинговых центров. В трамвайном депо № 5, например, долго смеялись, узнав о такой должности, но, отсмеявшись, предложили вакансию менеджера-кондуктора с перспективой через год стать менеджером всего вагона. Раньше это называлось «вагоновожатый». Истеблишмент, кстати, всего трамвайного бизнеса.

А через год-полтора кризис закончится, и всё вернётся на круги своя. Опустевшие офисы вновь наполнятся звонкими голосами менеджеров среднего звена, которые привычно начнут обзванивать клиентов. А их клиенты начнут обзванивать своих, те свои — других своих, а другие свои обзвонят первых. Круг замкнётся, и экономика России снова поднимется с колен и семимильными шагами двинется вперёд, к новым свершениям. И, кстати, к новому кризису. Больше десяти лет только на обзвоне клиентов никакая, даже супергазонефтеалюминиевоникелевая экономика не выдерживает. Так что не стоит зарекаться от суммы, уже достигнув вершин бизнеса и работая старшим менеджером по оптовым закупкам детского питания в сети супермаркетов. «И это пройдёт», как сказал один из первых в мире топ-менеджеров. Поэтому остановись как-нибудь, проезжая мимо будки по продаже троллейбусных билетиков. Выйди из своей иномарки и поклонись в пояс этой будочке. Помаши рукой менеджеру трамвая. И дай пятьдесят рублей стоящему рядом менеджеру по сбору средств на восстановление храма. Пусть похмелится. И воздастся потом тебе сторицей...

«ОДНОКЛАССНИКИ.РУ» И ЛЕПЁШКИН

Вся страна сидит в «Одноклассниках». И вся эмиграция тоже. Пожарные сидят между пожарами, а иногда вместо, полицейские зависают, врачи, банкиры с охранниками, домохозяйки и, разумеется, менеджеры среднего звена. Им-то сам Бог велел — компьютер на столе, начальник на деловой встрече, зам. начальника на работе, но тоже в «Одноклассниках», школьную любовь ищет... Все на сайте, все поголовно, и не только люди — депутаты попадают! — один Ваня Лепёшкин там не сидит. Он то в тюрьме сидит, то дома на диване и без всякого компьютера. Но однажды — он как раз дома сидел, не в тюрьме — подарили ему компьютер. Ну как подарили — отдали. Ну, даже не отдали, а он сам попросил. Ну как попросил — взял и всё. Двери запирать надо, не в деревне живёте. Так вот — появился у него компьютер, и Ваня сразу в эти «Одноклассники» зашёл, на друзей-подруг школьных посмотрел. Очень расстроился, очень. Какие там фотографии! Правда, у всех почему-то одинаковые. Бабы сначала на фото с ребёнком, потом в купальнике на море, если фигура позволяет. Если фигура уже не очень, тогда на фоне какого-то особняка и по пояс, но особняк целиком, все шесть этажей. Потом фото за компьютером — это она на работе, фото с шампанским — на корпоративной вечеринке и последнее — «Это я в Испании в прошлом году». Они в прошлом году почему-то все в Испании были. А на заднем плане обязательно какой-то мачо маячит — намёк на курортный роман. Хотя у нас таких мачо на любом рынке больше, чем во всей Испании. У мужиков фотографии почти такие же, только антураж пивной. Зонтик, под зонтиком столик, весь уставленный пивом — «Я во Франции». Другой зонтик, другой столик и пиво другое — «Я в Италии». Третий зонтик, третий столик с пивом — «Это я в Амстердаме» и так по всей географии. Плюс — обязательно! — фото за рулём дорогой машины и охота-рыбалка на фоне джипа. Лепёшкин же во франциях-италиях, разумеется, не был, про Амстердам и не слышал даже, рыбалкой не увлекался, а охотился только по ночам и только с целью наживы денег на выпить-закусить. Да и фотоаппарата у него никогда не было, его обычно полицейские фотографировали. Машина, правда, была, но недорогая и не его. А пиво Лепёшкин вообще не пил, он больше по водке ударял и по самогону. Но настроение как-то поднимать надо, и Ваня вспомнил про своего друга, они сидели вместе. Тот на компьютере и доллары делал, и свидетельства всякие, и акции «Норильского никеля», а один раз деньги какого-то банка на себя перевёл и поехал в Кемерово отдохнуть, думал, это далеко и там не найдут. Его в Кемерово и не искали, его прямо в вагоне-ресторане взяли, в километре от Москвы. Вот этому другу Лепёшкин и позвонил. Другок выслушал проблему, сказал, что это дело двух минут, но нужны всякие напитки. Лепёшкин всякие напитки взял и выехал.

На следующий день, приехав домой и поборов похмелье, Лепёшкин гордо открыл свою страничку в «Одноклассниках». Он не помнил, что за фотографии они вчера сделали, поэтому уже первая повергла его в шок. На ней он стоял между Путиным и Медведевым, а подпись гласила: «Я знакомлю Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем». Подписи под остальными фотографиями, как и сами фотографии, были под стать первой: «Я даю займы Абрамовичу», «Я учу петь Аллу Борисовну», «Я показываю Биллу Гейтсу, как работать на компьютере», «Я объясняю Аршавину футбольные правила», «Я выгоняю из своей постели Наоми Кэмпбелл и Дженнифер Лопес», «Я покупаю десяток яиц Фаберже», «Элтон Джон и Борис Моисеев поют мне колыбельную»... Эту фотографию Лепёшкин решил на всякий случай удалить, слышал он что-то нехорошее про этих Джонов-Борисов. Зато следующее фото ему очень понравилось. На нём он гордо скакал на белом коне по степи, в папахе и бурке,

с нагайкой в руке, а от него трусливо убегала украинская армия, уплывал украинский флот и улетала украинская же авиация. Подписано фото было просто: «Я возвращаю Крым России». Оставшиеся фотографии Лепёшкин уже не просматривал, а быстро пролистал. На них он кормил с рук Валуева, запускал в космос Гагарина, отгонял Сальери от Моцарта и тушил Жанну д'Арк. А последняя фотография была сделана, наверно, когда всякие напитки уже кончились. На ней счастливый Лепёшкин выходил из роддома под руку с Девой Марией. У дверей роддома их ждал белый лимузин. В руках у Лепёшкина был свёрток с ребёнком. Встречающие стояли на коленях, не смея поднять глаз. От Лепёшкина исходило какое-то неземное сияние. Невдалеке братья Кличко заранее били Иуду. Водитель лимузина калялся. Короче, Ваня Лепёшкин остался доволен.

Письма Ване начали приходиться сразу и в огромных количествах. Отличница, которая отторгла Ваню на выпускном, предлагала срочно встретиться и исправить эту ошибку, другие девушки просто присылали свои фотографии и номера не только телефонов, при этом каждая третья хотела родить от него ребёнка, а у каждой второй он уже был и, разумеется, от Вани. Мужики просили займы, звали в баню и предлагали совместный бизнес, в городе Сыктывкаре власти неожиданно назвали новую улицу его, Вани Лепёшкина, именем и просили помочь вырубить лес, положить асфальт и построить на этой улице дома, в какой-то деревне открывали Ванин бюст и намекали насчёт денег на торжества, женская волейбольная команда из Томилина умоляла купить её всю целиком вместе с сеткой и мячиками... Много было писем, очень много, а последним пришло послание от Абрамовича. Он интересовался, где, когда и сколько он взял займы у господина Лепёшкина и как ему вернуть долг. Господин Лепёшкин вспотел и, не мешкая, стал писать ответ. Сначала он написал, что Абрамович взял у него займы в марте, у входа в универсам на 3-ей Парковой улице. Перечитав, Ваня решил, что это несолидно и переделал универсам в сберкассу, а март в сентябрь. Получилось лучше. Насчёт суммы Ваня решил сразу — 100 долларов. Но руки предательски дрожали после вчерашнего и в итоге нулей получилось чуть больше...

Через час люди Абрамовича привезли Ване дипломат с деньгами. Солнце на землю, конечно, при этом не упало и мир не перевернулся. Упал и перевернулся Ваня Лепёшкин, когда, проводив гостей, открыл дипломат. Денег было так много, что Ванины математические способности не позволяли их сосчитать.

Большие суммы учат и дисциплинируют. Ваня Лепёшкин со временем стал преуспевающим бизнесменом, женился на отличнице, некогда его отторгшей, купил шестиэтажный особняк, возле которого с утра до вечера играет в волейбол женская команда из Томилина и послал приглашение Наоми Кэмбелл. Он вообще старался строить свою жизнь по фотографиям из «Одноклассников», хотя не всё, конечно, проходило гладко. Приехавшая Наоми, например, оказалась пожилой пьющей негритянской и чуть не разрушила Ванину семью, Билл Гейтс на письма, даже со смайликами, не отвечал, Алла Борисовна отвечала, но исключительно матом, Путин с Медведевым познакомились давно и без Вани, а Жанны д'Арк с Моцартом и Сальери так вообще в живых не было, что Ваню очень удивило. Вскоре он в «Одноклассниках» разочаровался и перестал туда заходить. Чего там делать-то, на рожи эти противные смотреть? Ваня свой сайт создал — «Однокамерники.ру». Сайт сразу стал очень популярным, жизнь на нём закипела, особенно в группах «Лефортово» и «Бутырка». Одних Ходорковских зарегистрировалось 1455 штук, и это только с одной зоны! Всё правильно рассчитал бизнесмен Ваня Лепёшкин. Ведь в какой стране живём? Сегодня ты в своём офисе в «Одноклассниках» сидишь-общаешься, а завтра налоговая случайно зашла, обиделась на что-то и... «Владимирский Централ, ветер северный...».

РАЗГОВОР

нашего корреспондента с писательницей Мариной Устиновной Перцовой

Корр.: — Здравствуйте, Марина Устиновна! Разрешите сразу вопрос — Вы написали около 5250 книг. Как Вам это удалось?

П.: — Я написала больше, пока не всё опубликовано. К примеру, до сих пор ждут своей очереди мои сочинения за 3 и 4 классы. Никак у меня до них не доходят руки, ведь только в прошлом году я сочинила 365 повестей и романов, которые помогают людям выжить. В этом году у меня такой же график. Вчера вот закончила очень интересный иронический детектив, хотя больше мне нравится роман за понедельник.

Корр.: — Почему детектив иронический?

П.: — Я там на 265 странице иронизирую. Ирония помогает людям выжить.

Корр.: — Скажите, где и как Вы черпаете вдохновение, находите сюжеты для своих книг?

П.: — Нигде и никак. Встаю, как и Лев Толстой, в одиннадцать утра и уже в двенадцать я за письменным столом. Лев Толстой, правда, вставал в четыре, но сути это не меняет, результат-то у нас одинаковый. Хотя вот в субботу писала роман, чуть проспала и завязка немного не удалась, да и финал смазала — торопилась на деловую встречу. Пришлось вставить финал из романа от 8 октября, а завязку из повести за 19 мая и ничего — книжка продалась, отзывы очень хорошие. Кому-то, может, она помогла выжить.

Корр.: — У Вас очень сочные, поэтичные описания. Например, повесть за позапрошлый вторник: «Борис Львович опоздал. Он был одет в костюм, впрочем, как и всегда». Прекрасный роман за среду, 4 июля: «Когда Нюсе исполнилось семнадцать лет, мама подарила ей вязаный жакет, впрочем, как и всегда». Позавчерашняя повесть: «Шёл дождь, впрочем, как и всегда». Откуда такой стиль?

П.: — Конечно, можно было написать «Шёл сильный дождь, впрочем, как и всегда», но это уже Бунин какой-то, а у нас с ним совершенно разные читатели. Причём у меня их больше. Ведь я помогаю людям выжить.

Корр.: — А откуда прекрасное чувство юмора? Вот роман за 10 марта: «Борис Львович пошутил, впрочем, как и всегда».

П.: — Чувство юмора у меня от мужа. Он очень весёлый человек был.

Корр.: — Кто Ваш муж?

П.: — Просто муж. И первый читатель всех моих книг. Сейчас он в психбольнице.

Корр.: — В романе от 28 июля Вы очень нежно описываете кошку: «Найка подбежала ко мне и лизнула, впрочем, как и всегда». Вы любите животных?

П.: — Да, конечно. В моём доме раньше всегда жили животные и я читала им вслух свои только что написанные книги. Почему-то все эти животные рано умирали...

Корр.: — Вы и своим книгам даёте названия, где фигурируют животные: «Филе из куропатки», «Уха из акулы», «Жаркое из петушка»...

П.: — Для себя, чтобы не запутаться, я называю свои книги по дате написания, например: «Ироническая повесть, четверг, 25 февраля» и так далее. Многие мои читатели делают так же, но издатели против. Так что к ужину я заканчиваю книгу, смотрю на накрытый стол и даю ей название. Вчерашний мой иронический детектив называется «Разгрузочный день».

Корр.: — Какими у Вас отношения с коллегами, работающими в таком же жанре?

П.: — Прекрасные. Со многими коллегами я дружу, мы часто встречаемся в больницах, где лечатся наши родственники, первые читатели наших книг. Мы же делаем одно дело — помогаем людям выжить. Недавно, кстати, по вине типографии мой

роман засунули в обложку другой писательницы, моей подруги. Слава Богу, никто, кроме меня, не заметил и книга хорошо продалась.

Корр.: — Традиционный вопрос — Ваши творческие планы?

П.: — Сегодня в 17.30 я закончила новый детективный роман. Названия, как Вы понимаете, ещё нет, но судя по запаху — «Рагу из индюшки». А если говорить глобально, то в будущем году я собираюсь сочинить 730 книг, то есть одну буду писать до обеда, вторую после. Боюсь, возникнут проблемы с названиями... Но делать нечего, мы узнали, что меня очень мало читают в токийском метро, в лондонском, в пригородных поездах Монреаля и Лиона... Этот рынок ещё нами не охвачен, за Россию-то я спокойна. Кстати, Вы знаете, что суммарный тираж моих произведений достиг 760 000 000 000 экземпляров? В доме каждого жителя нашей планеты есть несколько моих книг, которые помогают ему выжить. Особенно приятны читательские отклики. Много пишут мне из Израиля — у меня там родственники, из США два письма пришло. Даже из Нигерии! К сожалению, я не смогла перевести, да и адрес не мой.

Корр.: — Откройте тайну — о чём Ваш сегодняшний роман?

П.: — Сегодняшний мой роман, впрочем, как и все остальные, о частной сыщице, которая впуталась в ужасную историю и с честью из неё вышла. Подробностей я уже не помню. Оставайтесь на ужин и Вы станете первым читателем этого романа, а то муж...

Корр.: — Нет-нет, спасибо, мне надо ещё сдавать материал и у меня дети...

П.: — Тогда обязательно купите его завтра и сможете выиграть дезодорант для ног, шарфик для шеи или перчатку для руки! Это наша новая акция, которая поможет людям выжить.

Корр.: — Обязательно куплю! А Вам, наверное, можно пожелать только творческого долголетия на благо всех грамотных землян...





«И БУДУ ЖИТЬ В СВОЁМ НАРОДЕ...»

3 мая 2012 года Казань простилась с Туфаном Абдулловичем Миннуллыным, а сердце его остановилось днём раньше. Признание, которое он получил при жизни, было поистине всенародным. И дело не в титулах и званиях — их было достаточно. На спектаклях по его пьесам люди и плакали, и смеялись, его острое, жаждущее справедливости слово публициста, а также депутата Госсовета РТ, объединяло татарстанцев, его мудрые советы помогли многим писателям найти свою интонацию в полифонии родного татарского языка. Он горячо и искренне поддерживал не только татар, но и русских, всех, кто честно служил своему признанию. Буквально за неделю до случившегося мы встречались в Национальной библиотеке нашей республики на подведении итогов конкурса «Книга года», и Туфан-абый во всеуслышание назвал меня не русскоязычным, а русским поэтом, одним из немногих. И это была не похвала, это был призыв оставаться верным своему народу при любых обстоятельствах.

Туфан-абый был до конца верен этому завету. Он, народный писатель Татарстана, в душе оставался крестьянином, жителем родной деревни Мараткузино, гражданином своей нации, видевшим предназначение в защите родной земли, родного языка.

К счастью, дар небес, дар Аллаха позволяет писателю оставаться в народе и после смерти. Поэты уходят, стихи остаются. Слово Туфана Миннуллына продолжает жить с нами, спектакли по его пронзительным пьесам в родном Камаловском театре никто никогда не отменит. Предстоит многое сделать, чтобы систематизировать его огромное творческое наследие, достойно и талантливо осуществить перевод его произведений на русский язык — язык межнационального общения на всём постсоветском пространстве.

Мы не прощаемся, Туфан-абый! Ваше слово продолжает «жить в своём народе», как сказал равный вам по таланту русский поэт Николай Рубцов.

Николай АЛЕШКОВ

* * *

Всему писательскому сообществу России ещё памятны прошедшие в марте юбилейные торжества в связи с 75-летием Валентина Григорьевича Распутина — выдающегося современника, властителя наших дум, автора замечательных романов, повестей, рассказов, очерков, вошедших в отечественную классику.

Но вот из Иркутска пришла печальная весть. 1 мая 2012 года после тяжёлой болезни скончалась Светлана Ивановна Распутина, жена Валентина Григорьевича, верный спутник и друг писателя на жизненном пути. От имени всех писателей и общественности Татарстана выражаем искренние соболезнования Валентину Григорьевичу, желаем ему мужества в преодолении очередной невосполнимой утраты (ранее в авиакатастрофе погибла его дочь Марина), желаем также творческого долголетия, ибо мудрое слово Распутина необходимо всей России.

Редакция, редколлегия, издательский совет

Наши авторы

стр. 64
АВРУТИН Анатолий Юрьевич – поэт, переводчик, критик, публицист. Родился в 1948 г. в Минске, окончил Белорусский Государственный университет. Автор двадцати книг, изданных в Белоруссии и в России. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная», в 2005–2008 гг. – первый секретарь Правления Союза писателей Беларуси. Глава представительства русских писателей Беларуси при Санкт-Петербургском городском отделении Союза писателей России.

Член-корреспондент Академии поэзии и Петровской Академии наук и искусств. Лауреат международной литературной премии им. Симеона Полоцкого, российских премий им. Антона Чехова, им. Бориса Корнилова, им. Николая Минского, «Русь единая», «Светить всегда», им. «Молодой гвардии» (Украина), один из победителей третьего московского международного конкурса поэзии «Золотое перо – 2006». Составитель антологии «Современная русская поэзия Беларуси». За достижения в области литературы награждён медалью Франциска Скорины, отмечен также орденом Маяковского, Золотой Есенинской медалью, медалями им. М. Шолохова, им. М. Джалиля, знаками «Отличник печати Беларуси», «За вклад в развитие культуры Беларуси», Почётным знаком Белорусского профсоюза работников культуры.

Публиковался в «Литературной газете», «Литературной России», всероссийском альманахе «День поэзии», журналах «Москва», «Нева», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юность», литературных изданиях России, Белоруссии, Чехии, Австрии, Украины, Эстонии, Казахстана, Молдовы, США. Живёт в Минске.

стр. 228
АЛПАТОВ Сергей Вадимович родился 11 ноября 1958 года в городе Волжском Волгоградской области. С 1970 года проживает в городе Набережные Челны. В 1982 году закончил отделение журналистики Казанского Государственного университета. Основная трудовая деятельность связана с журналистикой. Долгое время работал в городских газетах и на телевидении, затем руководителем пресс-службы Совета Елабужского муниципального района. В настоящее время работает специалистом по работе с общественными организациями Набережночелнинского государственного торгово-технологического института.

стр. 22
АХМЕДОВ Магомед Ахмедович – поэт, переводчик, критик и публицист. Пишет на аварском и русском языках. Родился 13 ноября 1955 года в селении Гонода Гуниб-

ского района Дагестанской АССР. После окончания средней школы поступил в Литературный институт им. М. Горького в Москве (поэтический семинар Ал. Михайлова) и в 1979 году окончил его с отличием. Во время учёбы в Литинституте вёл большую общественную работу: со студенческими агитбригадами побывал в Поволжье, на Северном флоте, в Германии. После окончания института работал редактором в Дагестанском книжном издательстве, оргсекретарём правления Союза писателей Дагестана, ответсекретарём литературных журналов, секретарём Союза писателей Республики Дагестан, главным редактором региональной газеты «Праведная мысль». В январе 2004 года избран председателем правления Союза писателей Республики Дагестан. Член Союза писателей СССР с 1984 года. Стихи пишет и публикует со школьных лет. За большие заслуги в развитии дагестанской поэзии и многолетний добросовестный труд Указом Государственного Совета Республики Дагестан Магомеду Ахмедову присвоено почётное звание «Народный поэт Республики Дагестан» (2005). За личный вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление российской государственности награждён медалью М.Ю. Лермонтова. В 2008 году за поэтическую трилогию «Тайный час», «Седина», «Молитва и Песня» М. Ахмедову была присуждена главная литературная премия Международного фонда Расула Гамзатова.

В 2009 году поэту была присуждена Государственная премия Республики Дагестан в области литературы за книгу «Классические звёзды». С 2009 года М. Ахмедов – член Общественной палаты Республики Дагестан второго состава.

стр. 180
ВАЛЕЕВ Наиль Мансурович родился 3 сентября 1949 года. Академик АН РТ (2004), доктор филологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РТ и РФ, член Союза писателей России и президиума Союза краеведов России. Вице-президент АН РТ. Депутат Государственного Совета РТ 3 и 4-го созывов.

С 1971–1975 гг. – учитель русского языка и литературы средней школы. С 1975 по 2007 годы – ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, проректор по научно-исследовательской работе, а с 2000 года – ректор Елабужского государственного педагогического университета. По его инициативе и при его активном участии в ЕГПУ были организованы и регуляр-

но проводились всероссийские и международные Стахеевские и Цветаевские научно-практические конференции.

В 2007–2009 гг. – министр образования и науки Республики Татарстан.

Основные направления научных исследований Н. М. Валеева связаны с изучением русско-татарских литературных связей, где творчество Ф. Амирхана интерпретируется в свете традиций русской классической литературы. Открыл имя крупного русского писателя XIX в. Д. И. Стахеева, незаслуженно преданного забвению. Подготовил и издал несколько монографий о нём, избранные сочинения писателя. В 1996 году в специализированном совете Института мировой литературы РАН защитил докторскую диссертацию.

С 1980-х гг. работает над темой «Знаменитые люди в Елабуге» и открывает имя выдающегося русского историка, археографа, археолога, филолога, члена-корреспондента Императорской академии наук, профессора К. И. Невоструева, совершившего научный подвиг – составление шеститомного «Описания славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки». Этот труд, удостоенный I Ломоносовской премии АН, до сих пор остаётся непревзойдённым в российском и европейском славяноведении.

Создал новое научное направление по исследованию вклада российского купечества в русскую литературу и культуру. Под руководством Н. М. Валеева действует лаборатория по изучению меценатской деятельности купеческих династий. Ежегодно руководит научной работой докторантов, аспирантов и соискателей над диссертациями.

Автор более 200 научных трудов, в том числе 7 монографий.

стр. 234 ГОФМАН Владимир Николаевич родился в г. Городце Горьковской (ныне Нижегородской) области. Закончил авиатехникум, истфилфак университета им. Лобачевского и Московскую Духовную семинарию.

С 1984 по 1996 годы жил в Набережных Челнах, работал редактором газет «Камские зори», «Вести КамАЗа», «Дюжина», «Отчий край», активно посещал занятия литобъединения «Орфей». В Набережных Челнах в его биографии произошёл важный этап – журналист решил стать священнослужителем, к чему стремился едва ли не с самого детства.

Ныне отец Владимир – священник Нижегородской епархии Русской Православной Церкви. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг поэзии и прозы, а также трёх пьес для детей (две – в соавторстве). Лауреат премии им. Бориса Корнилова (поэзия, 1983), Эдурда Касимова (публицистика, 1990), литературных премий «Нижний Новгород» (2003) и «Болдинская осень».

стр. 3 ДОРОЖКИН Николай Яковлевич родился в городе Моршанске Кемеровской области в 1935 году. Окончил физико-технический факультет Томского государственного университета. Работает в Центральном НИИ машиностроения (г. Королёв). Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, действительный член Российской академии космонавтики. Автор книг стихов, прозы, публицистики. Стихи Н. Я. Дорожкина публиковались в журналах «Юность», «Техника молодёжи», в газетах «Московский литератор» и «День литературы», научно-популярные статьи выходили в «Независимой газете», в журналах «Терраинкогнита», «Знак вопроса», «Чудеса и приключения», «Наука и религия» и в альманахе «Аргамак. Татарстан». Член Союза писателей России.

стр. 24 ИШМУХАМЕТОВ Наиль Радикович – поэт, прозаик, переводчик татарской прозы и поэзии. Родился в 1964 году в городе Магнитогорске. В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова по специальности инженер-электрик. Трудовую деятельность начал в том же году на Магнитогорском металлургическом комбинате в цехе горячей прокатки. В 1994 году переехал на постоянное место жительства в г. Казань. В настоящее время работает в редакции журнала «Идель». Женат. Отец двоих детей

Стихи, рассказы и переводы печатались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Север», «Литературная газета», «Контрабанда», «День и ночь», «Казанский альманах», «Идель», «Казань», «Аргамак. Татарстан», «Салават купере», «Мадани жомга», «Татарский мир», «Татарские края». Стихи переводились на татарский и украинский языки. Член Союза писателей Республики Татарстан. Лауреат нескольких литературных премий.

стр. 176 КАРЕЛИН Алексей Валерьевич родился в 1990 году в селе Митьковка Брянской области. Закончил Брянский политехнический колледж, учится заочно в Брянском государственном техническом университете. Служил в РВиА (ракетные войска и артиллерия) во Владимирской области. География публикаций: США, Австралия, Казахстан, Дагестан, Финляндия, Новая Зеландия, Германия, Украина, Белоруссия, Россия. Публиковался в литературных журналах «Простор» (Алматы), «Нива» (Астана), «Вселенная. Пространство. Время» (Киев, Москва), «Искатель» (Чикаго), «Воин России» (Москва), военной газете «Красная звезда» (Москва), «Наш Техас» (Хьюстон) и др.

стр. 99 КЛЯЧИН Валерий Алексеевич родился в 1954 году в городе Иваново. После окончания Клайпедского мореходного училища работал штурманом на судах рыбопромышленного флота в юго-восточной Атлантике. В 1986 году окончил дневное отделение Литературного института имени А.М. Горького, где занимался в семинаре Анатолия Приставкина. Вернувшись в Иваново, работал литературным консультантом в Ивановской писательской организации, учителем литературы в сельской школе, мастером по кладке печей и каминов в Подмосковье. В 1991 году был принят в Союз писателей СССР с книгой рассказов «Дождь во время любви», выпущенной в 1988 году издательством «Современник». За публикации рассказов в газетах и литературных сборниках отмечен званием лауреата Областной литературной премии и Почётной грамотой Союза писателей России. В настоящее время живёт в Иваново. Является создателем и администратором сайта srpkzn.ru Татарстанского отделения Союза российских писателей.

стр. 16 КНЯЗЕВА Вера Максимовна. Ученица 8 класса средней школы № 25. Победительница многих олимпиад.

стр. 242 КРИШТУЛ Илья родился в Москве, где и живёт. Учился в педагогическом университете, после окончания работал в школе и в кино. Сейчас — домохозяйин.

стр. 30 КУЗЬМИЧЁВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ Ольга Владимировна родилась 8 апреля 1964 года в городе Волжском Волгоградской области. В начале семидесятых вместе с родителями приехала в Набережные Челны, где и окончила среднюю школу, училище искусств по классу виолончели и факультет педагогики и психологии педагогического института.

Ольга — автор двух поэтических книг «По воле небес» и «Раскачивая маятник судьбы», двух песенных альбомов «Любовь пою» и «Ты услышишь», художественно-документальной книги «Одноклассники. Письма в будущее».

Лауреат XIII республиканского конкурса «Бэллур калям — Хрустальное перо» 2010 года. Член Союза российских писателей. Слушательница Высших литературных курсов.

стр. 170 ЛОНШАКОВ Олег Николаевич родился в 1975 году в городе Набережные Челны. В 1992 году поступил на филологический факультет Набережночелнинского государственного педагогического института, по окончании которого работал преподавателем на кафедре русского языка и литера-

туры. Печатался в местных изданиях, в том числе, в журнале «Идель». Первая и пока единственная его книга называется «По обе стороны окна».

стр. 19 МЕТС Арво Антонович (1937–2007 г.г.) родился в Таллинне. Окончил Ленинградский библиотечный институт, Литературный институт им. А.М. Горького. В 1975–1991 годах работал в отделе поэзии журнала «Новый мир». Руководил литературным клубом «На Таганке».

Стихи Арво Метса публиковались в ведущих литературных журналах России, переводились на иностранные языки. При жизни вышли четыре книги. Посмертное издание 2006 года (книга «В осенних лесах») представляет собой наиболее полное собрание стихов поэта.

Неоднократно приезжал в Набережные Челны в составе творческой делегации от журнала «Новый мир». Был составителем и редактором первого коллективного сборника стихов поэтов КамАЗа «Лебеди над Челнами» (1981 год).

стр. 210 МУРАТОВ Пётр Юрьевич родился в 1962 году в Казани. После окончания средней школы поступил в Казанский государственный университет на биологический факультет, кафедра микробиологии. В 1984 году по окончании университета был распределён в НИИ молекулярной биологии НПО «Вектор» под Новосибирском. Кандидат биологических наук. С начала девяностых и до сих пор — преподаватель. Женат, имеет двух детей, внучку.

стр. 111 ПЕРОВСКИЙ Николай Михайлович (1934–2007 г.г.) родился в слободе Михайловка Курской области. Его родители были репрессированы в 1937 году, и будущий поэт оказался в детском доме. В начале войны детдом эвакуировали. Под Курском обозы попали под немецкие бомбы. Мальчик воочию увидел кровь и смерть. Затем попал в Среднюю Азию, где ему пришлось познать беспризорщину и ранний труд.

С 1947 по 1953 год Николай оказался «воспитанником колхоза» — так это тогда называлось. Пас телят в предгорьях Тянь-Шаня, работал водовозом, подручным комбайнёра. Затем учился в Московском горном институте, работал на обогатительной фабрике в Донбассе, на шахте в Воркуте. Впоследствии жил на Белгородщине, преподавал музыку и физкультуру в школе, был газетчиком, клубным баянистом.

Первую книгу стихов выпустил в 1961 году. В 1964 году принят в Союз писателей СССР. С 1976 года жил в Орле.

стр.
174 ПОПОВА Светлана Олеговна родилась 21 октября 1988 года в городе Елабуге. В 2010 году закончила факультет прикладной математики и информационных технологий филиала Казанского федерального университета в г. Набережные Челны. Состоит в литературном клубе библиотеки Серебряного века (г. Елабуга). В 2009 году стихи Светланы были опубликованы в сборнике студенческой поэзии «Смотри, ресниц не размыкая...», выпущенном Елабужским государственным музеем-заповедником. Сейчас работает старшим менеджером оптовой фирмы в Набережных Челнах. Живёт в Елабуге.

стр.
18 РАЧКОВ Николай Борисович родился 23 сентября 1941 года в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области, закончил историко-филологический факультет Горьковского пединститута, работал учителем сельской школы, редактором многотиражки. С 1987 года живёт в городе Тосно Ленинградской области. Стихи пишет со школьной скамьи, печататься начал в 1957 году. Его книги издавались в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Арзамасе, стихи публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Юность», «Наш современник», «Москва», «Нива», «Аврора», «Русская провинция», в альманахе «Армак. Татарстан», в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель». Лауреат литературных премий: «Ладога» имени А. Прокофьева, имени А. Твардовского, Большой литературной премии России, имени святого князя Александра Невского и других. Секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

стр.
252 СВИНИН Юрий Григорьевич родился в 1955 году в Иркутске. Окончил художественно-педагогическое отделение Иркутского училища искусств в 1974 году. Затем учился в МГХИ им. Сурикова (графическое отделение), которое окончил в 1980 году. Член Союза художников СССР с 1984 года. Заслуженный деятель искусств РТ. Доцент кафедры дизайна и искусства интерьера ИНЭКА. Заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников РФ и РТ, доцент кафедры ИЗО НГПИ. Участник многих выставок различных рангов от городских до международных. Работы хранятся в галереях и частных собраниях ближнего и дальнего зарубежья. Работает в области графики, живописи, монументального искусства, декоративно-прикладного искусства.

стр.
6 ТАРАСОВ Борис Николаевич родился 2 апреля 1947 года в городе Владивосто-

ке. Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а затем аспирантуру Литературного института им. А.М. Горького. Тема кандидатской диссертации: «Эстетическая система Поля Вальери», докторской: «П.Я. Чаадаев и русская литература XIX века».

Ректор Литературного института имени А.М. Горького, заведующий кафедрой зарубежной литературы, доктор филологических наук, профессор, Сопредседатель Союза писателей России. Лауреат Международной литературной премии Ф.М. Достоевского, Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева, Всероссийской премии им. Александра Невского, Бунинской премии. Заслуженный деятель науки РФ, Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Награждён Золотой Пушкинской медалью и Золотой Тютчевской медалью за вклад в сохранение и развитие традиций отечественной культуры. Читал лекции в университетах Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Бельгии, Югославии, Маврикии, Болгарии, Италии. Участвует в международных и всероссийских академических проектах, в международных и всероссийских научных конференциях. Является председателем Тютчевской комиссии при Научном совете «История мировой культуры» РАН.

стр.
85 УНТИЛА Александр Павлович родился 3 апреля 1979 года в посёлке Южный Багратионовского района Калининградской области в семье военнослужащих. После окончания средней школы поступил в Военный автомобильный институт (г.Рязань), который окончил в июле 2001 года. С августа того же года проходил службу в в/ч 48427 на должностях заместителя командира, командира механизированной группы специального назначения, заместителя командира отдельного батальона СпН ВДВ. Принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона с 26.12.2002 по 27.08.2003; с 28.10.2003 по 27.05.2004; с 26.10.2004 по 24.08.2005; с 14.03.2006 по 07.04.2006. С апреля 2007 года – спасатель отряда «Центроспас» МЧС России. Принимал участие в спасательных операциях на Алтае, в Туве, на Гаити, в Японии, на ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, работал в Восточной Африке, участвуя в проводке караванов судов через пиратские районы.

стр.
79 ЧВАНОВ Михаил Андреевич родился 25 июля 1944 года в Башкирии, на реке Юрюзани в деревне Старо-Михайловка Салаватского района в семье инвалида Великой Отечественной войны. В 1967 году окончил филологический факультет Башкирского

университета. Преподавал математику и черчение в сельской школе, был разнорабочим на стройке, работал в молодёжной газете, в Башкирском книжном издательстве, в правлении Союза писателей Башкортостана. Автор более 20 книг прозы и публицистики, вышедших в Уфе, в Воронеже, в Москве.

Известен также как исследователь и популяризатор жизни и творчества великого русского писателя С.Т. Аксакова и его сыновей: И.С. Аксакова и К. С. Аксакова. Автор двух книг об Аксаковых и целого ряда статей и эссе, которые помимо России публиковались в периодике Сербии и Болгарии.

Возглавляет Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова в Уфе, в своё время созданный при его активном участии. В короткое время при помощи созданного им же Аксаковско-го фонда музей превратился в известный не только в России общественно-культурный центр, активно проводящий в жизнь евразийскую идею славяно-тюркского и православно-мусульманского согласия.

Лауреат Всероссийской литературной премии им. С.Т. Аксакова и премии им. К. Сиимонова Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов.

В июле 2006 года награждён Большой литературной премией первой степени Союза писателей России за книгу «Мы – русские? Всего мира Надеждо и Утешение». С 2009 г. – почётный гражданин г. Уфы. Награждён орденом «Знак Почёта».

СТР.
58 **ЧЕРКЕСОВ** Валерий Николаевич родился 3 марта 1947 года в городе Благовещенске Амурской области. С мая 1982 года живёт в Белгороде.

Автор двадцати книг поэзии, прозы, публицистики, которые изданы в Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже, Хабаровске. Печатался во многих столичных и региональных журналах: «Москва», «Наш современник», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Аврора», «Дальний Восток», «Подъём», «Север» и других, в антологиях, альманахах, сборниках, в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия» – всего более трёхсот публикаций, не считая газетных.

Лауреат Всероссийской литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова», член Союза писателей России с марта 1991 года.



СОДЕРЖАНИЕ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 67	
НИКОЛАЙ ДОРОЖКИН	
ЧЕЛИБЕЙ И ПЕРЕСВЕТ	3
6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ	
АЛЕКСАНДР ПУШКИН	
КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ	4
БОРИС ТАРАСОВ	
МУДРОСТЬ ПУШКИНА	6
ВЕРА КНЯЗЕВА	
ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ	16
ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА	
НИКОЛАЙ РАЧКОВ	
ОН ЕСМЬ ГЛАГОЛ	18
АРВО МЕТС	
СУДЬБА РУССКОГО ПОЭТА	19
МАГОМЕД АХМЕДОВ	
БОЛДИНСКИЕ СОНЕТЫ	22
НАИЛЬ ИШМУХАМЕТОВ	
ВОТ ОНА, ЖИЗНЬ	24
ОЛЬГА КУЗЬМИЧЁВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ	
ОТ ВСТРЕЧ ДО РАЗЛУК	30
СОБЫТИЯ МИНУВШЕЙ ВЕСНЫ	
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ	
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СВЯЖСК!	34
ЯБЛОКИ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ В СВЯЖСКЕ	36
НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ	
СТИХИ В НЕБЕ ВЬЕТНАМА	36
АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВ	
НА СВЯТОЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ	39
ВЕРА ХАМИДУЛЛИНА	
«ДРУЖБА НАРОДОВ» О ДРУЖБЕ НАРОДОВ	41
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ	
«АРГАМАК» – ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИЗИТКА ТАТАРСТАНА	44
ЕЛЕНА КАШЕВА	
ДИСПУТ С СОВРЕМЕННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ	45
ЛЕЙСАН ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА	
«Я – ТРЕТЬЯ ПОЭТЕССА С ФАМИЛИЕЙ ТАТАРСКОЙ...»	48
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА	
ПИСЬМА ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ	50
КСЕНИЯ ЛАРИНА, ЭЛЬВИНА НАБИУЛЛИНА	
МЫ ЧИТАЕМ «АРГАМАК»	52
НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ	
НЕПОДСУДЕН	54
ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ	
ЗУФАР ФАТТАХОВ	
ПРОСТРАНСТВО ЮРИЯ СВИНИНА	56
НЕПРИДУМАННЫЕ СЮЖЕТЫ	
ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ	
МИНИАТЮРЫ	58

ЗВАНЫЙ ГОСТЬ**АНАТОЛИЙ АВРУТИН**

НЕМАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛИ.....64

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

У РУССКОГО ПРЕДЕЛА.....75

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ**МИХАИЛ ЧВАНОВ**

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»79

АЛЕКСАНДР УНТИЛА

ЗАПАХИ.....85

ВАЛЕРИЙ КЛЯЧИН

РОДИНА.....99

ПОЭТЫ УХОДЯТ, СТИХИ ОСТАЮТСЯ**НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ**

КОМНАТА СМЕХА111

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА**СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ**

В СНЕГОПАД.....132

ДЕБЮТ В «АРГАМАКЕ»**ОЛЕГ ЛОНШАКОВ**

РОДИНА У КАЖДОГО СВОЯ.....170

СВЕТЛАНА ПОПОВА

Я ШАГАЮ В ВЕСНУ174

АЛЕКСЕЙ КАРЕЛИН

ОДНА ИСТОРИЯ.....176

НАСЛЕДИЕ**НАИЛЬ ВАЛЕЕВ**

СЛОВО И ДЕЛО180

КОЛЛЕГИ**АЛЕКСАНДР ВОРОНИН**

ЖУРНАЛ «КАЗАНЬ» НАЧИНАЛСЯ С БРОШЮРЫ.....206

НЕФОРМАТ**ПЁТР МУРАТОВ**

СКАЗ ПРО ТО, КАК СОТРУДНИК НИИ В БИЗНЕС ХОДИЛ.....210

ИЗДАНО В РОССИИ**СЕРГЕЙ АЛПАТОВ****РЫБАК РЫБАКА****ВЛАДИМИР ГОФМАН**

РАССКАЗЫ234

СМЕХОТЕРАПИЯ**ИЛЬЯ КРИШТУЛ**

РАССКАЗЫ242

СЛОВО ПРОЩАНИЯ.....248**НАШИ АВТОРЫ**249**ВТОРАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ****ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА: ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ****ВТОРАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА: ФОТОВЕРНИСАЖ ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА «КАЗАНЬ»****ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: ФОТОВЕРНИСАЖ ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛА «КАЗАНЬ»**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Аргамак

ТАТАРСТАН

Выходит ежеквартально
(1 раз в 3 месяца)

Учредитель

ОАО «Татмедиа»

420016, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 2, 6 этаж. Тел.: (8-843) 222-09-84

Адрес редакции:

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Издатель:

**Татарстанское отделение
Союза российских писателей**

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Издатель:

**Союз писателей
Республики Татарстан**

420012, г. Казань, ул. Муштари, 14.
Тел.: (8-843) 236-97-91

Подписано в печать 15.05.2012 г.

Формат 70x100^{1/16};

Печать офсетная. Бумага ВХИ.

Усл. печ. л. 20,64 . Тираж 2000 экз.

Заказ 6680

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в типографии филиала
ОАО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел-Пресс»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2

Рукописи принимаются по адресу:
**423809, Татарстан, г. Набережные Челны,
а/я 126** или e-mail: anp45@mail.ru. Жела-
телен диск с набором, фотография, краткая
биографическая справка.

Рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются. Читательские письма и предложе-
ния могут быть опубликованы в альманахе.
Ответственность за достоверность инфор-
мации несут авторы материалов. Мнения
авторов могут не совпадать с мнением
редакции. При перепечатке материалов
ссылка на альманах «Аргамак. Татарстан»
обязательна.

Для приобретения номера и размеще-
ния рекламы социальной направленно-
сти обращайтесь: e-mail: anp45@mail.ru,
тел.: (8-8552) 58-13-71; 8-927-241-01-19.



Фото Г. Козлова



Фото С. Ермолаева

